Новый Журнал

79

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать четвертый год издания

КН. 79 НЬЮ ИОРК 1965

Р Е Д А К Ц И Я:

Р. Б. ГУЛЬ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, June 1965
Quarterly, No. 79
2700 *Broadway, New York* 25, *N. Y.*
Subscription Price $9. — *for one year*
Publisher: *New Review, Inc.*
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Г. Газданов — Пробуждение 5
И. Елагин — Мой день. Стихи 21
Ф. Степун — Ревность 25
О. Ильинский — Стихи 41
Л. Лунц — Восстание вещей. Киносценарий 44
И. Чиннов — Стихи 79
Х. Керн — Сентябрь в Москве 82
А. Величковский — Стихи 96
Л. Зуров — Герб Лермонтова 98
Вл. Корвин-Пиотровский — Стихи 116
Д. Чижевский — О литературной пародии 118
К. Померанцев — Стихи 141
И. Бунин — Из записной книжки 143

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Н. Валентинов — Беседы с Г. В. Плехановым 150
А. Дынник — В СССР перед войной с Гитлером 164
Икс — Послание из СССР на Запад 175

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Бердяев — Духи русской революции 211
С. Левицкий — Место Н. О. Лосского в русской философии . 253
Ю. Иваск — Случевский 270

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Неопубликованное письмо М. Горького 285

БИБЛИОГРАФИЯ:

Ю. Иваск — Fedor Stepun. Mystische Weltschau. *В. Варшавский* — «Воздушные пути». *Р. Плетнев* — Елена Скрябина. «В блокаде». *Ю. Иваск* — Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы. *Вяч. Завалишин* — Мирра Гинзбург. «Антология советской сатиры». Книги для отзыва 288

Copyright by "New Review", 1965

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013



ПРОБУЖДЕНИЕ*

Он проснулся поздно и в течение нескольких секунд не мог понять, где он? Сквозь маленькое окно под крышей проходил свет, неясно блестя на мутном стекле. Он дотронулся до стены и тогда вспомнил, что он за сотни километров от Парижа, на юге, в гостях у Франсуа. За дверью стояла та же тишина, которая так поразила его накануне, в лесу. Он надел рубашку и штаны, достав их из чемодана, и отворил дверь. Был жаркий августовский день, солнце было высокое и горячее. Только лужа воды перед порогом еще напоминала о вчерашнем дожде. Он захватил с собой туалетные принадлежности и пошел к невысокому каменному бассейну, над которым был водопроводный кран и который еще вчера показал ему Франсуа.

Когда, умывшись и приведя себя в порядок, он вошел в дом, где жил Франсуа, было уже начало одиннадцатого. Франсуа ушел купаться, дети где-то неподалеку играли, и в доме оставались только бабушка, молча вязавшая какую то фуфайку, и Ренэ, жена Франсуа. Пьер извинился за поздний приход.

— Ничего, ничего, с дороги это понятно, — сказала Ренэ. — Кофе горячий, я вам сейчас налью.

Бабушка смотрела на Пьера с тем же выражением, что вчера, такими невыразительными и мертвыми глазами, что ему стало немного не по себе и выпив кофе, он тотчас же ушел. Он направился сначала к реке, но потом подумал и свернул в лес. Там было еще сыро и в некоторых местах от земли поднимался легкий пар. Пьер смотрел вверх. Огромные деревья, каких он никогда до сих пор не видел, громоздились перед ним

---

* См. кн. 78 «Н. Ж.».

и над его головой тянулся бесконечный переплет зеленых листьев. Где то, казалось совсем близко, стучал дятел, — Пьер долго искал его глазами и не нашел. Какие-то синие маленькие птицы с желтоватым брюшком несколько раз пролетали мимо него. Он прошел некоторое расстояние и остановился перед громадным, многоствольным кедром, вершина которого терялась в листве других деревьев. Пахло сырой древесиной, влажной землей и еще чем то особенным и острым, чего он не мог определить, потому что раньше никогда не знал этого своеобразного запаха. Сделав несколько шагов, он понял, что этот запах шел от большого муравейника, на который падал солнечный свет. Бесчисленные красные муравьи сновали по его ноздреватой серой пирамиде. Пьер простоял перед ней несколько минут и пошел дальше, мягко ступая по сыроватым коричневым листьям и иглам, плотно устилавшим землю. Необыкновенное, никогда до тех пор неиспытанное им чувство, охватило его. Ему вдруг показалось, что он живет бесконечно давно и знает очень много вещей, которые он неизвестно почему забыл почти безвозвратно, но смутное воспоминание о том, что они существовали, всё-таки в нем было, он только не отдавал себе в этом отчета. Было не только воспоминание о забытом, было еще сознание того, что есть какой-то другой мир, чем-то быть может похожий — по своей тишине и вечности, по величественному его спокойствию — на этот лес, на эти миллионы и миллионы листьев, на это соединение света, земли и деревьев.

Он продолжал идти, углубляясь в лес. На далеком дереве куковала незримая кукушка. Ему казалось, что этот звук доходит до него из сна, не нарушая этой неправдоподобной густой тишины, так непохожей на печальное безмолвие его парижской квартиры, — этой тишины, в которой не было ни одного движения, кроме его медленных шагов. День был безветренный, листья не шевелились. Он вспомнил, что видел уже такие леса в те времена, когда был солдатом; но он был слишком занят тогда и у него не было времени и возможности ощутить то, что он чувствовал теперь. Тогда была война, вопрос о том, что будет завтра, и постоянная мысль о матери, которая

ждала его возвращения. Теперь всё это исчезло, хотя тогда казалось, что это никогда не кончится — то, что можно было сказать в нескольких простых словах: ожидание и «быть-может» — быть-может рана, быть-может смерть, быть-может плен, быть-может возвращение. Теперь всё, что было тогда, перестало существовать: война была кончена, квартира была пуста, и только на недалеком кладбище, в парижском пригороде, прибавилась еще одна могила: «Здесь покоится в мире Мартина Форэ...» В просветах листьев, в необычайной и прозрачной тишине, стояла синева далекого неба. Пьер шагал мимо шершавых стволов, между которыми рос крепкий, твердолиственный кустарник. Изредка попадались неровные широкие пни, и в этих местах было чуть-чуть просторнее; но вокруг каждого пня буйно росли невысокие деревья. Если бы его спросили, именно его, Пьера Форэ, для чего он собственно живет на свете, что он мог бы ответить?

Он вдруг почувствовал непонятную усталость и, повернув обратно, пошел к дому. Он не мог бы сказать, о чем он думал, — о чем-то, чего не могло бы быть, если бы не незначительные, в сущности, впечатления сегодняшнего утра, и тот особенный воздух, которым он дышал, и в котором был, казалось, какой-то новый смысл, которого он до сих пор не знал. В этот день, именно здесь, на юге, в лесу, что-то вдруг сдвинулось в его жизни. Но он не знал, было ли это к лучшему или к худшему.

Он опять пришел поздно. Все уже кончили есть, и Франсуа пил кофе. Увидев Пьера, он спросил:

— Куда ты пропал?

— Я был в лесу, — коротко сказал Пьер. Ренэ принесла ему еду. Он снова извинился за опоздание, и она опять сказала ему с усталой улыбкой, что это неважно. Затем Пьер и Франсуа вышли из дому и пошли в сад. Сада, собственно, не было — несколько деревьев, густые заросли высокой крапивы и терновник. В середине этого пространства был маленький пруд, огороженный низким цементным барьером, так что сначала Пьер принял его за искусственный бассейн. Но Франсуа

объяснил ему, что это был настоящий пруд, вода которого не загнивала, потому что внизу, со дна, бил холодный, как лед, ключ. Пьер сел на барьер и посмотрел в воду; в ней неподвижно стояли длинные стебли травы, между которыми, как в аквариуме, мелькали время от времени быстрые, небольшие рыбки.

— А где же сом? — сказал Франсуа. — Вот он, Пьеро, посмотри. Не здесь, ближе к середине. Видишь? Он всегда у поверхности.

Пьер посмотрел туда, куда указывал Франсуа, и увидел толстую, усатую рыбу, которая медленно плыла действительно у самой поверхности воды, всё время открывая и закрывая рот.

— По-моему, у него одышка, как у объевшегося человека, — сказал Франсуа. — Он жрет такое количество головастиков, что я удивляюсь, как он еще не околел от несварения.

За деревьями, как показалось Пьеру, послышался легкий шум. Пьер поднял голову, но никого не увидел, и шум не возобновился. И тогда он вспомнил о своем странном пробуждении накануне. Он хотел сказать это Фрасуа, но не знал, как это сделать. Он молчал несколько минут, глядя на воду, освещенную солнцем. Сом доплыл до конца пруда, сделал извилистое движение хвостом и поплыл обратно.

— Скажи пожалуйста, Франсуа... — начал Пьер.

— Что?

— Я не знаю, как это тебе объяснить. Это что-то странное. Видишь ли...

И он рассказал, как он лег на кровать и заснул с отворенной дверью и как он проснулся. Франсуа нахмурился. Потом он сделал болезненную гримасу и сказал:

— Ах, не говори мне об этом. Это самая тягостная вещь, какая только может быть.

— Кто эта женщина?

Франсуа вздохнул.

— Блаженная или сумасшедшая, может-быть и то и другое. Она живет у нас вот уже несколько лет. Мы ее зовем Мари. Как ее настоящее имя, никто не знает.

— Каким образом она сюда попала?

— Это длинная история — и чрезвычайно печальная, сказал Франсуа. — Если у тебя есть терпение слушать, я тебе ее расскажу.

— Я слушаю, — сказал Пьер. Он сидел на цементном барьере и смотрел туда, где кончался пруд и где отражались в его неподвижной поверхности цепкие ветви терновника. Франсуа сказал, что он подобрал эту женщину летом сорокового года, когда миллионы людей двигались по дорогам Франции, уходя от германского наступления. Поздними сумерками Франсуа возвращался из города на повозке, запряженной тем же вороным жеребцом, который привез Пьера. Он остановил лошадь, потому что увидел чье-то тело, лежавшее посредине дороги. Это была Мари. Она была без сознания. На лбу ее была запекшаяся кровь. Он уложил ее на телегу — и привез домой, где ее привели в чувство. На ней было черное платье и стоптанные туфли. Когда ее спрашивали, кто она такая и как ее зовут, она ничего не отвечала и смотрела на всех испуганными, дикими глазами. Ела она с жадностью. Ее уложили спать, надеясь, что к утру она придет в себя. Но на утро ее не оказалось в комнате и она появилась опять только к вечеру, в таком же состоянии, как накануне. Такой она и осталась, вероятно навсегда, как думал Франсуа. У нее оказались другие особенности, гораздо более неприятные, о которых Франсуа предпочитал не упоминать.

— Говори уж, — сказал Пьер.

И тогда Франсуа объяснил, что Мари никогда не моется, не причесывается и что некоторые функции ее организма происходят непроизвольно. Кроме того, часть пищи, которую ей дают, она прячет под свой тюфяк и это конечно там гниет.

— Тебе не приходила в голову мысль отправить ее в психиатрическую лечебницу?

— Я часто думал об этом, — сказал Франсуа — и вероятно этим кончится. Но я тебе должен сказать, что во-первых, это не так просто. Ближайшая такая больница отсюда за двести километров. Кто ее туда доставит? Затем, два раза за эти годы я видел у нее — как мне показалось — ясные глаза, ты пони-

маешь? Я не врач, я за ней не слежу. Но я не могу забыть этого человеческого выражения и мне ее жаль. Поэтому я всё жду — не знаю чего — и не отправляю ее в сумасшедший дом.

— Там ее могли бы быть-может лечить.

— Сильно в этом сомневаюсь, я плохо верю в их лечение.

Из рассказа Франсуа Пьер узнал, что Мари живет, — насколько этот человеческий глагол может быть к ней применим — сказал Франсуа — в маленькой сторожке, на опушке леса, «куда страшно войти». Туда он приносит ей пищу. Она иногда появляется в доме, и дети ее боятся, хотя она совершенно безобидна.

— Покажи мне, где она живет, — сказал Пьер.

Франсуа пожал плечами и повел его к сторожке. Когда он отворил дверь, у Пьера сразу защипало в горле от невыносимого смрада. Он увидел в углу низкую кровать, скомканное, серое одеяло на ней и больше ничего.

— Отчего такой страшный запах? — спросил он.

— От всего, — сказал Франсуа. — Сделай мне милость, не настаивай на подробностях.

— Какой ужас! — сказал Пьер.

— Она живет как несчастное, больное животное, — сказал Франсуа. — Она, я думаю, давно потеряла представление о времени и обо всем остальном. Я не знаю и никто вероятно никогда не узнает, как она жила раньше, кто она такая, откуда она. Она погрузилась — отчего? когда? неизвестно — в какую-то животную тьму, это всё, что я о ней знаю. А может быть она всегда была блаженной и никогда не знала того мира более или менее рациональных понятий, за пределами которого начинается то, что мы называем сумасшествием.

— Ты никогда не пытался с ней разговаривать? Побудить ее к тому, чтобы она как-то на это реагировала?

— Много раз, — сказал Франсуа. — Но это потеря времени. Она явно не понимает даже вопросительных интонаций.

Они разговаривали стоя, в нескольких шагах от сторожки. Вдруг Франсуа повернул голову и шопотом сказал:

— Вот она, смотри.

И Пьер увидел, как на опушку леса вышла та женщина, появление которой так испугало его вчера. Он успел заметить ее серые волосы, огромные светлые глаза и босые ноги. Тяжеловатые черты ее лица можно было бы назвать правильными, но они были искажены животным выражением страха. Увидев Пьера и Франсуа, она метнулась в сторону и скрылась в лесу.

— И я иногда думаю, — сказал Франсуа, когда они прошли несколько шагов в молчании, — что ничего не может быть печальнее этого. Лучше проказа, лучше смерть. И я прихожу в отчаяние: есть ли человеческая возможность ее спасти? И в конце концов — стоит ли это делать?

Пьер смотрел прямо перед собой. В прозрачном воздухе неподвижно стояли зеленые, огромные деревья. Далеко внизу блестела на солнце река. Пьер сморщил нос и сказал:

— Мне кажется, что может-быть стоит.

Этот разговор больше не возобновлялся. Но возвращаясь к себе, Пьер долго думал о судьбе Мари. Откуда она появилась? И какая жизнь предшествовала этому летнему вечеру страшного сорокового года, когда Франсуа подобрал ее на дороге? Кем она могла быть, где она выросла, была ли у нее семья, сколько ей было лет? И неужели действительно нет никакой возможности вернуть ей то, что она потеряла? Он был всецело погружен в эти мысли и когда он вспомнил о своей парижской квартире и о своей службе, это показалось ему необыкновенно далеким. И стало еще очевиднее, чем когда бы то ни было, что если можно было найти какое-то оправдание жизни, то самое, о котором он думал в лесу, — то это оправдание, конечно, не могло быть найдено в том существовании, которое он вел все эти годы, после смерти матери.

В течение нескольких следующих дней, — всё время была жаркая солнечная погода, — Пьер сопровождал Франсуа на реку, где они купались и ловили рыбу, и в окрестные леса, по которым они бродили вдвоем. Чаще всего они разговаривали о незначительных вещах, — как живут крестьяне, которых

Франсуа обвинял во всех смертных грехах, и это была его любимая тема, как сажают табак, как глупа администрация. Однажды, после долгой прогулки, они остановились в лесу отдохнуть. Пьер сел прямо на землю, обхватив руками колени, Франсуа лег рядом с ним и закурил трубку. Потом он мельком взглянул на Пьера и спросил:

— В чем, по-твоему, заключается счастье?

Пьер посмотрел на него с удивлением. Издалека донесся крик кукушки. Вместо ответа он сказал:

— У тебя сегодня философское настроение? Почему тебе именно это пришло в голову?

— Потому что я иногда над такими вещами задумываюсь, — не в Париже, конечно, там нет времени для этого.

— И ты сам нашел ответ?

Франсуа отрицательно покачал головой.

— Иногда мне казалось, что нашел. Но это каждый раз было ошибкой.

— Со стороны у тебя как будто всё в порядке, — сказал Пьер, — жена, дети, работа.

— Да-да, — с небрежной интонацией ответил Франсуа. — Но вот, чего-то нехватает. Счастье, это должно быть что-то такое, что не изнашивается.

— Это может-быть какая-нибудь отвлеченная теория, — сказал Пьер.

— Не думаю.

— Почему?

— Мне кажется, что счастье — это прежде всего ощущение или во всяком случае что-то очень личное и непередаваемое другим. Вот укажи мне человека, на месте которого ты мог бы чувствовать себя счастливым.

— Я никогда об этом не думал — сказал Пьер, — подожди, надо поискать. Человек, на месте которого я хотел бы быть и тогда бы я чувствовал себя счастливым? Подожди, Франсуа, я сейчас скажу. Ты хочешь знать имя? Амбруаз Парэ, Пастёр.

— Если бы кто-нибудь нас подслушал, он бы подумал, что говорят гимназисты. И плохо на этой земле распределены

должности, — сказал Франсуа, поднимаясь с земли. В голосе его была насмешливая и сочувственная интонация. — Потому что, милый друг, то, в чем нельзя, мне кажется, ошибиться, это, что тебе меньше всего подходит место бухгалтера.

Проходили дни, похожие один на другой, — как деревья в лесу. Всё так же жарко грело солнце, стучали дятлы, по вечерам кричали лягушки. С наступлением ночи всё погружалось в мягкую и теплую тьму, и когда Пьер ложился в свою кровать и смотрел через отворенную дверь, он не видел ничего, кроме мрака. Он думал, перед тем как заснуть, вдыхая этот особенный воздух, в котором стоял запах нагревшейся за день земли, травы и деревьев, — он думал, что парижская жизнь казалась ему неутомительной только оттого, что он никогда не знал о возможности такого существования, какое он вел здесь. Днем он часами наблюдал за передвижениями муравьев; он видел, как незримый крот выбрасывал землю наружу из своих сложных туннелей; маленькая ласка с красными глазами однажды стала перед ним в лесу на задние лапки и с секунду внимательно смотрела на него, а потом беззвучно и мгновенно исчезла: какое-то небольшое животное фыркало недалеко от него, он его искал глазами и не мог найти, и Франсуа потом объяснил ему, что это был барсук. Пьер бывал в доме, где жил Франсуа, только в часы еды. Бабушка совершенно привыкла к нему, как она привыкла бы к новому креслу или стулу, и больше не спрашивала никого, не кузен ли это Жорж. Может-быть, думал Пьер, она отказалась от этого предположения, может-быть она забыла о нем и теперь этот неизвестный Жорж был навсегда похоронен в ее слабеющей памяти. Пьер заметил с некоторого времени, что даже Мари перестала убегать, как только она его видела. И вот наступил день, — это было за неделю до конца его отпуска, — когда он проходил недалеко от ее сторожки и увидел, что она сидела на земле и мяла в руках кусок глины, который нашла неизвестно где. Он подошел ближе: она осталась сидеть и не двинулась, но не подняла на него глаз. Он остановился перед ней и сказал:

— Здравствуйте, Мари.

Она не шевельнулась. Он посмотрел на ее низко наклоненную голову — и вдруг вспомнил, что так же была наклонена голова его матери, когда он однажды, в сумерках вернулся домой; он с новой силой почувствовал, что она умерла и ощутил тяжелую печаль. Мари сидела перед ним, он видел ее серые волосы, загорелые, босые ноги с огрубевшими ступнями и матово-темную кожу ее лица.

— Я рад, что вы меня больше не боитесь, — сказал он, не повышая голоса. — Мне бы хотелось вам чем-нибудь помочь, если это возможно.

Она подняла на него свои светлые, пустые глаза, и он понял, что она слышала звук его голоса.

— Я знаю, — сказал он, разговаривая так, как если бы он обращался к совершенно нормальному существу, — что смысл моих слов до вас не может дойти, но это не так важно.

Она смотрела прямо на него, и когда он встретил ее взгляд, он невольно ощутил холодок в спине. В ее глазах не было никакого выражения. Он даже подумал, что это было похоже на раскрашенный анатомический рисунок человеческих глаз — кристалик, радужная оболочка, веки, ресницы. Но это был совершенно пустой и мертвый взгляд.

— До свидания, Мари, — сказал он, проглотив от волнения слюну. И только тогда, когда он углубился в лес, он несколько пришел в себя и начал опять напряженно думать о том, что все эти дни не давало ему покоя. Это были бесплодные попытки представить себе, кто была Мари и что с ней могло случиться. Теперь, после этого разговора, ему пришла в голову новая мысль. В тишине леса он разговаривал сам с собой вслух, — как он делал это когда-то давно, в школьные годы, обдумывая решение алгебраической задачи.

— Какие страшные глаза! — сказал он, продолжая идти. — И вот, представить себе, что этому мертвому взгляду можно вернуть человеческое выражение и сделать так, чтобы оно навсегда в нем осталось. Да, это стоит каких угодно усилий.

Он сделал еще несколько шагов, потом остановился и быстро пошел назад.

Франсуа уехал в город, за покупками, и прождав его час, Пьер пошел ему навстречу. Уже дойдя почти до конца дороги, которая вела к городу, он увидел наконец повозку, запряженную вороным жеребцом. Франсуа правил, сидя на узкой доске, положенной поперек повозки и куря трубку.

— Ты что, в город? — спросил он.

— Нет, — сказал Пьер, — я шел тебе навстречу. Мне надо с тобой очень серьезно поговорить.

— Садись рядом, — сказал Франсуа. — Советую тебе на это время забыть о существовании кресел, диванов и вообще о достижениях цивилизации в области мягкой мебели.

Когда Пьер влез в телегу, Франсуа прибавил:

— И о рессорах тоже. Так в чем же дело?

Стоял неподвижный зной, скрипела телега, покачивалась лошадиная спина, мерно двигались крутые бока жеребца. На лице Пьера было далекое и восторженное выражение.

— Я хотел с тобой поговорить о Мари, — сказал он. — Я избавлю тебя от всех забот о ней.

— Каким образом?

— Я возьму ее с собой в Париж.

Это было настолько неожиданно, что Франсуа натянул возжи и повозка остановилась. Потом он внимательно посмотрел на Пьера.

— Ты что, с ума сошел?

— Отпусти возжи, — сказал Пьер, беря его за руку. — Нет, я с ума не сошел.

— Что ты будешь с ней делать?

— Я постараюсь ей дать душевный покой и может быть, она придет в себя.

— Но где она будет жить?

— У меня, со мной.

Франсуа сказал:

— Я вижу, ты совершенно не отдаешь себе отчета в том, что собираешься делать. Ты представляешь себе, что такое ее соседство? Ты знаешь, что тебе пришлось бы следить за ней, как за маленьким ребенком? Ты представляешь себе, во что

превратилась бы твоя квартира? И всё это, в сущности, почти без всякой надежды на выздоровление.

— В этом смысле риска нет никакого.

— Хорошо, допустим, что я согласен не считать тебя сумасшедшим, — сказал Франсуа. — Но как бы ты довез ее до Парижа? Надо ли тебе объяснять, что в поезде ее везти нельзя?

— Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, — сказал Пьер. — Я отвезу ее на автомобиле.

— На каком автомобиле? И как ты ее повезешь? Связанной?

Но Пьеру ничто не казалось невозможным. Он вспомнил, что мысль об автомобиле пришла ему в голову на втором повороте дороги, когда он спускался по ней вниз, навстречу Франсуа, — на том повороте, где с одной стороны был небольшой овраг, а с другой поднимался крутой склон леса, густо и дико заросший терновником. Нет, он не думал, что Мари придется связывать, она наверное не окажет никакого сопротивления.

— Почему ты так думаешь?

— Ты знаешь, — сказал Пьер с доверчивой интонацией в голосе, — я заметил, что с некоторого времени она меня не боится. И когда я разговариваю с ней, она не уходит, а сидит на земле и слушает. Я не строю себе никаких иллюзий и убежден, что она конечно, не понимает моих слов. Но она их слушает и смотрит на меня.

— «Понимать», «слушать» — всё это к ней неприменимо, я думаю, — сказал Франсуа. — Она просто привыкла к звуку твоего голоса и он ее больше не пугает.

Они ехали некоторое время молча.

— То, что ты хочешь сделать, это конечно сумасшествие, — сказал Франсуа. — Я тебе советую об этом забыть. С твоей стороны это было бы совершенно ненужное и бессмысленное самопожертвование. Ты просто не понимаешь, насколько это глупо.

Пьер посмотрел на него невидящими глазами.

— Да, конечно, это самая чудовищная глупость, с кото-

рой мне пришлось встретиться за всю мою жизнь, — сказал Франсуа.

Пьер опять ничего не ответил. Было жарко. Телега поднималась в гору мимо медленно смещавшихся деревьев. Франсуа повернулся на сидении, посмотрел в сторону и добавил:

— Но если ты это действительно решил и тебя нельзя отговорить, то я тебе помогу.

Пьер вернулся в свою маленькую комнату в повышенном и почти восторженном состоянии, которое не покидало его с той минуты, когда он подумал о возможности увезти Мари в Париж. Франсуа был отчасти прав: Пьер меньше всего думал о том, что именно он будет делать и как надо будет смотреть за Мари, это казалось ему второстепенным. То, что занимало его мысли, было неизмеримо важнее. Он не сумел бы это объяснить в нескольких словах, но если бы он мог это сделать, он бы сказал, что теперь всё в мире приобрело для него новое значение. Он был избавлен наконец от того тягостного чувства, которое преследовало его все эти годы, со дня смерти его матери: чувства бессмысленности окружающего, его собственной жизни, его службы и всего, что он делал. Это чувство особенно усилилось в нем после его приезда сюда, когда он впервые вошел в лес и всё не мог оттуда уйти, погруженный в созерцание этого безмолвного и неподвижно-живого могущества стволов, ветвей и листьев. Когда он смотрел на них, ему почему-то казалось особенно очевидным, что его собственное существование ничтожно и бесполезно, — так, точно вид этого леса был непонятным и неопровержимым одновременно доказательством правильности именно этого сознания ничтожества и бесполезности. Теперь это изменилось — и там, где до сих пор была тягостная пустота, возникали спутанные волосы Мари, огрубевшие, босые ее ноги, ее бедное лицо, лишенное выражения и этот мертвый взгляд ее светлых и пустых глаз.

Он увидел ее на следующее утро, в той же позе, в какой он видел ее каждый день — она сидела на земле и попрежнему, с непонятным постоянством, мяла в руках всё тот же кусок гли-

ны, который давно потемнел от прикосновения ее грязных пальцев.

— Здравствуйте, Мари, — сказал, понижая голос, как он делал всякий раз, когда обращался к ней. И хотя он знал, что она не понимает его слов, эти напрасные его монологи не казались ему потерей времени — вопреки здравому смыслу. И он продолжал говорить так, точно перед ним была собеседница, понимавшая не только смысл его фраз, но и каждую интонацию его голоса.

— Я хотел вам сказать, — продолжал он, глядя на нее, — она не поднимала головы, — что это последние дни вашего пребывания здесь. Мы скоро уедем в Париж и ваша жизнь совершенно изменится.

Она не шевельнулась, — только ее пальцы медленно мяли глину. Пьер подумал о том, каким чудовищно далеким пространством она отделена от него и от того мира, в котором он жил — и на одну короткую часть секунды ему показалось, что всякая надежда на спасение Мари — только химера и бред. Но он тотчас же забыл об этом.

— Вы будете жить в Париже, со мной, — сказал он, — и вам будет гораздо лучше, чем тут. Я надеюсь, что рано или поздно вы выздоровеете, и тогда я напомню вам то, что я говорил вам здесь, за несколько дней до нашего отъезда.

Она ни разу не подняла головы. Пьер чувствовал необыкновенное волнение.

— Я еще должен о многом подумать, — сказал он. — Мы уезжаем через четыре дня.

На следующий день Франсуа свел его с крестьянином, у которого был небольшой грузовик с брезентовой крышей и наглухо закрывавшейся сзади деревянной дверцей. Крестьянин согласился отвезти в Париж Пьера и Мари за сравнительно недорогую цену. Он только попросил авансом у Пьера пятьсот франков на расходы; он был недоверчив, как все крестьяне. Пьер их ему сейчас же заплатил.

Пьер никогда потом не мог забыть того августовского рассвета, когда грузовик подъехал к дому Франсуа. Пьер был

давно одет и ждал уже с полчаса. Небритый и взъерошенный Франсуа стоял рядом с ним и курил трубку. Воздух был неподвижен, на траве блестела роса. Сердце у Пьера билось тяжело и неровно.

— Ты знаешь, — сказал он, — это всё-таки конечно огромная ответственность, я прекрасно это понимаю.

— Искренно желаю тебе успеха, — сказал Франсуа. — Ужасно хочется спать. А для среднего крестьянина встать в этот час ничего не значит, они все чуть свет поднимаются. Там, в Париже, ты держи меня в курсе всего, что будет происходить. Ох, милый мой, страшно подумать. Ну, идем за ней.

Они остановились на пороге сторожки, в которой она жила и дверь которой была отворена. Мари спала лицом вниз. Тот же невыносимый запах ударил в нос и глаза Пьеру. Он вынул платок и приложил его к лицу.

— Нечего делать, — сказал Франсуа, — входи.

Пьер подошел к кровати, на которой лежала Мари и тронул ее за плечо. Она открыла глаза.

— Мари, мы уезжаем, — сказал Пьер. — Я сейчас посажу вас в грузовик и мы поедем в Париж. Вставайте.

Он приподнял ее за плечи. Франсуа с удивлением смотрел на него.

— Она не понимает, что происходит, — сказал он вполголоса. — Она безразлична ко всему на свете, ты видишь.

— Тем лучше, тем лучше, — задыхаясь сказал Пьер.

У него было отдаленное сознание, в котором он едва отдавал себе отчет, что он совершает нечто страшное, какое-то насилие над ней, и он подумал, что так, вероятно, должен себя чувствовать убийца. Она была совершенно беззащитна: он чувствовал это по тому, как мягко поддавались мускулы ее тела под его руками. Он вывел ее из сторожки; она подняла руку к глазам и тотчас же ее опять опустила. Крестьянин стоял у своего грузовика, смотрел на то, что происходило, и лицо его не выражало решительно ничего. Пьер и Франсуа подняли Мари не без некоторого усилия — у нее было литое, тяжелое тело

— и внесли ее в грузовик, на полу которого лежал соломенный матрац.

— Теперь постарайтесь заснуть, Мари, — сказал Пьер. — Я разбужу вас, чтобы дать вам поесть.

Она лежала в грузовике так же неподвижно, как несколько минут тому назад лежала у себя в сторожке. Крестьянин захлопнул дверцу и сел за руль.

— Ну, счастливой дороги, — сказал Франсуа, пожимая руку Пьеру, и Пьер в первый раз заметил, что Франсуа был взволнован. — Помни, что ты обещал держать меня в курсе всего.

Грузовик тронулся. Далекая река внизу уже была освещена ранним солнцем и в деревьях медленно таял утренний туман. Пьера время от времени начинала трясти мелкая дрожь. Он молчал и смотрел сквозь мутное стекло на дорогу.

(Продолжение следует)

Гайто Газданов

МОЙ ДЕНЬ

Шли зданья, раскинув
На сотни кварталов
Огни магазинов,
Сиянье вокзалов,

Навстречу мне били
Слепящие светы
От ангельских крылий
Летящей газеты.

Там тень, что смятенной,
Неслышной махиной
Летает по стенам
Как нож гильотинный.

Там лампочки, винным
Подобны бокалам,
Со светом карминным,
Оранжевым, алым.

Я тенью по стенам
Чуть видно намечен,
Я красным рентгеном
Под сердце просвечен.

То прячусь в сторонке
Под стать невидимке,
То где-то на пленке
Я вспыхнул на снимке,

Казалось, что магний
Блистательно вспыхнул,
Казалось, я ахнул
И сразу же стихнул,

И сразу потухнул,
И как-то опально,
Отверженно рухнул
В какую-то спальню,

Я в простыни канул,
Я канул в матрацы,
Мне снятся мелькания,
Мне здания снятся.

По шумным проспектам,
По улочкам жалким
Там катится некто
В ночном катафалке.

Мой день бездыханный
Там катится шариком ртутным
По кафелю ванной,
В которой я выбрился утром.

Там день мой хоронят
Со всем его шумом и вздором
В том самом вагоне,
В котором я ехал в контору.

Почивший, безгласный,
Он виден мне сверху отсюда, —
Мой день, что погаснул
За темным холмом ундервуда,

Мой день, по котором
Отходные шепчут молитвы
Его коридоры,
Его кабинеты и лифты,

Его неудачи,
Его треволненья и страхи,
Мой день, что потрачен
На всякие охи и ахи,

Который был отдан,
Который вручен без остатка
Углам, переходам,
Туннелям, мостам, пересадкам,

И всем телефонам,
И пошлости всех разговоров,
И нежно-зеленым
И красным огням светофоров, —

Он жил суетливо,
И как-то погиб несуразно,
В каких-то архивах,
В каких-то бумагах увязнув,

Сидит секретарша
Еще и поныне в приемной,
Где в траурном марше
Колышется гроб его темный.

Мой вечер короткий
Расхищен, растаскан, развеян.
И только ошметки
Блестят еще в окнах кофеен.

Он двинулся в вечность
Со всем своим скарбом.
Мой день скоротечный
Ушел к динозаврам.

Я вижу в пространстве
Вселенной туманной
Блистанье фаянса
И кафеля ванной.

Лицо мое брея,
В сиянии пены,
Я пробую, время,
Ломать твои стены.

И хрупко и ломко
Стеклянное завтра.
Я прямо к потомку
Веду динозавра,

И с ним его дебри,
Его океаны,
И месяц, серебрян,
Свисает с лианы.

Шумят эвкалипты.
Летят метеоры.

Я двигаюсь к лифту.
Спешу из конторы.

Иван Елагин

РЕВНОСТЬ

ОТ РЕДАКЦИИ

23 февраля этого года в Мюнхене скоропостижно скончался Ф. А. Степун, давний друг и сотрудник «Н. Ж.». Мы обратились к профессору Канзасского университета Андрею Штаммлеру с просьбой написать о Ф. А. статью для нашего журнала. Проф. Штаммлер был очень близок к Ф. А. и лично и духовно. В ближайшей книге «Н. Ж.» мы с удовольствием напечатаем статью проф. Штаммлера о Ф. А.

Рассказ «Ревность» мы получили от Ф. А. месяца за два до смерти. Вот что писал о нем Ф. А. 22 октября 1964 г. Р. Б. Гулю: «В ближайшее время пришлю Вам нечто для Вас неожиданное. Я недавно кончил небольшой рассказ, 18 машинных страниц, озаглавленный «Ревность» — чувство, которое я реально никогда не переживал. Фабула — роман героя с фотографией — взята из жизни, но развивается она в рамке моих философских размышлений о сущности любви. Не думайте, что рассказ безбытно витийственный, то-есть чисто философский; там есть и сцена, и парки, и музыка — Шопен и Рахманинов и так далее. К Вам только одна просьба: не печатайте, если радикально не понравится». И в письме от 1-го января 1965 г.: «Читал я (рассказ) и немцам. Передовые писатели и критики говорят, что в нем очень много хорошего, но что он устарел, что много сентиментального и мистически углубленного. Но я считаю, что тому, что Европа считает устаревшим принадлежит будущее. На том, чем держится современное искусство, будущая Европа держаться не может. Уж очень силен душек растления!». РЕД.

В одном из больших городов Германии, известном своей высокой театральной культурой, шел «Отелло». На афише красовалось имя знаменитого режиссера, новатора и эротомана.

В одном из первых рядов сидел человек лет пятидесяти, старый эмигрант, знаток и любитель театра, Сергей Алексеевич

Исцеленов, с женой. Он был явно недоволен постановкой и игрой актеров.

Стоя в перерыве у буфета с чашкой кофе в руках, он с брезгливым выражением на взволнованном лице говорил Марине:

— Нет, это невозможно. Может быть, Штейнхауэр талантливый актер, но его Отелло недопустимо искажает и даже оскорбляет благородный образ мавра. Словно невоспитанный охотничий пес курицу гоняет его Отелло испуганную Дездемону по сцене. Как бы ни гнусна была ревность в жизни, ее изображение в искусстве должно быть благородно. Боже, до чего прекрасен должен был быть по рассказам моей матери, игравшей в молодости с самим Станиславским, Отелло в исполнении Сальвини! Полный скорбного отчаяния, но и презрения к изменнице, он выхватывает из кармана платок и быстрым движением, не касаясь лица Дездемоны, как будто ударяет ее в лицо. Я не знаю, знал ли Сальвини изречение Пушкина: «Отелло не ревнив, он доверчив», но играл он, во всяком случае, трагедию оскорбленного доверия, а не буйство чувственной ревности.

— Знаю, знаю, родной, это наша старая тема, — сказала Марина. — Дай Бог, чтобы ты никогда не пережил ревности. Самое страшное в ней то, что она самовольно и беспричинно входит в жизнь. Вот я тебя всю жизнь ревную, хотя твердо верю в твою верность. Ну, пойдем.

Марина Константиновна взяла мужа под руку и повела досматривать «буйство слепой ревности».

— А когда придем домой, — предложила она, — пробежим «Отелло». Я думаю, Пушкин был не вполне прав. Конечно, Отелло доверчив, а не злостно подозрителен, но разве доверчивость исключает ревность?

В потушенном зале быстро поднялся занавес. Раздалась музыка третьего акта, и появился шут.

Когда Исцеленовы вышли из театра, они были радостно поражены неожиданным подарком: выпал снег. С любовью и вкусом обставленная Мариной квартира показалась обоим еще бо-

лее милой и своей, чем обыкновенно. Вероятно, потому, что возвращались домой по заснеженным тротуарам.

Ни Шекспира, ни Пушкина Марина беспокоить не стала, а принялась готовить чай. Пройдя к себе в кабинет, Сергей Алексеевич благодарно ощутил уют своего мира. Сев в любимое кресло перед раскрытою двойной дверью, через которую было видно, как Марина накрывала стол корельской березы, дешево купленный на распродаже шведского консульства, он со все растущей нежностью любовался тишиной Мариниого образа, музыкой ее плавных движений и какою-то, быть может от сельских священников и деревенских церквей, унаследованной кротостью.

— La tabula pronta, — прозвучал певучий голос Марины. (Милое воспоминание об итальянской поездке, которую влюбленные в свою дочь родители подарили ей за блестящее окончание гимназии).

Сергей Алексеевич встал и, охваченный своими мыслями и чувствами, перешел в столовую.

— А, знаешь, — взглянула Марина на мужа, — собирая ужин, я всё время думала о нашем вечном разногласии — о ревности. Ты знаешь как мне тяжело без России, без родителей. Из именьица — а как радовались, когда покупали — их выгнали. Отец уже умер без нас, без нас скоро умрет и мать. И всё же, да простит мне Бог, я рада, что мы в Европе. Больно и стыдно думать, а всё же думается: была ли бы твоя любовь ко мне, если бы мы остались в Москве, так же нерушима, так же безоглядна, как здесь. Здесь мы, как только зазвонят в соседней церкви, вспоминаем колокола Звенигородского монастыря, в гостинице которого переживали самые трагические дни нашего пути друг к другу. Вспоминали ли бы мы их также и в Москве?

Затягиваясь крепкой папиросой, Исцеленов взволнованно слушал жену. Ему от всей души хотелось сказать ей, что она ошибается, что и в Москве он не менее безоглядно любил бы ее, как в Германии или где бы то ни было, но что-то мешало ему исполнить свое желание. Марине, знавшей мужа глубже,

чем он сам себя, стало жаль своего Сережу и захотелось помочь ему.

— А знаешь, родной, может быть я и впрямь ошибаюсь. Не к кому мне, ревнивице, ревновать. Вот я и выдумала соперницу, Россию. Странная соперница, которая не уводит тебя от меня, а, наоборот, прикрепляет ко мне. Ну, довольно, уже поздно, надо идти спать. Тебе надо хорошо выспаться, ведь завтра в девять утра придут снимать тебя для какого-то художественного альбома.

На следующий день ровно в девять раздался звонок. Вошел изящно и модно одетый человек средних лет. Закончив работу и поболтав на тему о трагической встрече Германии и России в первую и вторую войну, он обещал через несколько дней прислать пробные снимки для своего фотоальбома по истории культуры. Присланные снимки оказались очень интересными по существу и технически блестяще исполненными.

Стоял прохладный, под высоким небесным куполом бледно-синий, у земли же закатно-желтый, в красных полотнищах день. Уставший от работы Исцеленов шел загородным парком, местами густым как лес. На душе у него было щемительно тревожно и всё же как-то приглушенно хорошо: не слышалось автомобильных гудков, не встречались случайные прохожие, попадались аллеи еще голых берез, молоденьких, не больше тридцати лет, как дóма в Подмосковьи. Дóма? Но есть ли у него еще дом? Вот только Марина!

Выйдя из парка, Исцеленов вскочил в подходивший автобус и взял билет до театральной площади: хотелось посмотреть афиши. С площади пошел на главную, обрамленную высокими тополями улицу. Бессмысленно обгоняя друг друга, неслись друг за другом громадные автомобили. На них с недоброжелательностью, смотрели спешившие по тротуару люди. Витрины и рекламы напрягали последние силы, чтобы воспрепятствовать автомобилям пронестись мимо них. Всё это и душевно и телесно утомляло Исцеленова, порождало в нем непреодолимую тоску. Всё как будто бы кипит жизнью, думалось ему, а на самом деле всё живет смертью.

Снявв с увлажненной от быстрой ходьбы головы шляпу, он свернул в прилегающую улицу. Подходя к недавно выстроенному дому комфортабельных квартир, он уже издали увидел в нишеобразном углублении стены фотовитрину с его собственным портретом, в правом нижнем углу которого, к его удивлению, была помещена фотография молодой женщины, с как будто бы простым, но пленительным и зовущим куда-то вдаль лицом, скорее славянского, чем германского типа. Стоя у витрины вот уже десять, а может быть и пятнадцать минут — время для него как будто бы остановилось — и всё глубже проникая в глубину заворожившего его лица, Исцеленов взволнованно чувствовал, что за холодным стеклом свершается какая-то таинственная жизнь.

Придя домой, он вошел в кабинет и сел за давно начатую рукопись, изредка взглядывая на висевший над его письменным столом портрет Достоевского.

— Прошу обедать, — позвала из столовой Марина.

За обедом Сергей Алексеевич, человек от природы говорливый, рассказал жене о прогулке в парке, пофилософствовал о непереносимом для него мертвом беге современности и упомянул о двойном портрете, но о своем странном ощущении теплой под холодным стеклом жизни почему-то умолчал.

Ничего не говорил о нем Марине и все следующие дни, хотя дня не проходило без свидания с портретами.

Примерно через неделю выпал особенно хмурый ветренный день. Голые ветви лип взволнованно мотались в большом окне исцеленовского кабинета. Решив, что он с утра не пойдет гулять, Исцеленов снял с полки книгу Анри Масси «Defense de l'Occident» и сел за письменный стол. Хотя книга его очень интересовала, он читал недолго. Взглянув в окно и решив без достаточного на то основания, что погода улучшится, он накинул плащ, надел старую шляпу и вышел на улицу без ежедневного предпрогулочного вопроса: куда идти? Уже через час он подходил к портретам. Лицо молодой женщины показалось ему еще пленительнее, чем в прежние свидания.

— Уверен, — вдруг прошептал он про себя, — что она

ему очень нравится, что он влюблен в нее и тут же перебил себя самого: но кому же она нравится? Не застекленной же бумажке, не физико-химической светописи? Нравится она, конечно, живой душе, таящейся в фотографии. Но чьей? Моей? Да, моей, и всё же враждебной мне душе моего двойника, которого я ненавижу, к которому ревную. Да, ревную, первый раз в моей жизни. Ревную потому, что он всегда с ней: и шумным вечером, когда мимо них несутся автомобили в театр, и ночью, и ранним утром, когда восходит солнце. А вот я, я лишь на полчаса прибегаю к ней, чтобы душой унестись в какие-то волнующие меня, зовущие куда-то дали. Мучительно еще и то, что утаиваю свои переживания от Марины. За обедом мимоходом с улыбочкой скажу: «А мои влюбленные-то всё еще висят на углу. Хорошо им: немые, неподвижные, застекленные, им и поссориться трудно». А вот чтобы рассказать, что во мне происходит, — так нет, не рассказываю. Если бы всё было во мне простой игрой художественного воображения, наверное, не только всё рассказал бы, но и повел бы Марину посмотреть на мою бумажную красавицу. Но не веду, не показываю. Чувствую, что и в Марине что-то происходит. Почему она ни о чем не спрашивает? Испугавшись этой своей мысли, Исцеленов нервно, быстро зашагал домой.

Пронеслись дни, промелькали ночи, пробежали недели. Душевное состояние Исцеленова становилось всё мучительнее, всё сложнее. Зовущий в даль фотопортрет с каждым днем всё самоувереннее и самовольнее превращался в живое существо, стремящееся, если не сегодня, то завтра войти в его жизнь. Чувство вины перед Мариной, трагической вины без вины, неустанно росло у него в душе. Но поделиться всем с женой он всё же не мог, может быть потому, что она силой своей любви и своей духовной трезвенности могла бы освободить его из плена, а освобождения он не хотел: уже любил свой плен, таящееся в нем единство счастья и страдания.

В таких, уже не покидавших его, чувствах Исцеленов сварливым апрельским днем шел на свое ежедневное свидание. Уже издали он заметил какую-то перемену, какой-то беспорядок.

Оказалось, что в портреты был брошен довольно увесистый камень, витрина, в которой он лежал, была полна осколков. Портретов, конечно, не было. Возмущенный и до глубины души оскорбленный Исцеленов из ближайшей же телефонной будки позвонил фотографу, чтобы узнать, что случилось. Сочувствия своему возмущению он, однако, не встретил. Ответ был прост и даже циничен: какой-нибудь пьяный хулиган пошутил; в университетских городах даже студенты разбивают фонари. А может быть какому-нибудь мальчишке понравилась смазливенькая девчонка под стеклом, — вот он и решил разбить стекло и сунуть ее себе в карман. Волноваться, герр Исцеленов, право, не стоит. Починим витрину и повесим вашу фотографию на старое место.

Этот короткий деловой разговор потряс Исцеленова. Особенно, циничное замечание: «быть может, смазливенькая девчонка понравилась какому-нибудь пьяному хулигану». Ведь она и ему «понравилась», и он хотел, не разбивая стекла, высвободить ее из витрины и как-то оживить для себя.

Вернувшись после быстрого пробега по знакомым улицам домой, Исцеленов прошел в кабинет, снял с полки книгу Анри Масси, в которой посрамление России называлось защитой Европы, и решил немножко отвлечься, поработать. Но работа не ладилась: перед глазами стояла разбитая витрина, в душе — тяжелое одиночество.

Закурив всегда успокаивающую его крепкую папиросу, Исцеленов надолго погрузился в какое-то бессловесное раздумье. В глубине души начало как будто немного светлеть. Всё же не к кому больше бегать на свидания и ревновать мечтою оживленный портрет к своему немому двойнику, да еще скрывать всё это от Марины.

Эти раздумья были внезапно прерваны с юношеских лет знакомыми и любимыми звуками Шопена. Вернувшись с закупочной прогулки, Марина прошла в столовую и села, как всегда перед обедом, за рояль. Дверь в кабинет Исцеленова она прикрыла и играла, чтобы не мешать мужу, вполголоса. Играла хорошо. В консерватории ее ценили. Бросила она ее не без

душевной борьбы, из-за любви к своему любимому брату — небезызвестному социалисту-революционеру, считавшему, как и многие из его товарищей, что волноваться руладами Шопена, когда уже слышны раскаты революции этически недопустимо.

После Шопена она перешла к Скрябину, а под конец сыграла даже всеми забытого Глиера, который писал музыку для постановки «Царя Эдипа» Софокла, в которой Исцеленов принимал участие.

За дверью по черно-белым клавишам бегали Маринины пальцы. Так много лет смотревшему на них Исцеленову казалось, что он видит их сквозь закрытую дверь. Вместе с пальцами бегали и воспоминания о России. Всем своим существом Сергей Алексеевич жил в творчески взволнованной предвоенной Москве. Под Марининими руками замер Шопеновский этюд... В памяти Исцеленова остановился ранний нижегородский поезд. Выбежав из душного ночного купе в бодрящую синеву сентябрьского утра, он весело зашагал по тротуару и, вскочив в полулихацкую пролетку, понесся к Марине. Уже на лестнице он услышал того же Шопена, которого она только-что играла. То, что она играла, означало, что она одна дома, что ее муж, помощник известного присяжного поверенного, уже в канцелярии своего патрона. С охапкой роз в сгибе руки, он, как зачарованный, слушал ее игру...

— Здравствуй, милый, — неожиданно раздался в дверях голос Марины. Подойдя к нему, она ласково обняла его и, сбросив своей милой рукой — маленькой квадратной лопаточкой — уже седеющую волну волос с правого виска, нежно поцеловала его, словно вдохнула в него свою душу. — Знаю, Сереженька, скучно тебе. По чьему-то злостному повелению исчезли твои влюбленные тени.

— А ты почему знаешь? — взволнованно спросил Исцеленов.

— Случайно проходила мимо и увидела разбитую витрину.

Пытливо взглянув на жену, Исцеленов молча отошел к окну. В комнате наступило сосредоточенное молчание, многими вопросами обращенное и к Марине и к ее Сергею.

— Так ты, — повернулся Исцеленов к жене, — значит, знала, чувствовала, что со мной творится нечто неладное. Почему же ни разу ни о чем не спросила? Ведь тебе было, конечно, непривычно и даже больно, что я в первый раз в нашей жизни что-то утаиваю от тебя.

— Ну, конечно, чувствовала, что ты сам не свой. Пожалуй, даже догадывалась в чем ты запутался, думалось, что пока лучше помолчать. Ведь я знала, что когда придет время распутываться, ты сам придешь ко мне. Ты сейчас уже на полпути домой. Потому и заговорила. Расскажи, чем же ты мучился?

— Ну, конечно, той самой ревностью, которую никогда не переживал, но о которой мы говорили с тобой всю жизнь. Не странно ли, впрочем, что она впервые вспыхнула во мне на следующий день после нашего разговора о постановке «Отелло» здесь, в Германии, и в Москве.

— Я думаю, что ты ошибаешься, — осторожно заговорила Марина. — Ты не ревностью мучился. Ревность человек испытывает лишь когда любимое существо уходит к другому. Но ведь в твоем романе с незнакомкой второго героя нет, и ревновать тебе потому не к кому.

— Ах, вот как ты думаешь, — удивился Исцеленов и молча снова отошел к окну. — Но если я не мог испытывать ревности, то что же со мной, по-твоему, было?

— На этот вопрос, Сереженька, я могу тебе ответить лишь напоминанием нашего первого разговора о любви. С ним я живу всю жизнь как с самым умным другом и советником. Ты, конечно, помнишь, что слушая тебя, я заблудилась в нашем приусадебном лесочке, в котором знала каждый куст и каждый пень, в котором ночью могла бы собрать все грибы, не оставив ни одного подо мхом.

Голос Марины дрогнул, та же вечерняя заря, которою она тридцать лет тому назад, не находя дороги, вела Сережу домой, нежно окрасила ее лицо и засветилась в поднятых к Сергею глазах.

— Боже, до чего ты сейчас молода и хороша! — бросился

Исцеленов к Марине, и страстно обняв ее, подвел к большой фотографии их старой усадьбы, к которой они когда-то не могли найти пути.

— Да, да, прекрасно помню, как доказывая тебе необходимость покинуть мужа, я откровенно признался, что обещать тебе пожизненную верность не могу. Не могу обещать даже нескольких лет безоглядной любви. За этой жестокостью, в которой мне было нелегко признаться, стояло мое, опытом проверенное убеждение, что большинству людей моего романтического склада суждено пожизненно мучиться борьбой между волею к целостному единству и соблазнительными желаниями множественности... Как бы твердо я не верил, что ты мое всё, мое единство, — говорил я в тот вечер тебе, — такой счастливый, замученный и растроганный, — я временами всё же буду прислушиваться к каким-то издали зовущим меня голосам и волноваться ожиданием приближения к нашему дому пленительных теней, жаждущих воплощения и тем грозящих нашему счастью.

Ничуть не разделяя взглядов Сергея, Марина всё же с удовольствием слушала его воспоминания о вечере их первого разговора о любви.

— К твоей теории любви, милый, я хочу добавить только твою главную мысль: если бы перед судьбоносной любовью не стояла задача постоянной борьбы с соблазняющими тенями и победа над ними, то у этой любви не было бы того религиозного смысла, которым только и спасается мир: один Бог, одна мать, одна смерть, одна любовь.

— Ну, пойдем ко мне, — предложил Исцеленов. — Сядем в наши кресла и хорошо обо всем вместе подумаем. И принеси нашего белого вина для бодрости.

Вернувшись Марина близко подсела к Сергею, привычно провела рукой по его волосам и, повторив его слова: «Давай вместе хорошо подумаем», начала разговор с нелегкого для нее признания:

— Конечно, Сереженька, мне было грустно, что ты впервые за нашу 25-летнюю жизнь почувствовал себя раненым

женским образом и даже не осилил откровенного признания в этом. Но одновременно я всё же была и рада, что первая возжаждавшая воплотиться тень была судьбою остановлена на полпути: осталась образом и не стала плотью. Воплотись она в живую женщину да еще, не дай Бог, пленительную, молодую советскую девушку — и моя жизнь, при твоей вере, что Россию может спасти только страдающий там народ, могла бы надолго погрузиться в ночную тьму. Господи, спаси нас от такого несчастья, — Марина взглянула на образ Божьей Матери и медленно перекрестилась.

— Но вернемся к ревности. Я уже намекала тебе, что мне не верится, что ты мучился ревностью. Когда у героя романа нет соперника, то ревность невозможна.

— Но чем же я тогда мучился, если не ревностью? За что ненавидел своего двойника в витрине?

— На это очень трудно ответить. Ты знаешь, я не умом думаю, но попробую. Я, видишь ли, уверена, что женщина, подкинутая тебе произволом фотографа, ранила тебя потому, что в тебе уже раньше всколыхнулась романтическая мечта о воплощении одной из твоих теней, которые по твоему убеждению должны были бы всю жизнь невоплощенно маячить на далеком горизонте нашей жизни. Ты потому страдаешь, что возмечтавшая воплотиться тень не осуществила своей мечты. Судьба заступилась за меня: посланницу дали она подарила тебе лишь в образе, но не во плоти, а ей в качестве ее героя преподнесла тебя, но немого, безжизненного, за холодным стеклом стынущего, себя самого себе запретившего. В этом раздвоении и вся твоя мука.

— Ах, милый и бедный ты мой! Хоть я совсем на тебя не похожа, я тебя до последней черточки знаю. Ты хочешь невозможного: хочешь не снимаясь с якоря на всех парусах нестись вдаль. С ревностью это не имеет ничего общего. Вот если бы при возобновлении витрины, фотограф вставил бы в нее фотографию другого, да еще интересного мужчины, а внизу, в правом углу, поместил бы фотографию твоей возлюбленной, то ты смог бы сойти с ума от настоящей ревности. Ах, Сере-

женька, — проговорила Марина, наливая мужу остаток вина, — если бы ты знал, как много я за последние недели думала о тебе, старалась понять, что в тебе происходит. Твоей вины передо мной не чувствую и потому, может быть, и помогу тебе; в твоем несчастьи ты мне ближе, чем был до него.

Бывают в жизни странные случаи, а впрочем, что такое случай? Не пользуемся ли мы этим словом как указанием на непонятное для нас веление судьбы. Таким судьбоносным случаем и закончился роман Исцеленова с его пленительной тенью.

Недели через две после многих раздумий Исцеленов под вечер шел по фешенебельному предместью города. На углу двух нарядных улиц, к которому он подходил, он увидел молодую изящную чету, которая оживленно жестикулировала, что-то рассматривая. Подойдя ближе, Исцеленов увидел в той же витрине, в которой он сам был выставлен, прекрасный большой портрет европейски знаменитого композитора и дирижера, кумира всех артистически настроенных модниц города, а внизу, под его сердцем, снимок своей возлюбленной, зовущей в даль уже не его, а известного всему миру безответственного соблазнителя женщин, избалованного публикой заносчивого наглеца. Кровь бросилась Исцеленову в голову, в голове потемнело, в темноте застучало. Не слишком здоровое от трудной жизни сердце засуетилось в груди, нечем было дышать. Где выход, где дверь? Как она могла, как осмелилась, — судорожно сжимал кулаки Исцеленов, мысленно грозя поднять их к наглому лицу соблазнителя. Вот она настоящая ревность. «Убью», — прошептал он, не понимая бессмыслицы своей угрозы и, уйдя подбородком в поднятый воротник, быстро зашагал домой.

— Что с тобой? — удивленно воскликнула Марина, открывая дверь мужу.

— Ты напророчила. Она в действительности ушла к другому, да еще к мерзавцу. Молчит у него под сердцем и немотой своей зовет и его вдаль, его — который никакой другой дали, кроме дали денег и аплодисментов, не знает! Ах, Марина, Марина, какая боль, какая мука! Нет, не утешай, не говори, что их любовь мной выдумана, что они друг друга не знают. Для

меня эта логика неубедительна, потому что я вот уже два месяца только и живу той сложной мукой, которой они меня душат. Не знаю как с ней справиться, но знаю, что справиться надо, а то я сойду с ума.

— Какое счастье, Марина, что ты почуяла, что мое наваждение совсем не сумасшествие, а очень сложная личная драма, — влюбленность в карточную подругу. Что то близкое трагической иронии Блоковского балаганчика.

— Если бы ты этого не почуяла, то, вероятно, уже давно позвонила бы в клинику для душевнобольных и тем отдала бы меня в лапы какого-нибудь знаменитого психоаналитика. Прошу тебя и в будущем не звони. Как-нибудь обойдется, как-нибудь мы сами со всем справимся.

— Ну, пойдем поужинаем. Привычный обиход всегда успокаивает. Ах, как хочется освободиться от наваждения и снова войти в разум истины, которым мы с тобой жили до сих пор. А попозднее пойдем ко мне и обо всем по-хорошему подумаем. В прошлый раз это помогло.

Хорошего разговора, как в прошлый раз, однако, не вышло. Что-то мешало Исцеленову приоткрыть Марине как будто бы назревающее в нем решение. Чувствуя это, Марина от себя разговора не повела, но не быть вместе с Сергеем в этот страшный вечереющий день ей было невмоготу. Подойдя к роялю, она выбрала из лежащих на черной лакированной крышке нот прелюдию Рахманинова и опустила руки на клавиши. Раздался, ах, какой знакомый, какой обоими любимый аккорд, слышанный впервые в Москве, потом в Дрездене и, наконец, в Подмосковной на Фирвальдштедтском озере усадьбы Рахманинова, в которой они с Сергеем провели год тому назад два особенно памятных, счастливых для них дня.

На следующее утро Исцеленов снова сидел в своем кабинете. Перед ним лежала бумага, а на ней химический карандаш, очевидно выпавший из рук. За обедом он был особенно внимателен к Марине, но и очень молчалив. В нем вызревало какое-то, ему самому еще неясное, решение, постепенно оформлялся последний акт его сюрреалистической драмы. Неделю

спустя после всего случившегося, Сергей Алексеевич поздним вечером пришел к Марине и сказал, что он очень устал, что у него болит голова и что ему необходимо прогуляться; может быть он даже зайдет, если у них будет гореть свет, к Никифоровым — поболтать, развлечься.

Марине было ясно, что возражать нельзя, что что-то принуждает ее мужа к его решению.

— Иди, — сказала она, — если чувствуешь, что не можешь остаться. Но только прошу тебя, не приходи слишком поздно — к двенадцати буду ждать тебя.

Захлопнув дверь, Марина, не вынимая и не поворачивая ключа, долго простояла у выхода наружу.

Звонок раздался около часа. Быстро вошедший, почти вбежавший в переднюю Исцеленов, превратился, как показалось Марине за несколько часов отсутствия в совершенно другого человека, чем тот, за которым она захлопнула дверь. На его в последнее время таком мрачном лице был какой-то дальний отсвет просветления. Он взволнованно бросился к Марине и крепко обнял ее.

— Где ты был? Что делал? Что с тобой? — взволнованно, но все-же и с надеждой, что ничего страшного не произошло, спрашивала Марина мужа.

— Был на мосту. А что делал — утопил.

— Кого?

— Ну, конечно, ту первую из царства теней, что возжелала воплотиться и войти в нашу с тобой жизнь. К моему и твоему счастью, она подло изменила, и я возненавидел ее и приревновав ее, решил, что она должна умереть. Она! Но пойми Марина: она — это не только ее застекленный образ, а и та живая женщина, которую я ощутил сквозь фотографию и в которую, признаюсь, по-настоящему, влюбился. Это единство образа и реальности тебе, пожалуй, трудно понять. Да и я эту странную магию понял только совсем недавно в моем общении с портретами. Но древняя магия эту тайну давно знала, всегда верила, что во всяком отображении человека: в портрете ли, в сновидении ли, в зеркальности вод таится и он сам.

Это правда, Марина. Если бы эта вера не была правдой, я не мог бы пережить моего романа.

— Решив утопить свою любовь, я стал раздумывать как это правильнее осуществить. Проще всего было бы разбить стекло, вынуть портрет и бросить его куда-нибудь — хоть в лужу. Но это показалось как-то вульгарно. И потому я решил купить алмаз для разрезания стекол: купив, попробовал — режет. Потом встал второй вопрос — не положить ли портрет в большой конверт — как покойника в гроб. Сначала подумалось правильно, но потом опять перерешил. Нет, пускай захлебывается. Решив так, взял с собой веревку, перевязал фотографию крест-накрест, подвесил к ней камень, прошел на реку и бросил с моста мою недовоплощенную тень в реку.

— Исполнял я всё это, — признавался Исцеленов Марине, — с несвойственной мне медлительностью и точностью и в странном чувстве будто бы совершаю некое тройственное священнодействие: покаяние — вина перед тобой, жертвоприношение — ведь она умерла, искупая вину всех возмечтавших о воплощении теней, и воскресение — возвращение в нашу прежнюю жизнь.

Сидя, с опущенными глазами за письменным столом, Марина слушала рассказ-исповедь Сергея без малейшего движения в лице. В комнате стояла о чем-то бесконечно глубоком задумавшаяся тишина.

Подойдя после долгого молчания к Сергею, Марина взяла его под руку и подвела к окну, в котором уже брезжило: в розовеющем тумане начали проступать церковные башни.

— Я очень счастлива, родной, что ты начинаешь духовно выздоравливать. Я уверена, что ты скоро совсем выздоровеешь. Когда ты блуждал среди твоих мистических теней, я очень боялась за нас, за конец нашей жизни, о котором я в последнее время много думаю. Ведь если в час последнего расставания людям может быть дарован свет, то он только и может быть светом за всю жизнь ничем незатемненной любви...

На следующий день в столовой казалось светлее, чем за окном. Марина вышла к чаю в стареньком, еще в Москве сши-

том платье, которое она надела в знак благодарности прошлому, вернувшему ей Сергея. Чай пили молча, лишь изредка многозначительно перекидывались малозначительными словами. Устали разговаривать о несказуемом и мучительно молчать об очевидном.

В недалекой католической церкви зазвонили к заутрене.

— Как хорошо звонят, — сказала Марина. — Знаешь что, — радостно прибавила она, — мы уже давно не гуляли вместе. Хочешь — день сегодня такой светлый — пройдемся по нашему чудесному парку, а на обратном пути зайдем в церковь. Мы давно уже в ней не были.

Федор Степун

Под громыханье голубых трамваев
В предчувствии голубоватых Альп...

Дворцы белели в лиственной оправе
И в пику городским колоколам
Куранты голосистые играли,
Раскалывая сутки пополам.
Плыл чайный запах скошенного сена,
И цепь прудов терялась вдалеке,
И золотистым отголоском Вены
Являлся Моцарт в светлом парике.
Там музыка вечерняя казалась
Построенной из безупречных призм,
Там хрустали покачивались в залах,

И капал воск, и липа отзывалась
На беглый шум летящих водных брызг.
Век молодел под пальцами свежея,
А я был счастлив получить билет
На музыку зеркальных отражений,
На вымыслы, которым имя — свет.
Там флейта, поворот за поворотом,
К каким-то уводила тростникам,
И Моцарт алебастровым эротам
Смеющиеся губы размыкал.
Там голуби почтовые летели
Сквозь нотный стан несбыточных химер,
А добрый лев благословлял затею,
И лапу клал на сине-белый герб.

МОЦАРТ ПИШЕТ РЕКВИЕМ

Пока движенье ледников
Земли опять не поглотило,
Пока в разрывы облаков
Глядят огромные светила,
И отражается в воде
Звезда себя не узнавая,
И солнце властвует везде,
Как мира точка узловая,
Пока могучий метеор
Крушит таёжные трущобы
И каменные спины гор
Клубятся зеленью парчевой —
Мы слышим сонмы голосов
В прохладной готике органа,
И жизнь трепещет, как висок,
И песнь, как призма многогранна.
И слышит там, за гранью дней
Душа, ушедшая из тела,
Как светлый реквием по ней
Поет Сикстинская Капелла.

ДЕРЕВО

В кабинете гравюры на дереве
Подмалеваны красным мелком;
А в окошке гравюрное дерево
Золотому закату доверило
Древний выгиб, поросший грибком.
Это дерево в облаке шарило,
Эта крона ждала Рименшнайдера,
Наклоняясь тяжелым стволом
Над моим необъятным столом.
Размыкая тугое кольцо,
Брызнут щепки, и резчик веселый

Ветру даст человеческий голос
И слепому наросту лицо.
И фигуры в резном алтаре
По-готически выгнут ладони,
Заиграет на легкой заре
Это дерево, как молодое.
А остаток сухого ствола
Подберет новоявленный Дюрер,
И войдет в древесину пила
И нарежет досок на гравюры.

* * *

Скрипичный ключ, озерный лебедь,
Зеленый отблеск от воды;
На солнечном вечернем небе
Грозы лиловые следы.
Под окнами давили гравий
Колеса лаковых карет;
А окна Моцарта играли
И падал золотистый свет.

Олег Ильинский, 1964

ВОССТАНИЕ ВЕЩЕЙ

КИНО-СЦЕНАРИЙ В 8-ми ЧАСТЯХ

ОТ РЕДАКЦИИ

Рукопись нигде не опубликованного сценария Льва Лунца «Восстание вещей» мы получили от его сестры Е. Н. Горнштейн, постоянно живущей в Англии. У нее остался довольно большой архив покойного писателя. И ей принадлежат все права на перевод и постановку сценария «Восстание вещей». Сейчас над архивом Л. Лунца работает американский студент Гари Керн, пишущий диссертацию о творчестве Л. Лунца. Л. Н. Лунц родился 2 мая 1901 года. Когда в 21-ом году в Петрограде образовалось литературное содружество «Серапионовы братья», прозаик, драматург и писатель по вопросам теории литературы Лунц стал одним из видных «серапионов». Но в 1922 году Лунц заболел и благодаря хлопотам М. Горького его выпустили за границу. Горький выхлопотал ему литературную командировку в Испанию. Об этом 22.IX.22 Лунц так писал своим родителям, жившим тогда в Гамбурге: «Горький прислал мне нежнейшее и длиннейшее письмо. Он едет в Испанию и зовет меня; обещает устроить». Но до Испании Лунц не доехал. В июне 1923 г. он приехал в Гамбург к родителям и там вскоре тяжело заболел, здоровье его было уже надорвано. Его поместили в санаторий около Гамбурга, где он через 10 месяцев умер 23-х лет от роду, от воспаления мозга. О сценарии «Восстание вещей», уже из санатория, 14.VII.23 Лунц так, шутливо, писал Н. Н. Берберовой: «Кончил гигантский киносценарий. Гениально! Но где продать? Сюжет всемирный! Чудеса техники». На этом сценарии чувствуется некоторое влияние «наставника» многих «серапионов» Евг. Замятина. Интересно также, что на тему восстания вещей писал и Велемир Хлебников.

В Советском Союзе партийная критика к творчеству Лунца относилась отрицательно. Так, «Литер. энцикл.» о произведениях Лунца пишет: — он «выступает в качестве воинствующего буржуазного индивидуалиста... «Слишком долго правила русской литературой общественность», заявляет Лунц, и от этой общественности спасается в

иллюзорный мир пустынника Серапиона. Последний должен, по мысли Лунца, уберечь писателя от ответа на сакраментальные вопросы: «с коммунистами или против коммунистов?» Об ответе Лунца не трудно догадаться по его неоднократным заявлениям о том, что «нам всё равно, с кем был Блок-поэт, автор «Двенадцати», Бунин-писатель, автор «Господина из Сан-Франциско». По мысли Лунца, одинаково заслуживают быть воспетыми «Штурм Кронштадта» и «Взятие Перекопа», «Ледяной поход Корнилова» и «Партизанская война в Сибири». Такое настойчивое стремление... во что бы то ни стало видеть искусство освобожденным от политической направленности, всемерное открещивание от идеологии, что в действительности принимало характер прямой враждебности к пролетарской идеологии, — всё указывало на буржуазное, реакционное мировоззрение писателя... Отсюда своеобразное высокомерие всех писаний Лунца, бравада писательской «независимостью», вызов власти, понимаемой Лунцом, судя по всему, как непреложная категория угнетения». (Том 6. М. 1932). РЕД.

ПРОЛОГ

Кабачок. Кучка полу-интеллигентных пьяниц вокруг седого, но не старого человека в рваном костюме. Подвижное, нервное лицо. В руках тяжелая палка. Он, показывая палку:

— Это палка Шедта... Честное слово!

Хохот: все издеваются над седым человеком.

— Не верите? Не верите?.. А хотите я расскажу вам... все?

Снова хохот. Пьяницы тесно обступают странного человека.

— Расскажи, Преббль... Расскажи.

Перемигиваются насмешливо. Преббль пьет.

Часть I

ПРОФЕССОР ШЕДТ

«Я родился в 1930 году в Островной Республике».

На экране карта Великого океана. Посреди океана — точка, остров. В остров воткнут флажок. План Островной Республики. Большой остров, весь изрезанный улицами, каналами. Садов нет. Гавань.

«Я не знал в детстве зелени, воздуха, жизни. Я видел только осколок неба и вещи!»

Узкий маленький двор, окруженный гигантскими домами. Солнце освещает верхние этажи, потом спускается ниже, но до земли не доходит. На бетонном полу во дворе стоит мальчик, открыв рот, глядит вверх на золото солнца. Эскадрилья аэропланов закрывает небо и солнце. Во дворе становится темно.

«Дым наших очагов». — Фабричные трубы. Клубы дыма.

«Наши поля». — Гигантские элеваторы в гавани. Выкачивают из трюма зерно.

«Наши леса». — Пароходы с лесом.

«Наша земля». — На экране стремительно проносятся бетонные мостовые. Бетон — бетон — бетон.

«Наши боги». — На экране золотые монеты: «Островная Демократическая Республика».

«Мой отец был простым механиком на заводе, но из меня готовил доктора». Преббль молодой, широкоплечий, сильный малый — за столом, зубрит. Отец его, старик, — работает на заводе.

«Мне было двадцать лет, когда умер отец».

Крематорий. Герою выдают урну с пеплом. На урне надпись:

«Я был тем, чем ты еси. Ты будешь тем, чем я есмь. Аминь».

Преббль с урной, завернутой в бумагу, понуро идет по улице. Вечереет. Бульвар. Преббль садится на скамейку, думает. Рядом с ним старичек, в очках с тростью. Вдруг приближается к Пребблю:

— О чем вы задумались, молодой человек?

Преббль вздрагивает, роняет урну. В ужасе нагибается — урна разбилась, но удачно. Только немного пепла высыпалось на бумагу. Преббль с отчаянием смотрит на старика.

— Я разбил... своего отца.

Старик улыбается, берет урну, всыпает выпавший пепел назад. Накладывает отколовшийся кусок. Губы старика быст-

ро шепчут — свистят, точно заклинанье. Старик подает урну Пребблю.

— Готово!

Урна цела. Только шрам на стекле остался. Преббль смотрит, ничего не понимая. Старик уходит. Забыл палку (та самая, что в прологе). Палка лежит на скамейке. Преббль кричит:

— Вы забыли палку!

Старик оборачивается. Снова губы его свистят и свистят. Палка сама соскакивает на землю и ползет к старику. Вскакивает и прыгает ему в руку. Лицо Преббля — столбняк. Старик весело и хитро улыбается.

— Заходите ко мне, молодой человек, разбивший своего отца. Я — Шедт. Уходит с поклоном.

Преббль в своей комнате. Берет с полки том Энциклопедического Словаря и, стоя, читает.

Столбец словаря: — «Шедт Карл, знаменитый физиолог, род. в...».

Преббль перебегает глазами на другой столбец: — «Его работы о языке животных произвели полный переворот в науке». Преббль вынимает из кармана письмо, раскрывает.

4 июня 1950 года

Эндрю Пребблю, бездельнику.

Милостивый государь!

Что ж вы не заходите? Ко мне можно запросто (но в брюках!) Уважьте старика, право.

Готовый к услугам Проф. Шедт.

Преббль читает, пожимая плечами. Снова смотрит в словарь.

«К сожалению Шедт за последние годы забросил науку и ведет в высшей степени эксцентрический образ жизни».

Преббль выходит на улицу. Улица. Преббль подходит к полицейскому, спрашивает, где живет Шедт. Полицейский широко, идиотски, скалит зубы: объясняет где. Другая улица.

Прохожий, смеясь, показывает Пребблю на толпу в конце улицы. Улица. Ряд гигантских домов. Посредине маленькие одноэтажные деревянные здания дикой формы. Рядом деревянный забор с воротами. За забором сад. С крыши лестница ведет на своего рода балкон-площадку, повисшую над панелью. Окно одно — большое и круглое. На фронтоне надпись: «Ковчег». На улице перед домом толпа. Стоит большое авто типа «Рундфарт». Руководитель, стоя в авто, объясняет приезжим.

— Забавнейшая достопримечательность города. Чудо эксцентрики. Безобидная прихоть ученого гения.

Преббль в толпе слушает. Шедт высовывается из окна. Посылает толпе воздушные поцелуи. Хохот. Шедт замечает Преббля, зовет его. Тот нерешительно подходит. К окну ведут ступеньки (окно в то же время и дверь). Преббль входит.

Шедт показывает ахающему Пребблю комнаты. Голые стены, бревенчатые, без обоев. На полу — шкуры вместо постелей. Ни столов, ни стульев. Вместо дверей — простые проходы в стенах.

Выходят в сад. Разные деревья, нет двух одинаковых. Маленькое поле. Огород. Стойла. Хлев — домашние животные. Гараж — автомобиль, аэроплан.

— Ноев Ковчег!

Это говорит Шедт! Снова идут в дом. Маленькая рабочая комната. Грубые: стол, шкаф. В стене несгораемый ящик. В углу стоит высокий, тощий слуга, с острым длинным лицом, совершенно лысый. Стоит неподвижно.

Шедт показывает Пребблю комнату.

Преббль вдруг оборачивается, замечает слугу. Вздрагивает.

— Это Иов. Мой старый, старый слуга и приятель.

Иов степенно кланяется. Преббль неприязненно смотрит на него.

Шедт открывает несгораемый ящик: там кипа исписанной бумаги.

— Моя последняя работа.

Шедт зло хохочет.

— Если б только я ее напечатал!..

Лицо Иова: глаза широко и жадно раскрываются, рот подергивается. Преббль подозрительно смотрит на него. Шедт, указывая на дверь, единственную в доме.

— Здесь живет Катриона.

Преббль изумленно: кто такой Катриона? Шедт лукаво смеется и увлекает его в соседнюю комнату, оставив ключи от ящика.

Соседняя комната. Преббль шепчет Шедту.

— Не нравится мне ваш лакей.

Шедт:

— Иов? Да он уж мне тридцать лет служит!

В кабинете. Иов прислушивается. Тихонько подкрадывается к ящику.

Шедт показывает Преббю комнату. На полу шкура. Два стула, стол, комод. Шедт говорит:

— А это я для вас приготовил.

Преббль поражен:

— Но профессор, я не собирался переезжать... Ведь мы с вами почти, почти не знакомы.

Шедт машет руками: и слышать ничего не хочу! Щупает мускулы Преббля, настаивает. Преббль смеется, потом начинает сердиться.

— Да как тут можно жить?

Хватается за спинку стула.

— Это же чорт знает что, а не мебель!

Преббль в сердцах бросает стул об пол. Шедт багровый от гнева, бросается на студента.

— Не смейте бить! Не смейте бить!

Шедт свистит.

Стул кидается на Преббля. Сзади другой стул, стол, ползет комод. Преббль отчаянно отбивается.

Иов похищает из ящика бумаги. Убегает.

Пол под ногами Преббля колеблется. Он падает. Мебель падает на него. Шедт хохочет. Снова кричит-свистит: мебель разбегается. Преббль встает, шатаясь. Шедт шутя зовет:

— Иов! Стакан воды!

Зовет снова и снова. Обеспокоенный идет искать.

Кабинет. Видит: пустой ящик.

Падает на стул.

— Иов... Тридцать лет вместе...

Роскошный, светлый кабинет. В кресле стройный пожилой генерал просматривает бумаги. За его креслом сидит на жерди ручной орел. Перед столом Иов. Генерал резко кивает головой и подает Иову пачку ассигнаций.

— Это весит больше, чем 30 лет дружбы.

Иов взвешивает деньги на руке.

Профессор Шедт рыдает. Преббль пытается утешить его. Шедт машет руками: уходите!

— Уйдите!.. Я никому больше не верю... Никому!

Преббль идет. В дверях-окне оборачивается. Ослепительно красивая девушка, стройная, в хитоне, входит в комнату. Движется, точно заведенная. Ее прекрасное лицо холодно и неподвижно. Преббль смотрит. Шедт, увидев дочь, старается придать лицу веселое выражение.

— Что это, отец?

По щеке старика катится слеза.

— Это называется — слезы, Катриона.

Девушка смотрит неподвижно. Говорит, чеканя слога:

— Не понимаю.

Часть II

БУРЕВЕСТНИК

«Запрос в палате депутатов о новых секретных вооруженьях».

Зал палаты. На трибуне юркий маленький человек говорит речь, горячо жестикулируя. На экране медленно проходят фабричные корпуса, освещенные всеми огнями (ночь). У ворот и в коридорах усиленные патрули.

«Нарушение конвенции... Новые броневики... Особая броня»

Гараж. Стоят броневики, 8 штук.

Оратор кончил свою речь. Скамьи депутатов. Левая аплодирует, правая шикает.

«Военный министр, генерал Мак-Нэр».

В ложе генерал в парадной форме (тот самый, что принимал бумаги от Иова).

Мэк-Нэр на трибуне. Говорит.

— Это военная тайна... Давать разъяснения отказываюсь.

Скамьи депутатов. Правая аплодирует, левая шикает.

«Я прочел отчет об интерпелляции, возвращаясь из университета».

Преббль с газетой в руках идет по улице, читая и толкая прохожих.

«И вот на 4-ой Восточной Улице».

Узкая улица, очень оживленная. Посреди улицы стоит толпа. Преббль натыкается на нее, расспрашивает. Рабочий, ухмыляясь, отвечает:

— Так что... Новобрачные... Не доехали.

Небольшое открытое авто стоит. Шофер возится с машиной, разводит безнадежно руками — ничего не понять! В авто жених во фраке и невеста в подвенечном наряде. Кругом смеющаяся толпа. Молодые смущены. Какой-то малый кричит из толпы:

— Подымите верх... Мы отвернемся.

Хохот толпы. Шофер свирепеет. В бешенстве ударяет в радиатор ногой. И еще, и еще.

— И у машины терпенье может истощиться.

Авто вдруг трогается и подминает под себя шофера. Остановка. Потом снова вперед — в толпу, давит. Паника. Толпа перед авто рассыпается, толпа сзади бежит, гогоча, за машиной. В толпе Преббль. Авто круто поворачивается и несется на людей, бежавших сзади. В авто новобрачные в ужасе прижались друг к другу. Улица пустеет. Закрываются парадные. Не

успевшие убежать — мечутся. Авто ловко и уверенно давит. Авто гонится за Пребблем.

«И тогда я благословил свои гимназические досуги».

Гимназический зал. Преббль — гимназист делает упражнения. Между прочим влезает по столбу наверх.

Улица. Преббль стремглав влезает на тонкий фонарный столб. Авто бросается в другую сторону.

«С моей вышки я ясно видел всё».

Новобрачный хочет выскочить из авто. Жена не пускает его. Он грубо вырывается. Хочет открыть дверцу — не поддается. Перепрыгивает через нее и на мостовую! Бежит. Авто за ним. Новобрачный в подъезд — заперто. Хватается за подоконник 1-го этажа, хочет взобраться. Но в эту минуту авто придавливает его ноги к стене. Несчастный висит, болтая раздробленными ногами и крича. Падает на землю. Авто «добивает» его.

«А между тем в городе».

4-ая Восточная Улица оцеплена.

По улице едет артиллерийская бригада.

«Взбесившийся автомобиль без дела».

Авто кружится по улице, добивая раненых.

«И вдруг он «заметил» меня!..»

Преббль на фонаре. Авто бросается на фонарь, ударяет его, фонарь шатается. Наряд полицейских не пропускает старика. Тот прорывается, бежит. Это Шедт. Фонарь кренится на бок. Преббль спрыгивает в авто.

Преббль в авто рядом с бесчувственной молодою.

«Из огня, да в полымя».

С обеих сторон улицы — на авто глядят жерла орудий. Преббль ерзает от страха. Выскакивает из авто. Шедт на панели следит за артиллерией.

«Орудия тоже сошли с ума: не хотят стрелять в «своего»...

Канониры бьются над орудиями — не стреляют! Преббль, сломя голову, бежит. За ним авто.

— Не так стремительно, молодой человек...

Преббль налетает на Шедта. Авто спешит на них. Шедт

спокойно идет навстречу авто, свистит. Авто останавливается, потом пятится назад. Шедт ласково гладит по его радиатору.

— Не бойся, милый, только не бойся!

На улицу въезжают гигантские грузовики.

«Раздавить!»

Грузовики движутся на авто. Вдруг останавливаются. Шоферы кричат и беспокоются. Один грузовик медленно поворачивает назад — шофер тщетно налегает на руль.

— Он сам поворачивает... сам! Это кричит шофер.

Шедт ликует. Кричит вслед грузовикам.

— Молодцы! Не хотят своего!

Грузовики уезжают.

«В городе паника».

Экстренное заседание городской думы.

Улица, вечереет. Авто.

«Победителю!»

Молодая девушка бросает из окна венок роз. Он падает перед автомобилем. На венке лента: «Победителю».

«Этого он не понимает».

Авто, не спеша, переезжает через венок. Шедт в подъезде любовно следит за авто. Вдруг хватает Преббля за руку:

— Мак-Нэр! Всё погибло!

На улицу с двух сторон въезжают новые броневики, по 4 в ряд. В открытой бойнице голова Мак-Нэра. Авто мечется, стараясь прорваться. Из бокового броневика лысая голова Иова:

— Стой!.. Женщина!

Шедт узнает Иова:

— Иов! Вор!

Рвется к Иову, Преббль не пускает его. Молодая в авто. Бессмысленно озирается.

— Уходите! К чорту!

Кричат ей со всех сторон. Она не понимает. Вдруг всё вспомнила, затряслась. Не может открыть дверцу. Тогда она падает и головой вниз соскальзывает на землю. Авто задним ходом давит ее.

В это мгновенье броневик Мак-Нэра настигает его, ударяет. Авто взлетает на воздух и падает под другой броневик.

«Смерть машины».

На земле лежит раздавленное авто. Над ним склонился Шедт.

— Бедный, милый! Тебе больно? очень?

Шедт плачет.

Часть III

ГРОЗА БЛИЗИТСЯ

«В эту ночь у профессора Шедта был обыск».

Шедт в кабинете за работой. К его дому подъезжает авто, выходят полицейские. Сзади высокий человек, закутанный. Стучат в окно. Шедт открывает. Начальник отряда предъявляет ордер на обыск. Шедт пожимает плечами: пожалуйста. Осмотр дома. Сзади всех, хоронясь от Шедта, идет высокий человек. Обыск. Возвращаются в кабинет. Шедт:

— Всё!

Высокий подходит к начальнику, шепчет ему на ухо. Шедт всматривается в него, подбегает ближе.

— Иов! подлец!

Иов сурово опускает глаза. Начальник подходит к двери. Шедт преграждает ему дорогу, умоляет не входить:

— Там Катриона... дочь.

Начальник изумлен:

— Что ж из того?

Хочет пройти. Шедт:

— Она никогда не видела людей... Кроме меня и этого, показывает на Иова.

Начальник в нерешительности. Всё-таки проходит. Комната. Катриона, бесстрастная. Начальник извиняется:

— Не бойтесь, пожалуйста... Мы...

Катриона спокойно:

— Что такое: «не бойтесь»?

Начальник смущенный:

— Не беспокойтесь, пожалуйства...

Катриона так же:

— Что такое: «не беспокойтесь?»

Отряд в замешательстве. Кабинет. Шедт хихикает.

— Ну что? Ничего не нашли предосудительного?

Начальник отвечает:

— Кроме хозяина.

Подает ему приказ об его аресте. Шедт негодует.

Назавтра Академия Наук вынесла протест против ареста профессора Шедта. Заседание пленума Академии.

«И в то же время генерал Мак-Нэр делал доклад на заседании Совета Министров».

Заседание. Мак-Нэр говорит. Общее недоумение. Никто ничего не понимает. Переглядываются.

Камера в тюрьме. Шедт. Подходит к двери. Свистит. Замок открывается без ключа. Шедт высовывает голову в коридор. Ужас часового. Шедт — назад: дверь заперта!

Заседание. Мак-Нэр кончил говорить. Сидящий напротив его перегибается через стол, берет его за руку, щупает пульс:

— Дорогой друг! Вы нездоровы — вам нужен покой.

Мак-Нэр в бешенстве.

«В кулуарах».

Кучка «государственных» людей. Один из министров объясняет.

— Он сошел с ума... Говорит, что вещи хотят восстать против человека, вещи!!..

Хохот.

«Целый месяц город только и говорит, что о сумасшествии Мак-Нэра».

Кулуары палаты. Идет мрачный Мак. Все испуганно сторонятся.

«...об отправке Мак-Нэра».

Мак-Нэр подает прошение об отставке. Обмен соболезнующих любезностей.

«...о том, что Мак-Нэр получил трехчасовую аудиенцию у архиепископа Лоу».

Лоу, толстый старик, слушает Мак-Нэра.

«...о покупке ими за городом целого квартала на слом».

Слом домов.

«...о манифестации, устроенной профессору Шедту».

Вход в тюрьму. Толпа приветствует освобожденного Шедта.

«...Я слышал обо всем этом одним ухом. Я был занят делами поважнее».

Университет. Аудитория. Преббль слушает. Неподалеку от него маленькая хорошенькая курсистка прилежно записывает лекцию в толстую тетрадь. Глаза молодых людей всё время встречаются и, смущенные, прячутся — в тетради. Так несколько раз.

Выход из Университета. Преббль и курсистка сталкиваются «как бы случайно». Делают вид, что не замечают друг друга. Она сворачивает направо, он за ней. Она осторожно оборачивается — оба сразу отворачиваются. Она идет назад с грозным видом, не глядя на Преббля. Он — плачущим голосом:

— А мне тоже в ту сторону...

Она свирепо смотрит на него, потом вдруг — смеется. Он хватает ее под руку.

«Дела поважнее».

На скамейке разговаривают.

«И посерьезнее».

Целуются.

«Так проходят дни».

Утро. Преббль, сквозь сон, потягивается. Над ним слуга с газетами. Преббль улыбается, вытягивает губы для поцелуя. Открывает глаза, видит слугу. В бешенстве вскакивает: что вам надо? Тот подает ему газеты. Преббль швыряет их на пол.

Преббль уходит. Слуга поднимает газету, раскрывает. Надевает очки, читает: голова набок. Подзаголовок в газете: — «Количество несчастных случаев на заводах с каждым днем увеличивается катастрофически. Причины неизвестны».

Фабрика. Бежит толпа. Несут раненого рабочего. Машина.

Инженер объясняет дирекции, что всё в порядке. Преббль бежит по улице. Входит в Университет.

Слуга читает дальше. Подзаголовок в газете: — «Комиссия по обследованию причин обвала строившегося Великого Банка выяснила полную невиновность инженеров. Причины обвала непонятны».

Гигантские развалины дома. Авто «Рундфарт». Руководитель объясняет: — Свыше 400 жертв! — Бесконечная процессия гробов.

На лекции. Анна и Преббль переглядываются. Преббль с независимым видом выходит, оглядываясь на Анну. Через минуту она вскакивает, точно забыла что-то. К выходу! Профессор подымает голову, строго смотрит на Анну. Она смущенно садится на место.

Преббль в коридоре нервничает, ждет.

Слуга читает. Подзаголовок.

«За последнее время замечено, что крысы покидают наш Остров».

Трюм корабля. Матросы освещают трюм. Снуют крысы. Матросы ругаются.

Слуга крестится. Читает дальше. Подзаголовок: — «Исключительный подъем религиозности среди простонародия».

Вход в церковь. Толпа народу.

Аудитория. Анна снова пробирается к выходу. Преббль в коридоре радостно встречает ее.

Слуга переворачивает страницу.

«Последние известия».

«Вчера во время вечерней службы в кафедральном соборе...»

Собор. Служба. Обрушивается люстра. Паника.

Слуга читает в ужасе: — «Число жертв не выяснено. Объективных причин для обвала не было».

В соборе. Санитары. Пожарные. Полиция.

«Объективных причин тоже нет».

Анна и Преббль целуются.

«Я гулял с Анной целыми днями».

Гуляют за городом. Фабрики. Громадное огромное пространство. Внутри строятся здания. Преббль спрашивает прохожего: что это?

— А это помешанный... как его? Мак-Нэр строит!

Проходит, смеется. Преббль смотрит, нахмурившись.

«В этот вечер Анна велела мне заниматься».

Комната Преббля. Анна грозит Пребблю пальцем. Тыкает его голову в книгу. Уходит.

Преббль зубрит. Берет с полки другую книгу. Книга в пыли. Пальцы Преббля в пыли. Зубрит, зевая, «Уголовное Право». Дверь раскрывается, входят четверо в полумасках. Преббль оборачивается, вскакивает.

— Генерал Мак-Нэр просит вас к себе.

Преббль недоумевает: его? Мак-Нэр? в такой час? Он не поедет!

— Вам знакомо это?

Старший в маске — показывает револьвер.

— А это вам знакомо?

Преббль показывает ему — «Уголовное Право».

Маски смеются: нам это не страшно. Преббль тоже начинает смеяться.

— А чорт с вами!.. Едем!

Садятся в авто. Пребблю завязывают глаза.

Комната странной архитектуры, вроде Шедтовской. За столом несколько человек в масках. Посредине Мак-Нэр без маски. За его стулом Иов. Сзади на жерди орел. Мак Нэр время от времени гладит его рукой.

Вводят Преббля, снимают повязку с его глаз. У дверей стража. Мак приглашает Преббля сесть.

— Вы знакомы с профессором Шедтом?

Допрос. Иов всё время шепчет на ухо Маку. Преббль на все вопросы отвечает отрицательно:

— Да я не знаю ни про какое восстание!

Судьи настаивают. Преббль нервничает.

— В таком случае мы вас арестуем.

Преббль вскакивает в негодованьи.

— Да кто вы такие? Как вы смеете? Я не позволю!

Хватает стул и — в сердцах — разбивает его об пол. Мак и судьи разом встают и смотрят на стул.

— Простите, вы кажется сломали стул?

Спрашивает Мак-Нэр. Преббль свирепеет еще больше. Хватает другой стул и бросает его в Иова, сбивает его с ног.

— Не только стул сломал, но и голову этого мерзавца.

Ломает в исступленьи стулья. Судьи совещаются.

Мак-Нэр подходит к Пребблю.

— Простите. Мы вас задержали по недоразумению. Вы сломали четыре стула — разумеется, вы свободны.

Преббль, открыв рот, застыл — в изумлении.

Часть IV

ВОССТАНИЕ

«У господина мэра». Мэрия. Преббль и Анна венчаются. Всё время перешептываются, забывая отвечать на вопросы чиновника. Тот сердится: — Молодые люди! После успеете! — Молодые смеются.

Возвращение к Пребблю. «Первое брачное утро». Слуга подходит к двери, прислушивается, лукаво улыбаясь. Возвращается. Читает газету: — «Конец света»: — «В 1944 году знаменитый ясновидец и спирит Сочини предсказал, что 28 августа 1970 года наступит конец света...» Слуга смотрит косо на календарь: 28/IX 1970. Читает дальше: — «Спешим поздравить уважаемых читателей с наступающим светопредставлением и советуем не забывать, что 1 сентября истекает срок подписки на нашу газету».

Вбегает Шедт. Слуга не пускает, он всё же врывается в спальню. В спальной. Две постели рядом. Преббль с женой спят. Шедт критически разглядывает Анну. Она просыпается. Испугалась, будит мужа. Шедт спрашивает быстро и грубо:

— Женились?.. Это и есть?

Преббль, смущенный, кивает.

— Никуда не годится!.. Ошибка...

Анна в слезы. Преббль смеясь:

— Зато приятная ошибка.

Обнимает Анну. Шедт презрительно кривит губы. Выпаливает.

— Пришел пригласить... День рождения... Мой... Сегодня.

Преббль любезно поздравляет.

— Ко мне... В половине двенадцатого... Но без жены! Слышите: без жены!

Стремительно убегает. Анна плачет. Преббль, смеясь, утешает ее.

Преббль, полуодетый, завязывает галстух. Анна умоляет его не ходить к Шедту. Он протестует.

— Нет, Анна... Надо уважить старичка.

Сцена прощания. Преббль с Анной. Преббль уходит.

«Было чудное августовское утро».

Улица, залитая солнцем. Низко над городом густой стеной летят птицы. Люди находу смотрят, задрав головы.

— Что это птицы летят? Не к добру..., — это старушка причитает. — Ишь, тоже боятся, что вещи взбунтуются... Ха-ха! — это рабочие острят, глядя на птиц.

Преббль смеется.

«Мне было в этот день весело и легко».

Преббль, подпрыгивая по тротуару, входит в цветочный магазин. Никого нет. Вдруг видит: над цветами две головы целуются. Преббль просовывает свою. Обе головы сразу ныряют — за цветы. Из-за цветов выходит продавщица, смущенно оправляет платье. Преббль весело:

— Букет роз! — Платит и уходит.

Птицы летят всё гуще. Дом Шедта. Шедт в окне. Ждет, нервничает. Преббль подходит неспеша к дому. Шедт орет ему: «скорей!»

Шедт втягивает Преббля в дом, показывает в гневе на часы: 45 мин. 12-го. Преббль с изумлением смотрит на Шедта: тот совсем голый, только тигровая шкура и грубые сандалии. На полу лежит такая же шкура и сандалии.

— Скидывайте!.. всё... и рубашку. Вот ваша одежда!

Преббль сперва протестует, потом, смеясь, соглашается. Оглядывается куда положить букет. Шедт накидывается:

— Это что?

Преббль галантно преподносит букет.

— С днем...

Шедт бросает букет на пол. Тыкает в Преббля шкурой.

Преббль, одетый по-шведски. Хорошо, очень сильно сложен. Шедт любуется.

— Идемте... скоро время!

Шедт хватает в охапку розы и старое платье Преббля, тащит Преббля за собой на вышку.

— Какое время?

Преббль упирается, Шедт зло:

— Увидите!

Шедт и Преббль садятся на вышке, свесив ноги. Внизу толпа глазеет на них. Преббль смущен. Шедт посылает воздушные поцелуи. Бросает вниз розы. Потом носки Преббля, кальсоны и т. д. Преббль сердится и хохочет одновременно. Женщина и мальчик поймали по сапогу и торгуются. Двое дерутся из-за брюк, разрывают брюки пополам и падают. Драка.

Шедт вдруг делается серьезным, встает, прислушивается. Часы на ратуше: 12.

— Сейчас! Начинается!

Преббль изумленно: что начинается? Шедт в ответ показывает налево. Слева из-за угла вылетает горящий трамвай. Паника. Бьют стекла, выпрыгивают на ходу. Преббль в ужасе.

Справа такой же трамвай. Проносятся мимо новые трамваи. Авто давят людей, лошадей, собак. Мостовые трескаются, прищемляя людей. Люди, наступающие на рельсы, — взлетают. Так! В домах раскрываются окна, крики людей о помощи. Мебель в квартирах нападает на людей. Обвал лестниц и лифтов — путь отрезан. Платье давит людей. Воротнички душат, сапоги жмут и т. д. Люди в корчах падают, стараясь сорвать с себя платье.

(Все эти картины восстания вещей могут быть значитель-

но расширены, сообразно с фантазией режиссера). Картины эти прерываются время от времени разговорами Преббля и Шедта на вышке.

Шедт говорит: — Все погибнут до одного. Это вещи восстали против человека. Я поднял вещи, я знаю их язык! Он прост, как вещь. Без гласных и слогов — свист и щелк!

Показывает, свистит.

— Зачем я поднял вещи? Потому что люди ничтожны и беззаконны. А вещи просты и одинаковы... Закон и порядок будут царить отныне... Царство мертвой вещи! Все погибнут — кроме нас! Здесь ковчег. Здесь каждая вещь верна мне, знает меня... И я спас вас, дуралей вы, болван.

Часть V

МЕРТВЫЕ ПОБЕДИЛИ

Преббль слушает последнюю тираду Шедта неподвижно. Наконец:

— Анна!?

Шедт пожимает плечами. Преббль бросается к лесенке, ведущей с балкона.

— Тогда я погибну с ней!

Шедт свистит: ступеньки лестницы начинают прыгать, перила обнимают его и выбрасывают назад на балкон. Шедт смеется. Вдруг в ужасе: — Преббль спрыгивает на тротуар чистым гимнастическим прыжком.

В ту же секунду фонарь нагибается, чтобы подцепить его — он еле успевает отскочить. Налетает автомобиль, но промахивается и разбивается о стену.

Шедт с балкона бросает Пребблю нечто вроде стистка.

— Свистите в это!.. Значит «свой»... Не тронут!

Преббль быстро перекидывает шнур со свистком через шею и — бежать!

(Бег Преббля по улицам).

Он перескакивает через рельсы — спускается трамвайная

проволока. Преббль успевает увернуться, но бегущего рядом мужчину проволока подымает на воздух, разрезает пополам.

Мотоциклет летит на Преббля. Тот отскакивает, толкает машину, она падает. Преббль оборачивается — грузовик: бросается под него между колес. Грузовик проезжает, Преббль невредимый выскакивает. Пробегает мимо цветочного магазина, где покупал цветы. Продавщица и ее кавалер лежат мертвые. Головы их на корзине цветов — целуются.

— Смерть всему живому.

Мебель крошит цветы в магазине. Кинематографический аппарат на авто снимает **сам** происходящее. Преббль пробегает.

Преббль у своего дома. Стеклянная входная дверь закрыта. Перед Преббле́м к двери подбегает старик. Дверь открывается — и затем стремглав защемляет старика.

Преббль разбивает стекло в двери и влезает. Дверь хлопает, но ничего сделать не может. Лестница обрушилась. Обломки до второго этажа. Движутся на Преббля. Ему некуда бежать.

«И вдруг я вспомнил».

Свистит в свисток. Обломки на место. Преббль, свистя, взбирается во второй этаж. Звонит. Дверь открывается сама. Преббль вбегает в спальню со свистком в руках. На полу груда мебели. Преббль свистит — мебель разбегается. На полу Анна без чувств. Преббль машинально сует свисток в карман. В шкуре нет кармана. Рука Преббля отпускает свисток. Свисток на полу. Преббль не замечает. Подымает Анну и бежит к выходу.

«Путь закрыт».

Прихожая. Платяной шкаф закрыл входную дверь. Преббль хватается за свисток — его нет, сзади наступает вешалка. Преббль с Анной на руках приперт к окну. Садится на подоконник, перекидывает ноги наружу. Целует Анну. Окно с силой захлопывается, и Преббль с Анной летят вниз на мостовую.

В закрытом автомобиле. Полу-темно.

Шедт и Преббль. Преббль без чувств.

«Толчок — и я пришел в себя».

Толчок. Преббль вскакивает, падает назад на сиденье, оглядывается. Темно. Не понимает — вдруг вспомнил. Хватает Шедта за горло.

— Анна! Анна! Анна!

Душит профессора, но пол уходит у него из-под ног, и он падает. Рыдая, опускается на сиденье, покорный.

«И он мне рассказал, улыбаясь, как он спас меня».

Шедт сбегает с балкона (в своем доме). Гараж. Шедт свистит. Гаражные ворота раскрываются сами и выезжает автомобиль. Шедт ласково гладит его по радиатору.

— Дружок... Дружок...

Садится. Ворота распахиваются. Авто мчится по улицам. Подъезжает к дому Преббля, Шедт бежит к подъезду. Подымает голову — видит Преббля с Анной на окне 2-го этажа. Шедт свистит. Преббль летит вниз — Анна на руках.

Фонарь подцепляет его за шкуру. Он повисает. Выпускает Анну из рук. Она падает на мостовую, головой вниз. Верх автомобиля открывается. Фонарь опускает Преббля в авто. Шедт на мгновенье останавливается над разбитой Анной, потом садится в авто.

Верх авто закрывается.

Шедт кончил рассказывать. Преббль в отчаяньи.

— Вы не имели права!

Шедт смеется. Опускает верх мешины и показывает вокруг.

«Ищите ваши права!»

Широкая улица устлана трупами людей, лошадей, собак. Мостовая кое-где треснула. Во все стороны движутся толпою самые разнообразные вещи — от грузовиков до зубных щеток.

Шедт высовывается из автомобиля. Вещи бросаются на него.

«Свои!»

Особая сирена на авто гудит. Вещи оставляют авто Шедта. Преббль глядит на всё это.

— Зачем вы спасли меня... именно меня?

Шедт щупает в ответ сильные бицепсы Преббля, бьет его в крепкую грудь и усмехается загадочно:

— Зачем? На всякий случай!

Вдруг становится строг и задумчив.

— Узна́ете... Потом...

Преббль глядит невольно по сторонам.

— Последний пес.

Из-за угла вылетает чудесная гончая, мчится во всю прыть, ускользая от погони. Мостовая защемляет ей задние лапы. Собака поднимается на задние лапы. Отчаянно воет. Сзади налетает грузовик и давит ее. Преббль при виде этого исступленно плачет. Вдруг прислушивается.

— Что это? Пальба?

Шедт сумрачно отвечает:

— Штрайкбрехеры.

Дом, построенный Мак-Нэром. Войска. Орудия в окнах. Во дворе и перед домом броневики.

Шедт и Преббль в автомобиле.

— Иов продал ему мою тайну... Его вещи верны ему...

Шедт дрожит от злости.

— Но он поздно узнал... Их мало... Мы раздавили их!

Кабинет Мак-Нэра. Снуют адъютанты. На столе пробковая бутылка. Генерал кладет в нее бумаги, запечатывает. Сзади на жерди по-прежнему сидит орел.

Авто Шедта сворачивает на другую улицу. Со всех сторон в том же направлении движутся разные вещи стаями и по одиночке.

«Осажденные».

Дом Мак-Нэра. У орудий канониры. Пальба.

«Осаждающие».

Батареи, стреляющие в дом Мак-Нэра без канониров. Сами подъезжают зарядные ящики, сами подкатываются ядра. Прицел. Пулеметы, сами стреляющие.

«Зеваки».

Вокруг места сраженья давка «глазеющих» вещей. Пожарные турбины, фотографические аппараты, карандаши, велоси-

педы и т. д. без конца. Время от времени в эту гущу попадают снаряды, производя разрушения.

Паники никакой.

Авто Шедта медленно пробирается вперед.

«Конец близок».

В крепости. Разрушения. Трупы. Перед домом разбитые броневики. Мак-Нэр, раненый, подходит с трудом к столу. Орел ластится к нему. Он берет бутылку и подает ее орлу. Сует ему в когти. Орел смотрит на него умными глазами.

— Понял?.. понял?..

Мак-Нэр поднимается на вышку. Открыв окно, выпускает орла.

Батарея атакующих стреляет в вышку. Попадание. Вышка — к чорту.

«Приступ».

Крепость молчит. Осаждают. Всё ближе и ближе.

«Геройская смерть».

Дом падает, погребая под собой первые ряды осаждающих.

Шедт и Преббль в авто. Шедт торжествующе.

— Конец всему живому!

Преббль указывает наверх.

В небе орел, в когтях бутылка. Вещи, «задрав голову» смотрят наверх. Стрельба по орлу — безнадежно. Аэропланы вдогонку — не догнать.

Море. Орел, усталый, изнемогающий, спускается к волнам и бросает бутылку. Пробковая бутылка колышется на воде.

Часть VI

ПОРЯДОК И ЗАКОН

«Не знаю, сколько времени пролежал я в забытьи: может быть день, может быть неделю».

Преббль лежит на полу на шкуре, больной. Открывает глаза, бессмысленно озирается. Видит над ним — Катриона, хо-

лодная, спокойная, смотрит на него каменно. В руках чашка и кувшин. Он глядит на нее, не понимая, — восторженно. Она склоняется над ним и поит его. Он восхищенно:

— Кто вы?

Она — чеканно:

— Катриона.

Сзади стоит Шедт.

— Моя дочь!

Преббль быстро оборачивается, видит Шедта.

Катриона плавно удаляется. Шедт указывает на нее.

— Видел? Я воспитал ее... Она живет спокойно. Без радостей и страданий... По закону!

Торжествующе:

— Закон!.. Порядок и закон!..

Преббль хватается за голову: он вдруг всё вспомнил.

— Где?.. где люди?

Шедт ведет его больного на балкон. Он еще слаб, шатается. С балкона вид: — улица такая же, как прежде, до восстания. Идут пустые трамваи. Движение по улицам авто и экипажей (без лошадей — дышло повисло в воздухе). «Держат сторону». Абсолютный порядок. Магазины открыты. Метла сама подметает тротуар перед домом. Преббль глядит. Шедт улыбается:

— Сами... Все сами... Железный порядок...

Показывает Преббль на часы: час без 10 секунд. Ровно час: — все магазины в одну и ту же секунду закрываются и выскакивают плакаты: — «Закрыто на обед от 1 до 2».

Шедт — все смеется.

— Помните?.. Всё было разрушено?.. Сами исправили.

(Улица города, как в конце предыдущей части. Подъезжает автомобиль, подбирают трупы. Их свозят в крематорий. Исправление мостовой, трамвайных линий и т. д.)

Преббль отталкивает Шедта. Бежит в комнату.

— Не надо мне порядка! Я хочу жизни!

Преббль в гневе.

— Зачем вы спасли меня?

Подымает голову и видит Катриону. Глаза их встречаются.

— На всякий случай! — это Шедт отвечает иронически.

«Уже через несколько дней, едва я оправился от горячки, Шедт повез меня по городу, показывая и хвастая».

(В дальнейшем сценарий развивается так: — Шедт и Преббль ездят на своем авто «Дружок». Можно показать самые разнообразные сцены уличной, магазинной, фабричной, домашней жизни. Всюду всё протекает нормально — только нет человека. Необходимо показать город ночью, освещенный всеми огнями. При чем: фонари зажигаются и тухнут в определенные секунды. Привоз товаров с фабрик в магазины и раскладывание по полкам. Перекрестки улиц и площади. Шахты работают. Поезда ходят (семафоры и прочее!). Зоологический сад вымер, но зоологический музей остался. Деревья и трава всюду завяли, зачахли).

Последний эпизод этой части:

Преббль видит, что грузовик подвозит к книжному киоску газеты и раскладывает их. Преббль берет одну газету, раскрывает.

«Всё на месте, кроме смысла».

Название газеты, часы приема в редакции, плата и т. п., всё, что печатается из номера в номер — правильно. Но остальное — чепуха. Все колонны, заглавия, шрифты, «подвалы», разбивка статей (передовая, хроника, биржа и т. п.) — на месте, но смысла никакого: набор букв.

«После точки — большие буквы. Единственный закон в печати. И он остался. Остальное беззаконно и ненужно».

Шедт хохочет. Показывая Преббю книгу.

— Новая книга.

То же, что с газетой. Переплетена, прекрасно отпечатана, главы и т. п. Но бессмыслица. Стихи. Одинаковой длины строчки. Рифмы на конце строк!

Типография. Набор без человека и... без смысла.

— Это тоже не поддается точным законам.

Полотно. Кисти сами кладут на полотно краски — мазня!

Филармония. Освещенный подъезд. Подъезжают пустые кареты. Беспрерывно сами хлопают двери. Подъезжают Преббль и Шедт. Вестибюль. Билетная касса. Шедт получает за деньги билеты.

Зал. Всё освещено и пусто. Собираются в оркестре инструменты. Концерт. Преббль закрывает уши и выбегает.

Проезжают мимо радио-телеграфа. Шедт говорит таинственно Пребблю.

— Хотите поговорить... с людьми?

Изумленье на лице Преббля: какие люди? Шедт отвечает.

— Да ведь это только у нас порядок. А там всё по-прежнему.

На экране виды Парижа, кишащие людьми.

— И они никак не поймут что это у нас происходит.

Радио-станция. Телеграфисты. «Ответ из Островной Республики». Телеграфные знаки. Перевод: набор букв, никакого смысла. Полное недоумение на европейском телеграфе.

Английская эскадра подходит к Острову. Навстречу Островные корабли. Восстание пришедших судов против команд. «Ни один человек до сих пор не вернулся оттуда». С кораблей сбрасывают в море трупы.

Комната адмиралтейства. Паника. Шедт рассказывает. Вызывает по телеграфу.

На Эйфелевой станции. Волнение: «Вызов из Островной Республики». Толпятся вокруг аппарата. Шедт у телеграфа.

На Эйфелевой станции. Разбирают телеграфисты шифр. Получаются слова какой-то популярной энергичной песни. Изумление и бешенство французов на телеграфе. Шедт хохочет. Преббль улыбается задумчиво.

«А там всё-таки жизнь прежняя».

Картины городской сутолоки и городской идилии.

«Но беззаконные и беспорядочные».

Парень и девушка целуются. Младенец орет, мать старается его утешить. Мальчишки дерутся.

Шедт и Преббль выходят из телеграфа.

Пробковая бутылка плывет по морю.

Шедт и Преббль идут по тротуару.

— Они уже не бросаются на нас. Только бы мы не нарушили их закона, порядка, — это Шедт говорит, указывая на вещи.

— Закон и порядок! Ничего больше.

Машина на фабрике работает с абсолютной точностью.

Катриона, спокойная как вещь, механически как машина, идет по дому.

Часть VII

ЧЕРВЬ И КРЫСА

«Мой день в ковчеге».

Преббль встает. Идет в хлев. Возится с животными. Катриона, бесстрастная, вместе с ним.

Потом на огороде. В птичнике. Потом чистят автомобиль. Убирают дом.

«После трудов праведных». Преббль на траве, смотрит в небо. Рядом с ним играет котенок. Преббль возится с ним. Из дому выходит Шедт, идет к Пребблю.

— Едем... в город! «Дружок» ждет уже.

Преббль сразу — мрачен.

— Не поеду... Ненавижу! Я хочу жизни, а не порядка!

Шедт машет рукой: дурак! Уходит.

«И так изо дня в день. Профессор наслаждался законом».

Шедт перед машиной. Поршни работают с абсолютной точностью. Но Шедт насупил брови.

«...а я жизнью».

Преббль играет с котенком на траве.

— Хоть бы за барышней поухаживал, молодой человек!

Шедт показывает Пребблю на Катриону. «Катриона отдыхает». Катриона неподвижно, как изваяние, сидит на земле, смотрит в одну точку.

Преббль изумленно.

— Я?.. Ухаживать... за ней?

Шедт хохочет.

— Ну, конечно... Смотрите, девочка худеет, бледнеет... Чахнет от скуки!

Бесстрастное лицо Катрионы бледно. Щеки впали, под глазами круги.

Преббль идет в дом. Катриона механически провожает его глазами. Глаза широко раскрыты. Что-то вроде улыбки появляется на ее лице. Шедт следит за ней, задумчиво.

— Катриона... Что с вами? Почему вы грустите?

Преббль подсел к Катрионе. Она, поднимая глаза:

— Что такое «грустить»?

Преббль безнадежно пожимает плечами: ну, что с ней поделаешь? Хочет уйти. Катриона вдруг задерживает его.

— Почему ты не такой, как мы все?

Преббль отвечает:

— Кто все?

— Я... «Дружок»... Часы...

Преббль страстно:

— Потому что я живой!

Преббль долго и горячо объясняет ей.

«А когда я кончил...»

Катриона, как всегда, бесстрастно слушавшая, вдруг улыбается, чуть-чуть, еле заметно. Преббль хватает ее за руку.

— Катриона... Ты улыбалась.

Она в ужасе вскакивает, на момент исчезает женщина-машина. Но она снова сидит, ледяная, механическая. Преббль грустно смотрит на нее.

«Я дал себе слово сделать ее живой».

Преббль рассказывает Катрионе.

— Вот это называется: поцелуй.

Преббль целует ее, неподвижную.

Она — спокойно:

— Еще раз!

Преббль, смеясь, повторяет. Шедт из окна следит за ними.

«Через неделю».

Преббль и Катриона.

(Здесь всё зависит от игры артистки. Механичность и ле-

дяное спокойствие остались, но время от времени прорываются смешок, испуг и т. д., немедленно подавляемые).

«Лови меня!»

Преббль убегает, Катриона неуверенно спешит за ним. Она всё больше и больше разгорается, ускоряет бег. Вдруг она хватается за сердце.

«Не привыкла, бедная».

Падает. Преббль бросается к ней, приподнимает ее. Она открывает глаза. Смотрит на него испуганно и счастливо. Подставляет ему лоб для поцелуя. Глаза Преббля над головой Катрионы видят: Анну, такой, как он ее видел в последний раз живой — утром в день революции.

Катриона поднимает голову:

— Что ж ты не целуешь?

Преббль отталкивает ее, вскакивает, кричит:

— Анна! Анна! Анна!

Убегает.

Пробковая бутылка плывет по морю.

Кабинет Шедта. Профессор закутанный, на стуле. В глубокой, тяжелой задумчивости. Входит Преббль. Шедт нервно вздрагивает, оборачивается.

— Я хочу поехать на свою старую квартиру, профессор... Там где Анна...

Шедт презрительно смотрит на Преббля.

Шедт и Преббль в «Дружке». Едут по городу. Шедт мрачен. Преббль спрашивает его:

— Профессор! Что ж вы больше не восторгаетесь? Такой порядок...

Шедт коротко и гневно:

— Болван!

(Осмотр квартиры Преббля. Здесь уместно поместить изображение квартирной жизни после восстания вещей. Этим разгрузится предыдущая часть. Щетки сами вытирают пол. Чистка платья. Пылесос. Вода наливается в кувшины. Стол накрывается).

В спальной.

— Как здесь чисто!

Это Преббль грустно.

— А раньше.

Всё вверх дном: белье, платье. Преббль натыкается на всё, ругаясь.

— Зато раньше.

Из-за ширмы высовывается голова Анны с высунутым языком. Преббль хочет поцеловать ее, голова исчезает. Через секунду выскакивает Анна и — на шею Преббю.

Квартира теперь. Чисто. Опрятно.

— Слишком чисто и холодно для любви.

Преббль поник головой.

Океан. Английское военное судно. Матрос замечает на воде пробковую бутылку. Дастают ее.

Дальнейший осмотр квартиры. Дверь из коридора. Преббль хочет пройти, Шедт хватает его за руку.

— На кухню нельзя!

Преббль недоумевает. Всё же хочет идти. Шедт оттягивает его:

— Не ходите. Я вас прошу!

Преббль удивленно разводит руками: ну, как хотите!

Шедт вдруг: чорт с вами, ступайте!

Кухня. Топится плита. Но всё заржавело, разрушается. Преббль в дверях, заткнув нос. «Какая вонь!»

Преббль оглядывается: на окне и на столе гниющие продукты. Преббль бросается к ним, смотрит.

Заплесневевший хлеб, проросшая картошка, овощи засохшие, гнилое мясо. Всё на местах, и всё гнилое. Преббль вопросительно смотрит на Шедта. Тот горько:

— Человека нет!.. Незачем...

Указывает рукой на плиту.

— Незачем... Разрушается!

Преббль внимательно вглядывается в гнилое мясо:

Мясо. Ползут черви.

«Живые!»

Это Преббль вскрикивает, увидев червей. Оборачивается: — по полу через кухню бежит крыса.

Шедт с отчаянием смотрит на крысу. Преббль встревоженно, указывая на крысу:

— Живая! Беззаконная... И вещи не трогают...

Шедт низко опускает голову. Преббль выбегает в столовую и бьет посуду и мебель, неистовствуя:

— Не боюсь тебя, вещь!

Часть VIII

ПОБЕДА ЖИЗНИ

«Человека нет!»

Магазин. Все лавки завалены товарами. Подъезжает новый товар — некуда больше класть. Грузовики с товаром, не зная что делать, остаются на месте.

(Так можно показать ряд магазинов).

Фабрика механической обуви. Каждую секунду — 20 пар обуви.

Кладовые фабрики — нагружены до конца. Сапогами завален весь двор и помещение фабрики.

«Не для кого ей работать».

Машина стоит. Преббль Шедту, торжествующе:

— Где же ваш порядок? где ваш закон?

Улицы. Трамваи лениво идут, останавливаются. Тротуары не подметены. Полный беспорядок в движеньи на углу. Два автомобиля налетают друг на друга. Преббль победно:

— Для чего же вещь, для чего закон, если не для человека?

Картины разрушения города.

— И вещи погибнут, потому что нет жизни!

Шедт молчит.

«Как сумасшедший, носился я по городу, упиваясь ужасной картиной».

Преббль, ликуя, в автомобиле, любуется всеобщим разрушением. Бьет вещи.

«И эта машина — умирает».

Катриона у окна — бледная, худая, больная.

«Но по другой причине».

Катриона смотрит в окно. Подъезжает на «Дружке» Преббль. Катриона лихорадочно оживает. Преббль входит усталый.

«Усталый, я не обращал на нее вниманья».

Вяло здоровается с девушкой, хочет идти дальше. На глазах Катрионы — слезы. Преббль оборачивается, замечает слезы.

— Катриона! Вы плачете!

Катриона вытирает глаза. Шедт, с надеждой следит за ними. Преббль обеспокоенный:

— Да что с вами?

Катриона сквозь слезы: — Я не знаю, как это называется.

Преббль не понимает. Задумался.

Шедт безнадежно машет рукой. С отчаянием:

— Идиот!..

Ночь. Преббль в постели. «Как это называется?» Ворочается с боку на бок.

— Да я знаю, я победил машину!

Катриона прежде — механическая и ледяная. Катриона теперь — от прежней ничего не осталось. Угловатая, порывистая девушка.

«Чего же ей еще не хватает?»

Катриона в слезах. Преббль в постели сидит задумавшись. Встает, подходит к окну. Видит: сад при луне. Катриона мечтает. Преббль вдруг хлопает себя по лбу. Выбегает в сад. Преббль подкрадывается сзади к Катрионе.

— Катриона!

Она испуганно оборачивается, бежит от него. Он догоняет ее.

— Ты не знаешь как это называется?

Кладет ей руки на плечи. Она вдруг судорожно прижимается к нему.

— Это называется любовью!

Поднимает ее и несет в дом.

«На утро».

Катриона в постели спит. Преббль целует ее нежно в лоб, осторожно выходит.

Соседняя комната. Сидит Шедт, положив локти на стол. Входит Преббль, оборачивается, видит Шедта, вздрагивает. Шедт приглашает Преббля подойти. Тот неуверенно повинуется. Шедт грозно:

— Это вы так отплатили за мое гостеприимство?.. Я спас вас, а вы обесчестили мою дочь...

Кричит на Преббля. Тот слушает, опустив голову. Шедт кончил. Преббль отвечает сперва тихо, потом всё больше горячась и волнуясь. Кричит в ответ:

— Стыдитесь вы, старик! Вы хотели сделать из этого ребенка машину!

Наступает на Шедта:

— А я научил ее любви и жизни...

Шедт иронически слушает. Преббль кончает бешенно:

— Можете убить меня — но ее я спас.

Шедт вдруг нежно и любовно:

— Поцелуй меня, дурак!

Преббль отступает.

Шедт, обнимая его: — Дурак, для чего я спас тебя?.. Для моей Катрионы. Горячо шепчет: — Вещи не могут сами... Так сделай с Катрионой новых людей и правь вещами!.. Ты знаешь их язык, и этого довольно... Не пускай тех, старых... Новых людей создай... Точных, спокойных. Чтоб не было крови, убийств, беззаконий!

Преббль отрицательно качает головой:

«Порядок и закон?»

Картина мертвого города, как в VI-ой части. Полный порядок. Катриона прежняя, механическая.

Преббль решительно: — Не хочу!

Шедт вспыхивает злобой: — Не хочешь? Так ты мне не нужен! — Свистит. В углу на столе револьвер. Приподнимается и сам целится в Преббля.

Катриона в постели, с перекошенным лицом, кричит: — Эндрио! Эндрио!

Преббль и Шедт бросаются к ней.

— Я... я умираю.

Обнимает Преббля. Любовь убила ее. Катриона лежит неподвижно. Шедт на коленях. Преббль стоит.

— И так будет с «новыми» людьми. Любовь убьет их, беззаконная.

Это говорит Преббль. Катриона открывает глаза, влюбленно смотрит на Преббля. Он целует ее.

«Конец».

Преббль поднимает Шедта, трясет его. Профессор Шедт плачет.

«Вещь верна до конца».

Стол. На столе револьвер. За столом Шедт. Свистит — щелкает.

Револьвер сам поднимается, целится в Шедта. Шедт указывает на сердце. Выстрел.

Шедт — мертвый на полу.

* * *

Преббль, постаревший, опустившийся в кабачке (как в прологе). Преббль кончил рассказывать. Кругом кучка людей, жадно, но насмешливо слушающих.

— Что же дальше?

Преббль отвечает: — А вот что дальше...

(Войска вступают в Островную Республику. Сцена занятия города, флот в гавани. Вещи неподвижны).

В кабачке. Собутыльники:

— Значит, всё... И никаких следов... Всё как было...

Преббль смеется: о нет!

Английское адмиралтейство. Заседание штаба. На столе пустая пробковая бутылка. Адмирал делает доклад, ударяя рукой по бумагам.

Батарея. Четыре орудия. Стоит человек, руки в карманах

— и свистит. Орудия сами стреляют, сами наводят (как в V-ой части). То же на броненосце.

Преббль горячо объясняет:

«Война! Будет невиданная война!.. И голод!.. И мор!.. Смерть!»

Река, красная от крови, бежит по сожженным полям. Трупы, трупы, трупы.

— И всё-таки это лучше чем царство мертвых.

Преббль кончил. Собеседники хохочут. Издеваются над ним.

Преббль встает, хочет уйти.

Один из собеседников задерживает его палку.

— А ну-ка, сумасшедший, — позови свою палку.

Преббль спокойно свистит. Палка ударяет спрашивавшего по голове и катится к Пребблю, как в первой части к Шедту.

Общее изумление. Преббль уходит.

Лев Лунц

1

Там, куда прилетят космонавты,
Там не будет весенней сирени,
Там не будет осенней брусники.

Ни черники, запачкавшей руки,
Ни сереющей вербы в стакане
(Зайчик солнца и зайчики вербы).

Золотое Руно аргонавты
Непременно найдут, я уверен,
В синеватых долинах Венеры.

Но не будет на дальней планете
Ни веселого лая собаки,
Ни окна в голубом полумраке,
Ни грачей на сыром огороде.

Впрочем, может быть, вовсе не важно
Всё, что здесь мы любили так нежно.

2

Увядает над миром огромная роза сиянья,
Осыпается небо закатными листьями в море,
И стоит мировая душа, вся душа мирозданья
Одинокой сосной на холодном пустом косогоре.

Вот и ночь подплывает к пустынному берегу мира.
Ковылем и полынью колышется смутное небо.

О, закрой поскорее алмазной и синей порфирой
Этот дымный овраг, этот голый надломленный стебель!

Или — руки раскинь, как распятье, над темным обрывом.
Потемнели поля, ледяные, пустые скрижали.
Мировая душа, я ведь слышу, хоть ты молчалива:
Прижимается к сердцу огромное сердце печали.

3

Слетают желтоватые пушинки
Пленительного липового цвета
(На души наши, душеньки, душонки)
Как золотые райские снежинки.

А после — листья полетят, желтея
(Так огненные языки сходили
Когда-то на апостолов). Но это
Нескоро, через двадцать две недели.

А в парке есть кафэ, и рюмка рома,
Как золотая лилия, блистает,
И над горячим золотистым чаем
Колеблется немного фимиама.

А озеро озарено осанной,
В нем серебрятся рыбы, ветки рая.
Как нежно ветер воздухом играет,
Как шевелит немеркнущей осиной.

4

Тени войны на замерзшей дороге. Уже
их не видно. Пустые пещеры ночи. Ледяные
водопады ночной темноты. Черные

лавины безмолвия. Безлюдные
каменоломни печали.
Я заблудился
среди ночных сталагмитов
моего одиночества.
И клочья дыма
спят, как летучие мыши,
в обугленных трещинах мира.

Игорь Чиннов

СЕНТЯБРЬ В МОСКВЕ

1964

Переделкино

Станция Переделкино... Уже на перроне меня охватывает живительный деревенский воздух. Пахнет прогретой травой, прелым листом и хвоей.

«Поехать в деревню» никто больше не говорит в Москве. Говорят «поехать на дачу»; за мою «деревню» надо мной многие подсмеиваются. А между тем, в Переделкине я почувствовала себя именно в деревне.

Незаметно перрон переходит в тропинку, которая выводит меня на неасфальтированную, пыльную, всю в выбоинах дорогу, что поднимается в гору. Ориентиром мне служат луковицы спрятавшейся в зелени церкви, но я всё же справляюсь у прохожего о том, как пройти на кладбище.

— Вот так и идите в гору, мимо летней Патриаршей резиденции. Слева увидите кладбище, — говорит мне русый паренек в веснушках.

Друзья сказали мне, что под тремя высокими соснами я найду могилу Пастернака. Я ищу их глазами, подходя к деревянной изгороди. Ветхий, преветхий погост обрамлен с трех сторон соснами; они обступили его плотной, темнозеленой стеной. Где же те три, под которыми могила поэта? Не хочу посторонней помощи, всегда думала, что приду сюда и не задумываясь, не спрашивая, пойду к могиле. Стала обходить все могилы, приютившиеся у изгороди. Потом пошла по заросшим тропинкам между могил и казалось, что нога человеческая не ступала здесь десятилетиями. Сплошной лопух, сорная трава, колючки, да высокая мальва буйно разрослись, скрывая, опутывая памятники, лишая возможности прочесть имена и даты. Походив по кладбищу, я всё же пошла искать сторожиху. Сморщен-

ная, в черном платке, она окапывала грядку, возле своей избы. Указала мне дорогу. Оказалось, что могила поэта находится вовсе не в ограде, а далеко позади кладбища. По еле заметной тропке я обогнула изгородь и уже издали увидала три высокие, отдельные сосны, про которые говорили московские друзья.

На белой, стоячей плите, стилизованно и схематично высечен профиль поэта. У подножья, почти у самой земли, прописными буквами: Борис Пастернак... Березовым частоколом, переплетенными ветками, обнесена непомерно большая могила, на которой отцветают чахлые, синие анютины глазки. В опрокинутой ветром стеклянной банке, лежат, осыпаются выгоревшие астры. Маленькая скамеечка стоит в ногах, за березовой оградой. Я сажусь на нее, положив принесенные георгины прямо на землю, возле высокого памятника.

Долго оставалась я, впитывая в себя нерукотворный памятник Пастернаку: не профиль на белом камне, а русские дымчатые дали, безграничный перламутровый небосклон, широкое, скатывающееся вниз поле, легкий, прозрачный воздух позднего лета и какую-то особенную, торжественную тишину.

Думалось мне, что никакое сооружение из мрамора не придало бы могиле Пастернака больше величия, чем просторы, раскинувшиеся перед взором здесь сидящего. Это именно та исконная Россия, с ее грустным и полным очарования пейзажем, неотъемлемой частью которого было творчество поэта.

Медленно брела обратно, недоумевая как могло пройти по этой узкой тропинке многолюдное шествие, провожавшее гроб Пастернака?

В холодной безлюдной церкви я поставила свечи... эти тоненькие, коричневые стебельки, что гнутся от тепла руки и которые знает всякий, кому приходилось посетить одну из церквей в современной России.

Не хотелось покидать Переделкина. Я спустилась к речке, по избитой дороге, в рытвинах и буграх. За полотном железной дороги, какое-то подобие жилья, захолустные деревянные домики, бакалейная лавочка; напротив нее, прямо на земле, продажа чахлых, корявых яблок и грибов. Они разложены на тряпочках, акуратным шахматным узором и продаются поштучно.

Не вижу покупателей, а торговки лениво переговариваются между собой, греясь на солнце.

У речки я села на траву. Кругом всё утопало в зелени, тронутой там и сям первым багряным прикосновением приближающейся осени. Редкие каемочки железных крыш напоминали мне, что это дачное место, то всем известное Переделкино, где живут писатели, поэты, художники. Казалось, что двадцатый век и не коснулся этих мест, оставив им, как привилегию, отпечаток захолустья. Над водой роилась мошкара. Громко в зарослях возились птицы. Вдоль берега, течение образовывало небольшие круговороты и в водяных воронках кружились листья, набухшие еловые шишки, недоспелые, с грецкий орех, яблочки. Щедро плескало полуденное солнце и такой был кругом мир, такая чудесная, извечная тишина, будто время остановилось здесь, повисло над этой речкой, запуталось в нежных молочных паутинках, что свисали бахромой с прибрежных кустов над моей головой...

В автобусе I

Автобус едет по улице Горького, по направлению к Манежной площади. До приема в посольстве остается час и я успею зайти в церковь Воскресения; сегодня суббота и там поет прекрасный двойной хор.

Рядом со мной сидит молодой человек, вероятно, студент. Он внимательно разглядывает мое платье, яркий нейлоновый зонтик, сумочку. Мой вид, кажется, заинтриговал его и не выдержав, он обращается ко мне:

— Вы, конечно, идете в Большой, на миланскую Скалу?

— Совсем нет!

— Неужели не на Скалу? — настаивает попутчик. — А я был уверен. И нарядная вы очень и вид имеете такой довольный! Значит не на Саклу... — растягивает он с нескрываемым разочарованием.

— Меня и не тянет на спектакль Скалы, — говорю я, в надежде, что разговор не оборвется. — Я бы с удовольствием пошла на «Бориса Годунова», если бы его давали в Большом.

— Вот те на-а-а!.. Ну, конечно, вы не здешняя. А откуда вы?

— Из Франции...

— А где вы живете в Москве?

— В гостинице «Минск».

— Небось очень плохое там обслуживание?

— Не то чтобы плохо, но очень медленно подают... Приходится много часов зря тратить в ресторане, когда так хочется гулять, смотреть...

— Да... С обслуживанием у нас не того... Взять бы пятьдесят официанток и отправить к вам в Париж... научились бы... — говорит не без иронии мой собеседник.

— Зачем пятьдесят официанток? Я бы просто послала одного администратора.

— Ну знаете, этот, пожалуй, не вернется! — громко говорит молодой человек.

Я оглядываюсь по сторонам, скорее испуганно, но на нас никто не обращает внимания. Тогда я говорю:

— Вот, где прогресс! **Такого** вы бы не сказали в автобусе лет пять назад!

— Да... но я еще не доехал до назначения... — смеясь отвечает он, открыв ряд прекрасных, здоровых зубов.

Я встаю и иду к выходу.

— А вы мне всё-таки не сказали куда идете? — говорит мне в спину тот же веселый голос.

— Я иду в церковь! — говорю я и с удовольствием любуюсь несомненным эфектом, который произвели мои слова.

Краткое молчание. В тот момент, когда я уже готова соскочить возле Моссовета, голос спрашивает:

— А мне можно с вами?

— Пожалуйста, в церковь можно каждому!

— А что там делать?

— Молиться Богу, — спокойно отвечаю я.

Собеседник идет возле меня и на лице его крайнее недоумение. Как будто он хотел меня мистифицировать, а вышло, что одурачила его я. Так по крайней мере казалось, ибо с него сразу спал мальчишеский задор, который так и выпирал из него в автобусе.

— Разве здесь где-нибудь есть церковь? — спрашивает он меня серьезно, когда я свернула в Нежданновский переулок.

— И еще какая... Церковь Воскресения охраняется, как памятник старины. Неужели не знаете?

Он как-то досадливо машет рукой и заговаривает о другом. Расспрашивает меня о Париже, об артистах, имена которых ему известны. Спрашивает, читала ли я книгу Анн Филип и с нескрываемой завистью говорит:

— Как бы я хотел прочитать ее. Мы здесь шибко увлекались Жерар Филипом!

Мы проходим мимо мемориальных досок, отмечающих дома, в которых жили Качалов, Гельцер, Нежданова, Леонидов и мой спутник поражается, что все эти имена мне так же знакомы, как ему Жерар Филип или Ив Монтан. Но подойдя к церкви он замялся и смущенно сказал:

— Я непременно сюда приду в другой раз... А сегодня вы меня уж извините... Я и так опоздал, товарищи ждут...

На паперти, как всегда, стоят нищие, и я начинаю рыться в своей сумочке.

Тунеядцы

По сухой, утоптанной земле прыгают солнечные блики, играя в лапчатом узоре опавших за ночь листьев. Непередаваем уют московского бульвара! Учащенный пульс города не проникает под его сводчатые тени. Здесь можно почитать книгу, поболтать с приятелем, назначить свидание, дать порезвиться малышам.

Рано утром сюда приходят пожилые люди, посидеть на зеленых скамейках, подышать мягким летним воздухом. Сюда дедушки и бабушки приводят внуков. Здесь отдыхают от скученной квартиры, от коммунальной кухни. Заводят знакомства с другими, такими же отработавшими свои трудовые сроки стариками и старухами. Это те пенсионеры, которых называют «Тыбы».

— ???...

— Ну, а как же... дед вышел на пенсию, весь день свободен. Вот ему и говорят постоянно: «А ты-бы, дедушка, постоял в очереди за яйцами, а ты-бы пошел за арбузом, а ты-бы достал нам...» Оттуда и пошла кличка «Тыбы»!

Я люблю в утренний час пройти по московскому бульвару; мне мило его провинциальное очарование, мил вид резвящихся детей, отдыхающих за книгой или газетой людей.

Однажды мирная картина утреннего бульвара была нару-

шена появлением пьянчуги. Крепкий молодой парень двигался неуверенным шагом, раскачиваясь на вышедших из повиновения ногах. Он взывал к прохожим, указывая грозными жестами на мирных стариков, сидящих на скамьях, и деловито, хотя и не совсем внятно, восклицал:

— Вот они тунеядцы!.. Вот они сидят и газеты почитывают... Прохлаждаются на бульварах с утра... Работать надо... Какой же порядок в стране может быть, если люди с утра на лавочках рассаживаются?..

Он призывает меня в свидетели своего негодования. Я оглядываюсь вокруг, ищу на лицах ответного возмущения или же просто выражения иронии, но тщетно. Выходки пьяниц в Москве никого не удивляют. То, что крепкий, молодой парень, напившись с утра, корит стариков за бездействие сердит и смешит на этом бульваре меня одну.

Концерт

Широкие аллеи парка медленно погружаются в сумерки. Тронутая осенней охрой листва, растворяется в сиреневых тенях сентябрьского вечера. Замолк шумный фонтан, что могучими струями оглашал весь день центральную часть Сокольничего парка. Разошлись по домам маленькие Саши, Пети и Леночки, которые утром катались здесь на неуклюжих трехколесных велосипедах или топали ножками в длинных розовых чулках, под бдительным наблюдением своих бабушек. С высоких рекламных панно смотрят в темноту вожди и герои труда. Покрылись мраком лозунги, прославляющие химию, сельское хозяйство и коммунизм. Зато серебристые стволы берез стали еще светлее на фоне ночи.

Мы идем боковыми дорожками по направлению к Эстрадному театру и смотрим, как зажигаются огни в шашлычных, кафетериях и павильонах Сокольников. В поэтическую атмосферу летней, ароматной ночи врывается запах жареного лука и жаровни.

На обширной эспланаде расположен летний театр. Здесь в ожидании концерта гуляет публика, слышен смех, слышна русская речь. То ли эти сумерки, то ли этот гул певучих московских голосов, но на несколько секунд я испытываю томя-

щее ощущение какой-то безоговорочной принадлежности к этой толпе...

«Концерт цыганской народной музыки и романса», гласят афиши. Крупными буквами имя солиста: **Шишков.**

Его почти никто не знает в Москве и все к кому я обращалась, понятия не имели об этом концерте. Ни в Интуристе, ни в обычных распределителях билетов не было. Кто-то даже спросил меня не без ехидства: «Неужели вы пойдете слушать эту ерунду?» Мне стало очевидно, что цыганский романс сейчас «не в моде» и я поехала прямо в Сокольники и там, у входа в парк, без труда достала билеты.

Неуютный, высокий зал оказался переполнен. Среди публики, будничной и серой, преобладали женщины. Речистый конферансье выступал между номерами и как бы переплетал их между собой. От них веяло провинцией или заводским клубом. Акробатический танец и фокусник ничем не напоминали цыган. Декламация Апухтинской «Цыганки» не предвещала ничего доброго. Но вот появился Шишков с гитарой, а вокруг него три гитариста аккомпаниатора. С первых же переборов, с первой фразы старинного избитого романса публика встрепенулась. С глубоким напряженным вниманием она слушала певца. Его исполнение было так хорошо, что сразу забылась провинциальность предшествовавших номеров. Словно раздвинулись стены скромного летнего театра, растворилась в очаровании музыкального напева будничная серая публика, а таборный разгул, необузданная страстная песня ворвались в зал и заворожили всех.

Маленький смуглый цыган в белом бархатном смокинге и с утомленным болезненным лицом остановил время, вычерпнул гитарой из-под воды какой-то свой утонувший Китеж, вернул памяти забытые названия: Яр, Стрельна, Острова... Мы едва успевали аплодировать; песня сменялась песней, все они звучали по новому, с необычайной яркостью и так ярко, что даже «Очи черные» и «Две гитары» захватили нас, будто заново созданные талантом и огнем исполнения.

«Кони серы»... — пел Шишков и мы слышали топот копыт, и звон бубна, и крики хмельных кутил, и позвякивание ожерелий на груди пляшущей цыганки... Всё это мы видели воочию пока пел Шишков. Увы!.. оборвалась последняя песня,

затрещали рукоплескания, загудели из разных концов зала громкие би-и-иис! Шишков прижимал руки к сердцу, а в его потухших глазах была бесконечная грусть и усталость.

Зажегся свет, зашаркали ноги, и была снова Москва, трудная, чужая, своя, будничная и серая. Китеж медленно погружался обратно, в неведомые свои глубины...

Ловкачи

Мы ужинаем в одном из центральных ресторанов Москвы. Нас шесть человек, из которых двое прекрасно говорят по-русски. Уже поздно, но почти все столы еще заняты. Пустые бутылки, остатки еды, грязная посуда громоздятся на запятнанных вином скатертях. Безупречно сервированные в начале вечера столы, принимают к одиннадцати часам, вид бранного поля после битвы!

Рядом с нами пируют трое: два парня и девушка. Они заказали непомерное количество еды и напитков. Ряд порожних бутылок всё растет на их столе, но блюда с едой еле тронуты, бутерброды с икрой лежат вперемежку с яблочной шелухой и необглоданным цыпленком.

Когда я перекинулась через стол по-русски со своим визави, наши слова привлекли внимание соседей и один из молодых людей подошел и заговорил. Обычные вопросы: откуда мы и почему в Москве, где научились так хорошо говорить по-русски? Его друзья с интересом следили за разговором, но оставались за своим столом.

— Хотите, мы вам споем что-нибудь? — неожиданно спросил меня молодой человек.

Я говорю об этом предложении своим друзьям и они с энтузиазмом и восторгом принимают его, приглашая всех троих за наш стол.

— Ну как, Женька, пойдем что ли руки помоем, а потом споем им? — спрашивает подошедший к нам первым, парень. Он смотрит на свои, действительно не очень чистые руки с неопрятными ногтями. «Женька» утвердительно кивает головой в темной шапке плохо расчесанных, кудрявых волос. Девушка восклицает вызывающе: «Ну что, ребята, айда к умывальнику!»

Мы нетерпеливо ожидаем их возвращения. Уж очень скуч-

но бывает в московских ресторанах, где оркестр удаляется, отработав положенные ему часы, не взирая на желание публики потанцевать еще или повеселиться. Перспектива чего-то необычного возбуждающе подействовала на моих друзей и кто-то уже заказывает три бутылки шампанского.

Проходит пять минут, потом десять... Наша официантка несколько раз вбегает в зал, а потом взволнованно шепчется со своей коллегой. У нее сильно озабоченное лицо. Появляется и метр д'отель. Я вижу, что он строго пробирает официантку, и та начинает плакать. Мои спутники просят меня узнать в чем дело, и я обращаюсь к метр д'отелю.

Оказывается, что соседняя «тройка» ретировалась, не заплатив по счету и «пойдем руки помыть» было просто предлогом. Счет в тридцать новых рублей. Официантка ответственна перед дирекцией за эту сумму, потому и плачет она так горько. Подумать только, тридцать рублей!

Мы стараемся объяснить метр д'отелю как всё произошло, но это ничуть не смягчает его, и он уводит плачущую девушку, распекая ее на ходу. Мы чувствуем себя косвенно замешанными в этой истории и всей компанией отправляемся на поиски несчастной официантки. Она сидит в директорской и заливается слезами. У метр д'отеля совсем растерянный вид, когда наша группа иностранных клиентов, непрошенная, появляется в директорской.

Подает сигнал молодой французский промышленник, который вынимает десятирублевку и кладет ее в подол невинной жертвы хулиганов, весело говоря по-французски: «Вот вам от гадких капиталистов!» Разноцветные банкноты начинают щедро сыпаться в белый накрахмаленный передничек, а девушка рыдает всё пуще, отмахиваясь, и лепечет: «Не надо, хватит! Правда же, хватит, это довольно, совсем довольно, спасибо...»

В автобусе II

В пустом автобусе, в поздний вечерний час, нас двое. Мы сидим у окна и тихо разговариваем. На одной из остановок входит пассажир. Он пьян. Садится перед нами, у противоположного окна и бормочет... Вдруг он оборачивается и грубо кричит в нашу сторону:

— Да перестаньте вы орать! Думаете, что здесь базар?

Людя́м покою не даете своими разговорами. Хватит вам трепаться, я вам по-русски говорю!

Моя спутница трогает меня за локоть и тихо:

— Не обращайте внимания.

Автобус постепенно наполняется. Пьяный обращается к новым пассажирам за сочувствием:

— Ну, хоть вы скажите этим двум, чтобы перестали галдеть! Черт знает что такое!

Он указывает на нас пальцем. Пассажиры смотрят в нашу сторону с недоумением, но видя, что мы мирно сидим и болтаем, качают головами или смеются.

Пожилая дама, сидящая напротив меня, говорит укоризненно:

— До чего некультурно! Просто неловко перед иностранцами, — и прибавляет в мою сторону: — Пожалуйста, не обращайте внимания! **Бывает...**

В автобусе III

Кажется суждено автобусам и троллейбусам быть театром бытовых сценок, которые пришлось мне наблюдать за время моего пребывания в Москве.

Ехали мы куда-то с приятельницей-москвичкой. Это не было в «пиковый час» и все пассажиры сидели. Автобус быстро двигался по широким столичным улицам. Когда он свернул на бульвар, пассажиры, как один человек, повскакали со своих мест и стали возмущенно переговариваться между собой. Оказалось, что автобус, не считаясь с положенным ему маршрутом, поехал вдруг по каким-то совсем другим улицам, отдаляя пассажиров от места их назначения. Изолированный в своей кабине водитель, игнорируя громкие протесты своих «клиентов», продолжал некоторое время гнать автобус по воле своего воображения, вызывая с нашей стороны ропот и окрики. Признаюсь, что и я присоединила свой голос, не столько потому, что мне было важно, где остановится автобус, а скорее из чувства солидарности.

Наконец, автобус остановился и водитель распахнул окошечко, отделяющее кабину от пассажиров. На молодом, добродушном лице выражалось недоумение, смеялись искорками глаза, а светлорусый чуб залихватски падал на лоб. Водитель

разводил руками, призывая кого-то в свидетели и кричал: «Какой я водитель? Посадили и говорят — езжай! А я нипочем не знаю куда ехать-то! Откедова мне знать куда его вести, автобус этот?»

Пассажиры вылезают и расходятся кто куда...

«Крещение на Руси»

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Я очень оценила эту пословицу, в тот солнечный день, когда решила искупаться в бассейне «Москва».

На случай, если кто-нибудь из моих читателей поедет в Москву и тоже захочет поплавать, я постараюсь дать ему несколько полезных сведений... или советов.

К бассейну, остроумными москвичами прозванному «Крещение на Руси» (ибо построен он на том месте, где когда-то возвышался Храм Христа Спасителя), нужно придти заблаговременно. Не следует думать, что можно провести на лужайках или в воде, приятный день или даже полдня. Публика допускается сменами, по строго намеченным часам: каждая смена может остаться полтора часа. Необходимо запастись купальным костюмом (бикини разрешен), чепцом, мылом, губкой и полотенцем. Сопровождающим вас, если они не собираются плавать, вход воспрещен. Они могут либо уйти, либо ждать вас вне территории купальни. Курить тоже запрещается. Поэтому желанную папиросу по выходе из воды вы выкурите только покинув территорию купальни. Раздеваться вам придется в общем зале (разумеется, существуют мужской и женский залы). Душ перед купанием обязателен, но у многочисленных кабин нет ни дверей, ни занавески. Если вы застенчивы, вы испытаете муки ада, когда дежурная «нянечка» строго потребует от вас, чтобы вы шли под душ в костюме Адама или Евы. Кстати, среди толпы таких же Адамов или Ев чувство стыда быстро утрачивается (можно еще добавить, что в женском отделении зрелище заставило бы побледнеть от зависти самого Рубенса!).

Вам придется ждать всего четыре раза: 1. Чтобы настал час вашей «смены». 2. Чтобы попасть в раздевальный зал. 3. Перед кабинами с душем. 4. Перед входом в бассейн.

Если у вас хватит терпения и времени пройти через все

эти этапы, вы будете вознаграждены, так как бассейн восхитителен, вода тепла и чиста, как в ванной, места для пловцов сколько угодно.

Зимою, в тридцатиградусный мороз, вам не придется выскакивать на холод в купальном костюме: вы окунетесь в воду в одном из небольших искусственных «каналов», находящихся в теплом помещении и выплывете наружу, нырнув под стеклянную перегородку, отделяющую канал от бассейна. От европейского, бассейн «Москва» отличается тем, что он очень хорош для спортивной тренировки, но всякое поползновение к «фарниенте» исключено самым коренным образом.

Если, уйдя из купальни «Москва», вы встретите в окружающем ее саду цыганку, ни под каким предлогом не давайте ей вашу ладонь, даже если узнать будущее явится для вас вопросом первостепенной важности! Как бы вы ни были хитры, умны и осторожны, она сумеет обобрать вас с такой виртуозностью, что вы сами потом будете удивляться, как это могло произойти. Вам даже покажется, что лишь в состоянии гипноза вы могли вести себя так легкодумно. Но будет уже поздно и пять, десять, а то и двадцать новых рублей, как ласточки перепорхнут из вашего бумажника под ее сборчатую широкую юбку!

Моя цыганка поджидала меня именно у выхода из купальни «Москва».

Экскурсоводы

Третьяковская галлерея открыта в самые разнообразные часы, поэтому даже очень занятой человек найдет, в конце концов, возможность посетить ее.

Я попала туда к концу дня, вырвав из своего расписания полтора часа. Но как успеть за девяносто минут осмотреть такой обширный музей? Как распознать те залы, где находятся самые выдающиеся картины и не затеряться в осмотре второстепенного? Я подумала об экскурсоводе и постучала в дверь директорской. Приняла меня любезная пожилая дама, но когда я сказала ей о своей просьбе, она развела руками:

— Только что ушли две группы с экскурсоводами и сейчас свободных нет! А где ваша группа?

— Я без группы... Я одна...

— То-есть, собственно, как это одна? У нас экскурсоводы сопровождают экскурсии. В частном порядке мы не...

Я объясняю ей, что у меня очень мало времени и экскурсовод помог бы мне осмотреть только самые значительные произведения. Моя собеседница начинает понимать, что имеет дело с неопытной «иностранкой». Мой чистый русский язык и голова, повязанная платочком, ввели ее в заблуждение. Но ей явно хочется пойти мне навстречу, и она говорит: — Догоните только что ушедшую группу. Там очень хороший экскурсовод.

Из-за стола быстро встает одна из сотрудниц и, обращаясь к моей собеседнице, предлагает:

— Анна Петровна, я хоть уже кончила, но провожу граж... посетительницу и помогу ей найти Верочку с ее группой.

Когда мы вышли из директорской, моя спутница сказала:

— Я вам быстро покажу наши шедевры, а потом вы уже сами, идя обратно по тем же залам, рассмотрите то, что вам больше всего понравится.

Предполагая пробежать по главным залам, она всё же оставалась со мною около часу, и я не знала как благодарить ее за внимание и за те вдумчивые и серьезные объяснения, которые она давала мне.

Сегодня, много месяцев спустя, хочется мне обратиться с благодарностью и восхищением к экскурсоводам и искусствоведам, которые в Москве, Ленинграде, Загорске показывали и объясняли сокровища музеев. Нигде в Европе не встречала я таких образованных и увлеченных до влюбленности своим делом гидов, если только не обращалась в министерство народного просвещения, чтобы получить там специалиста для какой-нибудь привилегированной группы. Рядовой европейский экскурсовод обычно оказывается попугаем, повторяющим наизусть заученный урок и в конце посещения говорит свое пресловутое: «Не забудьте гида!» Его можно приравнять к гидам Интуриста, которые знают, и то плохо, иностранные языки, а в искусстве или истории проявляют неслыханное невежество.

В России вам в голову не придет предложить экскурсоводу деньги. Если у вас окажется с собой комплект открыток с репродукциями из Лувра или Прадо, либо шелковый шарфик, либо плитка шоколада, если, кроме того, вы найдете правильный

тон в выражении своей признательности, тогда расстанетесь с водившей вас специалисткой, как с другом. И в какой-то момент она спросит вас: «А вы, может быть, были и в Италии?» И на ваш утвердительный ответ грустно скажет: «Ах, какая вы счастливая! Я как раз пишу работу об итальянском Возрождении...»

Последует многозначительное молчание, но каждая отлично поймет, что за ним кроется.

Конец

Последний день в Москве посвящен прощальным визитам. Обхожу места и людей, которые стали мне особенно милыми.

Старая уборщица с снежными волосами и мягким, трогательным лицом, кладет обе руки мне на плечи и говорит: «Как дочь свою благославляю вас в обратный путь. Дай вам Бог вернуться благополучно к себе домой, найти семью в добром здравии. Будьте счастливы, будьте радостны, желаю вам всего, всего хорошего. Вспоминайте и о нас иногда, я же буду вас помнить всегда. Да хранит вас Господь...»

Она перекрестила меня, крепко обняла. Мы обе заплакали.

— Ну, будет, будет... — сказала она, похлопывая меня по плечу. — Ступайте с Богом, ступайте...

Христина Керн

**
*

Дует ветер в предвесенней роще
И деревья голые стоят.
Ледяные лужи воду морщат.
Озаряет горизонт — закат.
Холодно, уныло, безобразно.
Только страсть моя, моя тоска
Одевает в лучезарный праздник
Рощу, холод, лужи, облака.
И уже сиянием слепящим
Ветка каждая обведена,
И уже огнем животворящим
Лужа каждая озарена.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ

Попробуйте вот так стоять:
Не изменяя вечной позы,
В протянутой руке держать
Зеленый стебель красной розы.
Века прошли, века пройдут,
А бросить розу невозможно.
Но разве этот страшный труд
Хотел изобразить художник?
Он не хотел. Но мог ли он
Любовью, страстью, вдохновеньем
Стереть с лица земли закон
Нерукотворного творенья?

СТАРОЕ

Если хочешь, чтобы колесо
В чернозем по ступицу входило:
Степь нужна, снежок, лесок —
Словом всё, что память сохранила: —
Весь в ручьях серебряный овраг
Трехдюймовка и шестерка цугом,
Нужно бы, чтобы трехцветный флаг
Реял вновь над городами юга.
Бронепоезд, мостик, переезд,
Красные вагоны под откосом,
Нужно чтобы снова вел разъезд
Старый вахмистр с темносиним носом,
Чтобы раскололась тишина
Долгим свистом первого снаряда,
Вздрогнули, склоняясь, бузина,
Тополя и вербы на леваде.
Нужен бы еще зеленый френч,
Ночь нужна, пасхальная, в патруле,
Крест такой, что может уберечь
От неправды и от вражьей пули.

А. Величковский

ГЕРБ ЛЕРМОНТОВА

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
. . . . . .
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать меж мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом,
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
. . . . . .
Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы:
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей
. . . . . .
Я здесь был рожден, но нездешний душой.
О, зачем я не ворон степной.

Ю. Лермонтов.

Август 1959 года я провел с друзьями на берегу Северного моря в шотландском городе Сент-Андрюсе, знаменитом развалинами разрушенного во время реформации собора Святого Андрея. А зародился город около скита, который в глубочайшей древности считался одним из излюбленных паломниками святых мест дикой в те седые времена, еще по-библейски жившей Шотландии. Согласно преданию, к этому — скалистому и темному от вулканических острых и опасных камней — берегу бурей

принесло шедший из Константинополя корабль, на котором ирландские иноки везли мощи святого Андрея — три перста правой руки и частицу креста, на котором был распят апостол.

Произошло это в те времена, когда византийский император Константин Великий отвоевал город Патрас, в котором был замучен апостол. Тогда ирландский епископ получил частицу мощей, а в Константинополе ему было сказано, что он должен с реликвиями плыть далеко на север, и там, где пристанет корабль, основать церковь, посвященную Богу и святому Андрею.

Шесть месяцев иноки находились в пути, и во время бури потерпели крушение на выступающих из моря темных от водорослей скалах. На поросшем дубовым лесом высоком берегу, который был любимым местом королевской охоты на свирепых кабанов, держали стражу шотландцы из племени пиктов. Шла война с набежавшими саксонцами и пикты донесли королю, что на корабле прибыли ирландские монахи, но те были после изнурительного пути до того истощены, что шесть дней под дубами молились и отдыхали, а потом отправились с реликвиями в воинский стан. В лагере они застали трех внуков шотландского короля. Их отец и дед были в бою, и вот тут-то, — а среди пиктов были уже христиане — обещали королевские внуки ирландским монахам, что если будет одержана победа, то король дарует им землю. Победа над саксонцами была одержана и король, в ознаменование радостного дня, признал святого Андрея покровителем шотландского народа и дал инокам землю для построения церкви и скита.

По древнему преданию местное епископство было основано в 732 году. Поселившийся на сторожевом холме ирландский святитель стал первым епископом. В 8-м и 9-м веках здесь было скитское житие, а праздновали тогда Пасху шотландцы почти две недели. В дубовой роще собирались крестьяне и рыбаки, приезжали и купцы издалека и это место подвижничества и проповеди с королевской церковью, построенной над малой рыбачьей пристанью, обратилось в место паломничества.

За века всё изменилось. Началось богатство и торжество римско-католической церкви. В 1107 году духовник шотландской королевы Маргариты, французский аббат Тюрго поборов восточный обряд, навсегда покончил с древней шотландской

церковью. Аббатство было построено в 1160 году и в это время начали монахи возводить из темно-серого камня, на месте скита, видный издалека собор святого Андрея. В те времена это был самый большой в Шотландии собор. Его строили одиннадцать епископов. Вот тогда и город расцвел, в котором останавливались паломники и купцы.

Две недели продолжалась ярмарка и из ближайшей ганзейской пристани Креля приезжали фламандцы, французы, для того, чтобы закупать шерсть, кожу, скот из Файфа, а привозили они на кораблях лен, шелк, ткани, ковры, пряности, вина, оливковое масло, оружие, золотые и серебряные изделия и в королевском бурге святого Андрея лорды провосты, облеченные властью, одетые в великолепные, отороченные горностаем красные мантии, торжественно со свитою встречали королей и знатных гостей.

Хроника повествует о долгих веках процветания города и аббатства.

С благословения авиньонского папы Бенедикта в 1413 году в Сент Андрюсе был основан первый шотландский университет. В конце 15 века папа Сикст Четвертый превратил епископат Сент Андрюса в архиепископат, а когда началась реформация, архиепископ Сент Андрюса, живший на высоком морском берегу, в хорошо укрепленном, отбитом от Дугласов замке, имел более 130 церковных мест и управлял 245 приходами.

Значение аббатства возростало. Сильнее становилось влияние Рима. И за чертой города всё чаще загорались костры. Священные власти начали преследовать и судить ворожей, еретиков и колдуний.

И теперь еще величественны развалины собора и сторожевая башня, сложенная из синевато-серого камня. Там, в ненастное время, когда небо полно движущихся сизых облаков, порывы морского ветра наносят дождь, и пролетают над развалинами чайки, бродя меж тяжелых и пустых каменных гробниц и епископских надгробий, я понял кладбищенский романтизм, которым обвеяны баллады и поэмы прошедших веков, обладавшие для европейских поэтов страшной и притягательной силой.

Дикий берег мрачен, суров. Ветер западный ведет и го-

нит над заливом Святого Андрея облака, пена закипает у черных скал, на которые нанесло когда-то византийский корабль.

Вдоволь налюбовавшись во время приливов заливом, осмотрев разрушенный епископский замок, — а он построен над обрывом, почти отвесно обрубленными скалами, — развалины собора с десятками отверстых гробниц, я внимательно изучил приютившийся в уцелевшей сторожке маленький и довольно жалкий музей, в котором хранится всё, что от былой силы и славы осталось — обломки керамики и епископские древние печати, на которых святой Андрей изображен не только с поднявшимися по лестницам с боков, распинающими его палачами, но и прославленный, победоносный. Он стоит прямо, — а был он высок, узкоплеч, худ, — как греческая буква иота (Иисус), держа перед собой греческую букву кси (Христос) — свой мученический крест. И эти две греческие буквы (иота и кси) при пресечении являются не только начертанием его жизни и смерти во Христе, но и древней шестиконечной звездою.

После осмотра печатей я увидел в витрине никем еще не опознанную, отбитую от небольшой каменной статуи голову святого Андрея совершенно изумительной работы, выполненную **наредкость талантливым** и безымянным мастером по византийскому иконописному образцу — голову апостола умного, доброго, всем и всему открытого, широкоскулого, высоколобого, лысеющего, с широким приплюснутым носом, волосами до плеч и ниспадающими волнообразно усами и бородой, в которых от древней иконописной раскраски (резцом прочерчен каждый волос) остались золотинки.

Не торопясь я зарисовал ее, и со своим другом отправился в мэрию, зная, что она новая, — старая была разрушена в девятнадцатом веке, но в ней хранится древний каменный герб Сент Андрюса, связанный неразрывно с гербом лорда провоста Лермонта.

Морской ветер гнал тучи, казалось опять нанесет дождь, и в холле мэрии в то утро было темновато. Я почему-то решил, что герб должен находиться в зале торжественных собраний, но, подняв голову, оглядывая холл, довольно запущенный и захудалый, неожиданно увидел темное пятно.

— Неужели это герб Лермонта, — подумал я, — не мо-

жет быть, — но присмотревшись, к изумлению своему убедился, что это он — а герб сумрачный, как древняя свинцовая печать, грубовато высеченный каменщиками, весь в каких-то сглаженных вдавлинах, местами побитый, был вложен в стену очень высоко, — вот когда перешагнете порог, в мэрию войдете, надо три шага сделать, а остановившись, подняв голову, посмотреть на левую стену довольно узкого холля.

Герб был двойной, как каменная раскрытая книга. Я тогда даже проходящего служащего мэрии спросил, правда ли, что это герб Лермонта.

— Патрика Лермонта, — ответил спокойно он.

Герб был прост, гол, запылен. На гербовом щите находился обращенный углом вверх шеврон, — вот из тех шевронов, которые давались на западе дворянам за верную службу, а на шевроне было три сквозных ромба. Над щитом был поставлен похожий на птичью голову шлем, повернутый острым забралом налево, а на затылке шлема было два коротких и малых страусовых пера.

Справа, на том же камне, был выбит отделенный от герба лорда провоста перемычкой второй герб Сент Андрюса — переросший щит молодой дуб со старым гривастым кабаном у корней.

Под гербами были высечены латинские буквы и дата, но так как нижняя часть герба была сильно побита, то с большим трудом можно было прочесть:

ANNO DOM 1565

Я срисовал гербы, но остался неудовлетворен. Всё же, признаюсь, сомнение охватило меня. Я думал — герб Лермонта. Ведь не только девиза, не и имени его под щитом нет. Кто мне докажет, что слева действительно высечен и как бы навсегда к городскому гербу присоединен герб лорд мэра Лермонта. Всё это хорошо, думал я, но мне хотелось иметь более веские доказательства. Важны были цвета, а герб был каменный, голый. А тут так получилось, что и распрашивать больше было некого. Явились мы поздно. Пока я срисовывал гербы, утренние занятия кончились, час был обеденный, все служащие мэрии постепенно разошлись.

— Может-быть, в зале есть старинные портреты, гербовые витражи, — сказал я тогда своему другу.

— Там ничего нет.

— Вы спрашивали?

— Да. В мэрии всё новое.

Но меня успокоить было трудно. Из узкого, с высоким потолком холля деревянная лестница вела в залу торжественных заседаний, куда мне хотелось попасть. По обыкновению своему я должен был сам во всем убедиться и, несмотря на то, что в мэрии, по словам служащего, всё новое, начал подыматься наверх; а там где лестница с тяжелыми перилами круто поворачивает направо, с изумлением увидел на стене то, чего увидеть не ожидал — золото в полумраке блеснуло. Мне бросились в глаза золотые начертания, письмена. Я замер, так как на стене были развешены старинные, торжественные, похожие на большой развернутый складень коричневые памятные доски, а на них как бы древнего оттенка густым золотом были начертаны имена лордов провостов Лермонтов, начиная с 1473 года.

Я видел золото, не теряющее свежести и силы, которым в древности покрывали гербы, видел на темном поле золотые имена Лермонтов, и в это мгновение висящие на стене мэрии доски, цвета спелых каштанов или рыцарского плаща с письменами золотыми, стали для меня как бы цветом каменного, вложенного в стену герба.

Я читал, ошеломленный, безгласный. Переписывая быстро даты, я был не только радостно взволнован, но и убеждался что золотые имена на больших таблицах это не просто перечисление лордов провостов, но и часть родословной Лермонтов.

— Так вот оно что, — говорил я себе, как завороженный, — род Лермонтов властвовал здесь целое столетие и город, да и какой, как бы клану Лермонтов принадлежал. И это была почти наследственная власть. А начертаны были золотом не только годы их правления, но были перечислены и усадьбы, откуда они были родом.

И вот тогда, стоя на лестнице, я почувствовал, что прикоснулся к какой-то тайне, а вдохновившее меня неясное, но

радостное чувство мне сказало, что я попал на подлинный след и это для меня не письмена, а золотые ключи.

Теперь я поверил, что внизу вмурован в стену герб Лермонта. Может быть, и предки Лермонтова вышли из древнего гербового гнезда. Даже пасмурный день осветился для меня по-иному.

Вот, что я тогда записал:

Lord
provosts

а здесь красками нарисован небольшой четыреугольный андреевский флажок с белым крестом на голубом поле.

St Andrews
John of Learmonth
1473
Robert Learmonth
1483
Robert Learmonth
1494—5
David Learmonth of Clatto
1511—2
1513—5, 15, 18
James Learmonth of Darsie
1526—8
1530, 1531, 35—6
1542—3
Sir James Learmonth of Darsie
1526—8, 30, 31, 35—36,
42—3
Sir James Learmonth of Balcomie
1544—46
Sir Patrick Learmonth of Darsie
1548, 50—2, 57, 59
60, 62, 63—66, 67—69,
70—72, 74, 78—79, 83—84,
85—6
James Learmonth of Darsie
1590—90—96

Villiam Learmonth of Clatto
1597—8
Villiam Learmonth Friar or apparent of Darsie
1598—1
James Learmonth of Darsie
1602—4
Sir John Learmonth of Balcomie
1607

Первым был избран лордом провостом в 1473 году John of Learmonth. Значит, в те времена находилась где-то и родовая усадьба — Learmonth.

Да, здесь, под Сент Андрюсом было свито большое гнездо. Были Лермонты, проживавшие в своих усадьбах, и Лермонты, жившие в королевском бурге. Одни были пожалованы сэрами, другие оставались просто Лермонтами.

Держа в руке записную книжку, я начал подниматься наверх, но принужден был остановиться, так как лестница была загражденa деревянной калиткой, а привешанная к ней надпись гласила:

MASONIC TEMPLE

Не осмотрев залу торжественных заседаний, я в холле другими глазами посмотрел на двойной, как бы очень простой, но для меня таинственный герб, так как на месте первого городского герба со святым Андреем, держащим перед собой мученический крест, помещен герб Лермонта.

Включив электричество, я принес из соседней комнаты стул и поднявшись на него, внимательно начал герб изучать, а присмотревшись был поражен, так как побитый местами двойной герб, спасенный при разрушении старой мэрии и вмурованный каменщиками очень высоко — так, чтобы к нему не прикоснулась больше рука человека — оказался не так-то прост, как при беглом осмотре вначале мне показалось.

Да ведь это не только шлем боевой, повернутый влево угрожающим врагу очень острым забралом, но и украшенная двумя короткими страусовыми перьями мирная голова птичья, а держит она в клюве голубином своем грубо высеченную масличную ветку с острым листом.

А потом и герб города, выбитый справа, на том же камне и как бы навсегда присоединенный к гербу лорд провостов Лермонтов — переросший щит дуб с большим и старым гривастым вепрем у подрытых и обнаженных корней — открыл мне свою тайну. Символика древней Шотландии не оставляла меня. Ведь это не просто дуб Сент Андрюса (а он изображен не только в гербе современном, но и на всех городских сувенирах, продающихся в лавках), а тело человека высокого, обнаженного, непомерно вытянутого и очень худого, является дубовым стволом, а поднимающиеся две большие ветви, это его распятые руки. А вот и голова! Это святой Андрей, распятый на многолиственном городском древе и хоть от времени и полустерты черты, но всё же смутно виден лик святого апостола — его лысеющий лоб, скуластость и широкий, немного приплюснутый нос, и волнисто ниспадающие усы и брада, — да, он такой же, каким я его увидел, обнаружив среди обломков, его голову, отбитую от древней статуи.

Да, распятый на городском древе святой Андрей превратился в древо жизни — нагое его тело под резцом неизвестного каменщика стало дубовым стволом, а пригвожденные руки — несущими густую листву большими ветвями. И древо это как бы слава апостола Андрея, а тело его, непомерно вытянутое, до бедер нагое, ниже прикрыто подрывшим корни дуба гривастым и страшным матерым кабаном.

В чем же дело? Я такого герба в Сент Андрюсе не видел. Гербовое древо стало вторым мученическим крестом. А перед глазами моими была дата: — 1565 год.

Да ведь в те времена, когда герб лорд провоста Лермонта, соединенный с открывшим мне свою тайну городским гербом, каменщиками был выбит, не только собор Сент Андрюса был разрушен и все изображения святого Андрея разбиты, но и в городских церквах толпой, пришедшей из Перса и Креля иконокластов были уничтожены все священные изображения, образа. И я понял, что в 1565 году святого Андрея с крестом (а он таков и на древних епископских свинцовых печатях) каменщик уже не мог в двойном гербе выбить, и на месте апостольском он поместил герб лорд провоста Лермонта с наве́ршием мирным — голубиной головой, несущей в клюве оливковую

ветку, — а распятого апостола превратил в андреевское древо жизни, подкопанное свирепым и злым кабаном.

Произошло это в отмеченные кострами жестокие времена. В 1565 году Патрик Лермонт не правил — короткий был перерыв, — но тогда-то и был выбит за заслуги перед городом двойной таинственный герб. Так вот почему из всего старого уцелел этот камень, который строители не только сберегли, но и вложили в стену новой мэрии.

Теперь у меня были даты и я начал знакомиться с историей Сент Андрюса и убедился, что на долю лорд провостов Лермонтов выпали тяжелые и страшные годы.

Ведя борьбу с реформацией, особенной силы достигла папская власть при архиепископе Битоне (1522-39) и его племяннике, (1539-45), который стал не только архиепископом Сент Андрюса, но и папским кардиналом. В его руках были все аббатства, окрестные и городские приходы, под его началом были и духовные суды. В 1527 году Патрик Гамильтон, как еретик, был сожжен у университетской церкви св. Сальватора. А он был молод, вышел из влиятельной семьи, но это не спасло его от Битона. Через несколько лет Генри Форвест, утверждавший, что Гамильтон несправедливо погиб, был сожжен у северного входа в аббатство св. Андрея.

16 января 1546 года протестантский проповедник Джордж Вишарт ночью арестованный южнее Эдинбурга, был брошен в подземную тюрьму епископского замка, в котором находился и дворец кардинала Битона. Судили Вишарта в Сент Андрюсе. 8-го марта он был удушен и сожжен на костре, на высоком морском берегу, вне стен города, перед епископским замком. Кардинал смотрел на казнь из окна своего дворца, считая это обязанностью главы церкви. Перед смертью Вишарт, у которого в Шотландии было много сторонников, предсказал, что тот, кто смотрит на мучения из замка, будет висеть на том же окне. Через три месяца друзья Вишарта на рассвете ворвались в замок. Услышав шум, кардинал проснулся, а увидев из окна врагов, схватил меч с двойной рукояткой. Двери взломали. Кардинал умолял оставить его в живых, но его закололи ножами и кинжалами. Служители замка, прибежав в город, подняли тревогу. Собрался народ. А захватившие замок, приказав горожанам разойтись по домам, притянув тело кардинала к пе-

редней башне, повесили его на стене у окна, из которого он смотрел на казнь Вишарта.

Вначале было шестнадцать заговорщиков, но вскоре к ним присоединились другие. Всего набралось полтораста человек, но среди них был и искавший убежища шотландский реформатор Нокс со своими учениками. Властвовавшие в Шотландии католики осадили замок, в котором укрылись люди, перешедшие на сторону протестантов. А это произошло в мае, было жарко, нельзя было похоронить кардинала и его тело было посолено, облито расплавленным свинцом и на металлическом канате спущено в узкогорлую, расширяющуюся потом, каменную морскую тюрьму, в которой архиепископы держали захваченных протестантов, в которой был заключен и Вишарт.

Во время долгой осады начался голод и болезни среди осажденных. Французский регент Арран и Мария Лорренская не могли разрушить замковых стен, но когда пришел из Франции вооруженный пушками флот, всё было сметено ядрами вокруг замка. Высадив десант, французы атаковали с суши и с моря. Протестантам пришлось сдаться, но ими были выговорены условия — всех захваченных оставят в живых и увезут во Францию. Замок французы разрушили, чтобы он не достался англичанам. В Дьеппе часть пленных была брошена в тюрьму, другие же, а среди них и Нокс стали в Нанте рабами. Через 19 месяцев Нокс был освобожден. Он побывал в Женеве у Кальвина, в Цюрихе, жил во Франкфурте на Майне.

После долголетнего изгнания, с триумфом вернувшись в Англию, Нокс повел наступление на католиков, которых поддерживали французы. Реформация тогда была в полном разгаре. В 1559 году Нокс прошел ураганом по Шотландии. В мае он проповедывал в церкви города Перса. После того, как он спустился с кафедры, — а монахи продолжали служить мессу — сторонники Нокса бросились уничтожать иконы, скульптуру. После проповеди Нокса в Креле, было разорено не только местное аббатство, но и окрестные церкви ограблены толпой, среди которой были не только протестанты, но и много пристaвшего по пути сброда. Командовавший отрядом шотландских католиков Катон, ушел в Фалкланд, где находилась небольшая армия французов и при Патрике Лермонте, после четырехдневной проповеди Нокса, начался разгром собора свя-

того Андрея. Епископская кафедра была разбита, а при разрушении собора всё уничтожено — реликвии и иконы выброшены и тут же на костре сожжены.

В 1563 году (когда Патрик Лермонт был лорд мэром) разрешили новые духовные власти смертную казнь для ведьм, колдуний и знахарей. В мае 1568 года регент Морэй сжег в Сент Андрюсе за колдовство врача сэра Вильяма Стюарта и знаменитую ведьму Матер Ничивен. В тот черный год много женщин было сожжено во время ярмарок. Еще сильнее запылали костры в 1572 году.

Ведьм заставляли исповедываться перед церковной сессией в 1597 году. Ведьм ловили в деревнях, об их существовании допытывались. Всё это были простые деревенские ворожеи, хранительницы древних кельтских обычаев и преданий, знающие крестьянские и ловецкие заговоры. Их не только сжигали, но и топили, сбрасывая с высокого берега в море. В Сент Андрюсе пойманную и обличенную ведьму во время суда клали на весы — на одной чашке лежала она, а на другой Библия, так как Библия тяжелее всех сатанинских дел. Если ведьма перетянет, то обвиняли ее.

В Файфе, где в усадьбах жили Лермонты, особенно свирепствовали эти суды. Сорок женщин было сожжено в Файфе в течение нескольких месяцев 1643 года. Часть их была сожжена в Сент Андрюсе. Еще больше было судов и казней в 1645 году.

Здесь потом царило запустение. Церкви стояли без крыш, открытые непогоде и ветру, в них только птицы гнездились. Выворочены были все епископские гробницы, аббатство и собор превращены в склад строительных материалов, руины заростали травой.

Нам неизвестно, что произошло после 1607 года, но среди лордов провостов фамилия Лермонтов уже не встречается. Сведений о них нет. Потеряли ли они усадьбы, обеднели ли, вымерли ли во время свирепствовавшей здесь два раза чумы. Никто на этот вопрос ответить не может. Более четырех веков Сент Андрюс лежал в развалинах. Одно мне сказали: из знаменитого когда-то и влиятельного рода Лермонтов не только в городе Сент Андрюсе, но и в его окрестностях, в Файфе, никого не осталось.

Learmonth,
Clatto,
Dairsy,
Balcomy.

Родовой усадьбы Лермонт на самой подробной карте вы не найдете. Никто не может сказать, где находилась она. Все земли, на которых они жили, перешли к другим. Замок Балкоми принадлежит теперь графу Крэнфорд Балкарес. Клато находится недалеко от Дэйрси, а Дэйрси — место древнее, там когда-то возвышался королевский замок, построенный Давидом Вторым в начале 14-го века. Я не мог побывать в усадьбах. А если поехать туда, то некого и спросить. Ведь это не в старой русской деревне, где роды живут на тех же местах сотни лет. Тут фермеры, нанимая усадьбы, меняются каждые пятнадцать лет.

Да и сколько веков с тех пор прошло! О судьбе Лермонтов в уезде никто не знает. Кончился давно в Сент Андрюсе их род. Все вымерли или же после длительной смуты, которая подорвала богатство города, покинув эти места, разбрелись разно.

Что стало с их потомками? Может быть, изничтожился род, обеднев, или же они стали фермерами и о прошлом своего рода забыли? Нет, в бедности родовая память сильна, прошлым своего рода обедневший дорожит, прошлое вспоминает. В городе Денди, — сказали мне — проживают три Лермонта, в Эдинбурге их несколько, но все они к Лермонтам из Сент-Андрюса никакого отношения не имеют.

Я тогда кладбище обошел, а оно занимает место разоренного и долго лежавшего в запустении аббатства. Накрапывало, с моря наносило дождь, а то прорывалось солнце, летали чайки, на колокольне ворковали голуби.

Я искал плиты с гербами Лермонтов. Прочел эпитафии и даже на складе побывал, куда снесены десятки громадных надгробных плит. Нет, всё это были плиты высеченные после великого разорения, которые заняли место разбитых древних надгробий. Спокойствие развалин. Приливы, отливы, чайки отдыхают на зеленеющем кладбищенском лугу. Вороны медленно летят на добычу вдоль побережья.

А может быть, — слушая воркование голубей на сторожевой башне, думал я, — украшенная двумя страусовыми перьями голубиная голова над гербовым щитом, несущая в клюве масличную ветку, это символ легендарного Фомы Лермонта. Ведь он жил в старой башне,[1] как ящерица среди камней. По народному преданию, он ушел от пирующих друзей в лес — дикие олени, выйдя на поляну его в лесную чащу позвали — и с тех пор его больше никто не видел, но иногда его вдохновение, как благословение, осеняет головы и плечи странников и добрых людей.

Я всё тут осмотрел в ясную погоду с удивительно мягким ветром и чистым солнцем, когда на черных, выступающих со дна моря, покрытых блестящими темными водорослями скалах разгуливают на длинных красных ножках нарядные, как средневековые пажи, кулички.

И вечером, когда в море загорались маяки и туман медленно заволакивал побережье, на высоком берегу я думал о Лермонтове. Ведь он знал, что корни его родословного древа теряются в темной, как ночь, древности вольной шотландской земли. Он верил, что среди его предков был знаменитый когда-то ясновидящий и поэт, а о вдохновенном прорицателе будущих бед, Фоме Лермонте, в давние времена в Шотландии передавали из поколения в поколение.

— В злой день, в судный день никто не может спастись — так начиналась одна из его пророческих баллад, а ее, конечно, знал и Лермонтов, написавший:

— Настанет год, России черный год...

И я видел тогда в дали морской с возникающими огнями маяков, как бы глаза Лермонтова и тьма морская соединялась для меня с цветом его ясновидящих и таинственных глаз, в которых жило одиночество вещего поэта и священное творческое безумие.

В Эдинбурге я навел справки в геральдическом отделе. Ведь должен же там находиться родовой герб Лермонтов. И вот, что тогда удалось узнать.

---

[1] В Шотландии даже бедные дворянские усадьбы имели маленькую каменную башню. Иногда ее превращали в голубятню. Не в такой ли башне-голубятне жил когда-то и Фома Лермонт.

В шотландских геральдических книгах не только нет герба Лермонта, но и в списках старых шотландских родов Лермонтов нет.[2]

В эдинбургском гербовнике нет отдельного герба Лермонта, но все же, к величайшему для меня счастью, оказалось, что у одного из Лермонтов сохранился родовой герб. Он был утвержден шотландской геральдикой, но находится теперь в объединенном гербе Ливингстон-Лермонт. А произошло это так. Род Лермонтов захудал. В семнадцатом веке они своей земли уже не имели и им пришлось арендовать чужую усадьбу. Эта семья происходит от арендатора имения — Мэнс оф Алмонд в волости Минаросейд в графстве Стирлинг — Джона Лермонта. Он умер 16 марта 1698 года. Его сын Алекс Лермонт женился на шотландке Мэри Ливингстон оф Пэрхолл. Ее семья владела усадьбой в шотландском графстве Стирлингшайре. Алекс Лермонт умер в 1763 г.

Потомки Лермонта потеряли первенство и приняли фамилию Ливингстон-Лермонт. Общий герб был заказан и утвержден в 1870 году.[3] На сохранившейся в семье Лермонтов древней печатке был родовой герб. Он находится теперь в разделенном крестом, объединенном гербе двух родов в первом и четвертом квадрате.

Гербовой щит Лермонта точное повторение щита, выбитого на камне, вмурованном в стену мэрии города Сент Андрюса. А цвета такие: — Золотой щит. На золотом поле щита черный шеврон с тремя сквозными золотыми ромбами.

И даже шлем с повернутым[4] в левую сторону острым забралом был сохранен (таким, как я его в первый раз в мэрии увидел), но его поставили не на щит Лермонта, а на торжественно покрывающую объединенный герб красную мантию лордов провостов.

---

[2] Об этом М. Ю. Лермонтов не знал. И среди горных шотландцев нет клана Лермонтов.

[3] Ливингстоны-Лермонты были купцами в Эдинбурге, Лисе, Индии, Тасмании. Один из них был директором банка Австралии (1862-1945).

[4] Во Франции повернутый шлем давался незаконным детям, которые воспитывались, в те времена, вместе с законными детьми и получали отцовский герб.

А птичья голова? Где она? Геральдика из птичьей головы сделала настоящий шлем с острым забралом, но украшая герб, она и от птицы не отказалась, но это уже не птичья голова, а настоящий голубь стоит, повернувшись влево на гнезде, свитом в складках мантии лордов провостов, а гнездо голубиное сплетено из андреевских цветов белых и голубых (память о городе Сент Андрюсе) и голубь держит (как и птичья голова в каменном гербе над щитом) в клюве оливковую ветку, но не с одним, а с несколькими острыми листьями.

Гербовые цвета — золотое поле и черный шеврон с золотыми ромбами — да и вся символика меня обнадежили, но я сказал:

— Теперь ты должен отыскать герб Михаила Юрьевича Лермонтова.

И вот в Париже, вдали от Сент Андрюса и берегов Северного моря мне удалось увидеть русский гербовник.[5] Признаюсь, с немалым волнением я развернул старую книгу, а когда увидел герб Лермонтова, то сердце мое возрадовалось. Предчувствие не обмануло. После всех мытарств и скитаний по чужим землям Юрий Андреевич Лермонт привез на Русь родовой герб. Да, это был как и в гербе Ливингстон-Лермонт, золотой щит, а на нем, на золотом поле, черный шеврон с тремя золотыми скозными ромбами.

В тот парижский вечер глубокой осени для меня чудесно ожил и осветился древним цветом похожий на потемневшую свинцовую печать запыленный каменный герб Лермонта, вложенный в стену мэрии Сент Андрюса.

В русском гербовнике сказано: — «Предок фамилии Лермонтовых, Юрий Андреевич Лермант,[6] выехал из Шкотские земли в Польшу, а оттуда в 1633 году — в Москву. Потомки сего Юрия Андреевича Лермантовы многие Российскому Престолу служили стольниками, воеводами и в иных чинах, и жалованы

---

[5] П. фон Винклер. Русская геральдика. История и описание русских гербов с изображением всех дворянских гербов, внесенных в общий гербовник всероссийской Империи. Выпуск второй. С 302 рисунками. С. Пб. 1894.

[6] На Руси фамилию Learmonth писали и произносили Лермант.

были от государей поместьями. Всё сие доказывается справкою Разрядного архива и родословною Лермонтовых».

А герб такой: заостренный книзу, сведенный к острию полого гербовой щит.[7] В золотом щите черное стропило,[8] обращенное тремя золотыми веретенами[9] и сопровожденное в оконечности черным шестилистником.[10]

Наве́ршие герба Лермонта в объединенном гербе Ливингстонов-Лермонт было, несомненно с согласия владельцев гербов, геральдикой символически приукрашено и находящаяся над щитом Лермонта полу-птичья голова превратилась окончательно в боевой шлем.

И на Руси украшенную двумя короткими страусовыми перьями птичью голову приняли за боевой шлем, но для большей внушительности и красоты русский гравер из геральдического отдела поставил его на щите прямо и он стал уже не шлемом с остроклювым забралом, повернутым влево, а настоящим рыцарским шлемом с забралом, скованным из прямых, вертикально приклёпанных стальных полос. В России его увенчали дворянской коронкой о пяти зубцах и украсили четырьмя большими, широко раскинутыми страусовыми перьями.[11]

А черный шестилистник, — спросят меня, — на золотом поле под черным шевроном? Его ведь нет ни в каменном гербе, ни в объединенном гербе Ливингстонов-Лермонт?

Да, это так, — отвечу я и тут же выскажу предположение, что и здесь мы имеем дело с древней шотландской символикой (она в Сент Андрюсе не оставляла меня). Черный шестилистник,

---

[7] И в Сент Андрюсе выбит на камне заостренный книзу сведенный полого гербовой щит.

[8] На Руси западный геральдический шеврон называли стропилом, т. к. обращенный острым углом вверх шеврон напоминал русским стропила крыши.

[9] Ромбы сквозные. (Такие они в каменном гербе Лермонта, в гербе Ливингстон-Лермонт и в русском гербе Лермонтова. Через прорезы ромбические видна чернота шеврона). Их называли на Руси веретенами, ибо они напоминали веретена.

[10] Сопровожденное в оконечности — находится под шевроном, в нижней части гербового щита.

[11] При царе Алексее Михайловиче довольно свободно украшали гербы русских дворян.

помещенный в родовом гербе Лермонта не является простым черным цветком, а символом Св. Андрея, который (не только на древних свинцовых епископских печатях, но и в современном гербе Сент Андрюса), стоя прямо, как греческая буква иота держит перед собою вторую греческую букву кси — свой мученический крест. Эта шестиконечная звезда, прибывшая с ирландскими святителями из Византии, символизирует жизнь апостола Андрея, его страдания и смерть во Христе.

И не серебряный цвет этого шестилистника, а траурный, в знак разлуки с землею, покровителем которой был святой Андрей. И не случайно предок Лермонтова носил отчество Андреевич, по отцу своему Андрею. Ведь город Сент Андрюс был тогда разорен и что-то заставило Лермонтов не только бросить насиженное гнездовье (свитое из андреевских бело-голубых цветов на красной и торжественной мантии лордов мэров), но и навсегда покинуть Шотландию, начать скитаться, и как изгнанники, по миру бродить. И удивительно, что не в протестантских странах искал убежища предок Лермонтова, а в католической Польше, куда, после долгих и для того времени опасных странствий он и попал, в бедности сохраняя свой герб.

Но тут мне опять могут задать вопрос: каким же образом шестиконечная звезда святого Андрея могла превратиться в шестилистник? На это я отвечу, что для всего ирландского народа зеленый трилистник обозначает крест покровителя Ирландии святого Патрика. И тут я предложу прочесть девиз Лермонтов-изгнанников, которых буря унесла далеко от родной земли. Он был неожиданным и для меня.

А девиз, помещенный под утвержденным в России гербом, состоит из трех латинских слов, начертанных на геральдически развернутой ленте. Он гласит:

Sor mea Iesus[12]

Существуют четыре герба Лермонта: — древний каменный герб 1565 года вложенный в стену мэрии Сент Андрюса, два небольших герба в объединенном гербе Ливингстон-Лермонт и герб Михаила Юрьевича Лермонтова с траурным шестилистником на золотом поле.

Париж. Март 1965 года. *Леонид Зуров*

---

[12] Иисус моя жизнь.

*

Замостье и Збараж, и Краков вельможный
Сегодня в шелку и парче, —
На ели хрустальной закат невозможный,
Как роза на юном плече.

О, польское счастье под месяцем узким, —
Дорога скрипит и хрустит, —
Невеста Марина с царевичем русским
По снежному полю летит.

Сквозь звезды и ветер летит и томится,
Ласкает щекой соболя,
Расшит жемчугом на ее рукавице
Орел двоеглавый Кремля.

Ты смотришь на звезды, зарытые в иней,
Ты слушаешь верезг саней, —
Серебряный месяц над белой пустыней,
Серебряный пар от коней.

Вся ночь в серебро переплавится скоро,
Весь пламень в дыханье твоем, —
Звенит на морозе венгерская шпора,
Поет ледяным соловьем.

О, польская гибель в сугробах сирени,
В глубоком вишневом цвету, —
Горячее сердце и снег по колени,
И цокот копыт на лету...

Всё музыкой будет, — цыганской гитарой,
Мазуркой в уездной глуши,
Журчаньем фонтана на площади старой, —
Нечаянным вздохом души.

Вл. Корвин-Пиотровский

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПАРОДИИ

1

Слово «пародия» значит «перепев», но смысл этого слова в течение почти трехтысячелетней истории европейской литературы так же менялся, как и смысл других слов обозначавших литературные жанры. Так например, слово «эпиграмма» известно современному русскому читателю, как название краткого иронического или саркастического стихотворения, направленного «против» кого-то или чего-то. Но в первоначальном своем значении эпиграмма — просто краткое стихотворение заостренное выражение мысли, если угодно — расширенная до краткого стихотворения пословица. И выраженная в эпиграмме мысль может быть любого — положительного или отрицательного содержания. Еще в 18-м веке русские поэты[1] переводили например религиозные «эпиграммы» Ангела Силезия и писали в том же духе сами. Согласно нашему современному словоупотреблению вряд ли можно назвать «эпиграммой» напр. такие строки:

> Ты спишь, а твой Христос стучится у дверей
> стучится раннею и позднею зарей.

Еще Пушкин писал «К портрету Чаадаева», «К портрету Вяземского». Это традиционные эпиграммы. Последняя звучит так:

---

[1] Мы не знаем имени переводчика сборника «Райские цветы» (1784 — два издания, затем 1817), содержавшего главным образом религиозные эпиграммы Ангела Силезия и неизвестных авторов 17 и 18 веков. Это или о. Ириней Фальковский (позже проф. в Киеве) или М. М. Херасков.

Судьба свои дары явить желала в нем,
в счастливом баловне соединив ошибкой
богатство, знатный род — с возвышенным умом
и простодушие с язвительной улыбкой.

Такие эпиграммы-похвалы, конечно не входят в современные сборники эпиграмм. И сборник «Русская эпиграмма» в «Малой библиотеке поэта» (Ленинград, 1958) содержит, конечно, только иронические, сатирические или саркастические эпиграммы, у Пушкина озаглавленные обычно «На (такого-то)»: «На М. Каченовского», «На Воронцова», «На Булгарина» и т. п.

Вряд ли стоит протестовать против прочно укрепившегося нового значения литературного термина. Мне хочется напомнить, что и термин «пародия» пережил подобное же изменение. Еще в 16-17 веках можно было называть «пародиями» христианизированные перепевы од Горация или морализирующие перепевы «Героид» Овидия, любовных посланий героинь греческой мифологии и саги — Федры, Ариадны, Медеи, Елены и т. п. — в «пародиях» их заместили христианские святые жены, а любовное содержание «баллад-посланий» Овидия было заменено религиозными размышлениями. Характер этих «серьезных пародий» состоял в использовании словаря и отдельных образов «пародируемого» поэта.

В средние века существовали уже и «перепевы»-пародии в нашем современном смысле слова: например подражания религиозным гимнам со светским или легкомысленным содержанием; многие из них известны под именем «Кармина бурана».[2] В эпоху раннего реннесанса появились многочисленные «пародии» особого типа, так называемые «травестии». Травестии или бурлески[3] — перепевы известных сюжетов античной поэзии на современном, притом по преимуществу вульгарном языке: при этом стали пользоваться диалектами. Дальнейший родственный травестии жанр — «героико-комическая поэма» — поэма в формах и стиле героического эпоса, но с «легкомысленным» содержанием: этот жанр санкционирован даже именем Гомера, которому (без оснований) приписывали юмористическую «Войну

---

[2] Прославленные в последние годы «оперой-ораторией» Орфа.

[3] Слово «бурлеск» приняло в англо-саксонском мире новое значение — непристойного остроумного произведения.

мышей и лягушек» (ее начал переводить Жуковский). Именно эта санкция античности побудила теоретика неоклассицизма Буало принять и этот жанр в число им признанных[4] и даже написать поэму такого жанра — «Налой»; произведением того же жанра была и поэма английского классициста Попа «Похищение локона».

Если угодно все эти жанры можно рассматривать, как видоизменения, варианты «перепева»-пародии. И понятно, что и в русской литературе уже в 18-м веке появились произведения всех этих типов: наиболее знаменитой травестией была «Энеида» Н. П. Осипова (выходила с 1791 г. и закончена в 1808 г. А. Котельницким), — подражание немецкой травестии Блюмауэра (1783) и в свою очередь послужившая образцом для украинской «Енеіди» И. Котляревского; образцом «героикомической поэмы» является не раз упоминаемый Пушкиным «Елисей» В. Майкова.

Да и первое крупное произведение Пушкина «Руслан и Людмила» содержит не мало элементов пародии (в одном из новых смыслов этого слова): не только своеобразный гарем, в котором нашел приют один из претендентов на руку Людмилы, «младой Ратмир» (песнь четвертая), является пародией на романтическую религиозную балладу Жуковского «Двенадцать спящих дев», и не только отдельные места — пародии на тогда еще весьма популярную «Душеньку» И. Богдановича, но и вся поэма Пушкина в целом пародирует сюжет забытого теперь, но, как кажется, одного из наиболее примечательных произведений М. М. Хераскова, его поэмы «Бахариана». «Бахариана» (1808) — история приключений героя, отправившегося на поиски своей невесты, — история этих приключений — символическое изображение масонских исканий истины; это несомненная параллель к либретто «Волшебной флейты» Моцарта (написанному Шиканедером). Если мы присмотримся ближе к характеру «пародийных мест» в «Руслане и Людмиле», мы увидим, что слово «пародия» и в его современном смысле

---

4 Буало вовсе не был выразителем общепризнанных взглядов своих французских современников: он был противником Перро (не только автора сказок, но и замечательного теоретика «новой» литературы) и относился весьма скептически к Мольеру.

имеет по крайней мере два основных значения, которых никоим образом не следует смешивать.

2

Два смысла слова «пародия» в современном русском литературоведении смешиваются до сих пор: это мы видим в сборниках пародий выходивших в России с 1930 года,[5] то же самое видим и в переизданном недавно в Канаде очаровательном сборнике «Парнас дыбом»,[6] в частности «дополнения» издателя показывают, что и он — как, впрочем, и специалисты в СССР, не различает разных смыслов этого ставшего двузначным слова. Не совсем точно различали оба смысла слова, впрочем, и авторы «Парнаса дыбом». Эти два типа: **литературная пародия** и **шуточная пародия** (или «озорное» стихотворение).

Под «литературной пародией» следует понимать такие «перепевы», которые представляют в карикатурном виде **литературные** стилистические черты и словарный состав, реже содержание и «идеологию», литературных произведений определенного стиля или жанра или даже одного определенного автора. Трудно сказать, когда такие произведения появились в мировой литературе. От них следует отличать подражания, «перепевы», не имеющие иного назначения, как вызвать смех читателей. В немецкой литературе оба эти типа иногда различают, как «критическую» и «комическую» пародию. Первое обозначение не совсем удачно, так как бывают и «дружеские» пародии или «автопародии» — они не ставят себе «критических» задач; они принадлежат к жанру «комической» литературы в широком смысле слова.

Литературные пародии часто подмечают такие черты литературного стиля, которые бегло читающий и не привыкший к стилистическому анализу читатель, может не заметить, а иногда и черты не замечаемые даже литературоведами. Анализ

---

[5] Б. Бегак, Н. Кравцов и А. Морозов: Русская литературная пародия. 1930; Ю. Тынянов: Мнимая поэзия. 1931; А. Островский и В. Орлов: Эпиграмма и сатира. 2 тома. 1932.

[6] Без места и без года, редакция Р. Плетнева.

литературных пародий является превосходным педагогическим приемом при изучении литературных стилей.[7]

В русской литературе литературные пародии стали играть роль в 18-м и особенно в 19-м веке, когда литературные направления, течения и «школы» начали сознательно оформляться и бороться друг с другом. Это случилось, когда представитель русского классицизма А. Сумароков выступил как противник стиля барокко в произведениях Тредьяковского и Ломоносова.[8]

Ранними примерами русских пародий являются пародии А. Сумарокова на оды Ломоносова с их «гиперболизмом», «высоким полетом» и «поэтическим беспорядком», — чертами, которые поэтика барокко требовала от лирической поэзии. Вот пример литературных пародий Сумарокова, которым их автор дал наименование «Вздорные оды»:

Гром, молнии и вечны льдины,
моря и озера шумят.
Везувий мещет из средины
в подсолнечну горящий ад,
с востока вечна дым восходит,
ужасны облака возводит
и тьмою кроет горизонт.
Ефес горит, Дамаск пылает,
тремя Цербер гортаньми лает,
Средьземный возжигает понт...

Здесь удачно переданы черты стиля Ломоносовских од; острие литературных од-пародий Сумарокова направлено было против своеобразной «безличности» ломоносовских панегириков царицам и царям: возвеличение царствующих особ при помощи гиперболического «высокого полета» было возможно

---

[7] Этой цели должен служить изданный мною сборник: Russische literarische Parodie. Висбаден 1957 (немецкое введение и русские тексты).

[8] Проблеме литературного барокко был посвящен ряд моих работ. Литературоведы из СССР почему-то отрицали существование литературы барокко в России. Но возражения их сейчас уже ослабели. Существование стиля барокко в польской, чешской и хорватской литературе, кажется, не подвергалось сомнению, но употребление термина «барокко» в применении к литературе было в Польше и Чехословакии некоторое время запрещено!

в тех же словах и выражениях по отношению и к Анне Иоанновне, и к Елизавете Петровне, и к Петру Третьему и даже к грудному младенцу, Иоанну Антоновичу!

Литературная перестрелка пародиями шла в русской литературе далее параллельно с эволюцией стилей: Державин возродил в литературе конца 18 века ряд черт поэтики барокко:[9] и против него направлены (отчасти) пародии однофамильца А. Сумарокова — Панкратия Сумарокова. Ранняя русская романтика: Вл. Ф. Одоевский, П. А. Вяземский, а затем и А. С. Пушкин оживили борьбу пародиями. Напомним только один эпизод. Друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер защищал в журнале «Мнемозина» кн. Вл. Одоевского традиционные литературные жанры классицизма: оду, трагедию и сатиру (по выражению Пушкина в «Евгении Онегине» — «трубу, личину и кинжал»):

Пишите оды, господа,
как их писали в мощны годы,
как было встарь заведено...

Так пародирует Пушкин статью Кюхельбекера (см. «Евг. Он.» гл. 4 32-3). И Пушкин пишет оду «графу Дм. Ив. Хвостову» — пародия на оды — с примечаниями, где цитируется одописец Екатерининской поры, В. Петров, (умеренный) представитель классицизма И. И. Дмитриев и сам Кюхельбекер — и здесь те же черты, что в пародиях обоих Сумароковых, впрочем с еще более сгущенным употреблением церковнославянизмов.

Эпоха Пушкина была периодом литературного новаторства. Русская романтика встретила такой же отпор, как и западноевропейская или польская и чешская — и там против романтики боролись пародиями. В России предметами пародий был не столько Пушкин, сколько второстепенные романтические поэты. Но и пушкинские публикации отрывков (напр. из «Евгения Онегина», с номерами строф) служили предметом пародий: таков «Отрывок из поэмы 'Курбский'» (на-

---

[9] Об элементах стиля барокко в поэзии Державина, см. мою английскую историю русской литературы (Гаага. 1960), а теперь интересную статью проф. Бакфисса (Брюссель) в сборнике в честь В. А. Ледницкого. (1962).

печатан с подписью И. Пустоцветов, в «Новом живописце общества и литературы» 1830, номер 2).

Гораздо легче было писать пародии на поздних романтиков, например на Лермонтова: «Зачем я не птица, не ворон степной»... Автором выступил «Козьма Прутков»:

Хотел бы я тюльпаном быть,
парить орлом по поднебесью,
из тучи ливнем воду лить,
иль волком выть по перелесью;
хотел бы сделаться сосною,
былинкой в воздухе летать,
иль солнцем землю греть весною,
иль в роще иволгой свистать (и т. д.).

Здесь — отзвуки стихотворений Лермонтова и Хомякова. Эти «Желания поэта» Пруткова повторяют не только «тональность», но и отдельные выражения Хомякова (стих «Желание»):

Хотел бы я разлиться в мире:
хотел бы солнцем в небе течь,
звездою в сумрачном эфире
ночной светильник свой возжечь (и т. д.).

Молодой Некрасов — незадолго перед тем сам писавший стихотворения в бурно-романтическом стиле (его сборник «Мечты и звуки», 1840), опубликовал «Послание к другу из-за границы» (под псевдонимом Н. Стукотин), повторяющее мотивы студенческих песен Языкова, и очень удачно подражающее типичным для Языкова словечкам-неологизмам, сложным и народным словам и неологизмам в стиле народной речи; приведу отрывки:

Друг, товарищ доброхотный!
помня, чествуя, любя,
кубок первый и почетный
пью в чужбине за тебя
. . . . . .
Полюбил ты достославно
нас развившее питье!..
Враг народов иностранных,
воеватель удалой,

ты из уст благоуханных
дышишь родине хвалой
. . . . . .
Беспредельно предана́
ей души твоей кипучей
ширина и глубина!

Иногда Некрасов почти дословно повторяет строки из послания Языкова Гоголю:

Взором радостным слежу,
как с подскоком жидконогий
немец мой, сутул, поджар —
выйдет храбреца дорогой,
бац да бац на тротуар...
Драгоценная картина
сердцу русскому! Она
возвышает Славянина
силу скромную... Вина!

Свою чуткость к формальным качествам стиха Некрасов доказал, например, своей высокой оценкой поэзии Тютчева, поэта ему по идеологии и по настроению глубоко чуждого. Пародия на Языкова, стихотворения которого Некрасов мог перечитывать в изданиях 1833, 1835 и 1845 годов, свидетельствуют также об этой чуткости пародиста: «формальная сторона» стиха пародии безупречна и даже блестяща. Языков был «технически» самым блестящим из поэтов Пушкинской поры, на что указывал напр. Гоголь. Некрасов уловил своеобразные черты стиля Языкова. Но содержание стихотворений Языкова было ему глубоко несимпатично: и «пьяно-буйный стих» поэта и его примитивное (по крайней мере во многих стихотворениях) «славянофильство» поданы в пародии почти-что буквальными цитатами; такова тема «винопития»; у Языкова читаем: — «много... пил я меду и вина» — «уж мы пили, уж мы пели» — «счастлив, кто верует в вино».

Некрасов подметил и странное соединение «водки» и культурных интересов и даже свободолюбивых симпатий у Языкова: — «горделивый и свободный — чудно пьянствует поэт» — «за свободу наших дней улыбнись, бурсак, и пей сокрушительную водку!» Пародия использовала даже странное соединение «вина» и «развития», сло́ва уже через несколько лет, в 50-х

годах, сделавшегося «модным» во всей прогрессивной литературе; Языков вспоминал:

....развивалися во мне
две добродетели поэта:
хмель и свобода. Слава им!

Подметил Некрасов и своеобразие словаря Языкова: так его пристрастие к неологизмам: среди поэтов русской романтики Языков наряду с Боратынским и Бенедиктовым занимает одно из первых мест, как творец новых слов и словечек. Некрасов-Стукотин заимствует в своей пародии отдельные выражения Языкова, который воспевал «воевателей былых», не раз повторял «состукивать(ся)»: «состукнуть чаши в лад», «высóко над столом состукивались чаши». Пародия переполнена и составными словами, излюбленными Языковым: «величественно-живо», «почетно-грустен» и др. Пародирует он и такие словообразования Языкова, как «любезно-свежая пора», «наука свободно-шумного житья» «бурно-величавый» и т. д. Не забывает Некрасов и составные слова, напоминающие о 18-м веке: его «доброхотный», «достохвальный», «звонкокопытный» повторяют языковские строки: «достопамятный альбом», «стих достопамятно-живой», «достохвальные заслуги», «скакун звонкокопытный».

Пародия придает юмористические черты даже довольно обычным словам, как «благоуханный» («благоуханный сад» у Языкова), поскольку это слово применено к «устам» «удалого воителя», несомненно не вполне трезвого. Но ведь и Языков говорит о «благоуханных устах» своей «бурно-пьяной» поэзии и даже о себе самом, «чудно пьянствующем поэте».

Даже странные на первый взгляд места пародии Некрасова, как вино — «одуряющее диво» — только подражают Языковской «сокрушительной водке» и «сокрушительному питью». Точно также «души твоей кипучей ширина и глубина» — повторение языковского «многоводной Ниагары ширина и глубина!»

В своей литературной пародии Некрасов дал односторонний, но во всяком случае яркий образ некоторых черт литературного стиля Языкова; конечно, в стороне остались и превосходные лирические пейзажи Языкова и яркие формулировки романтических идей в его ранних стихотворениях.

Блестящие пародии Козьмы Пруткова — легендарного автора, созданного Алексеем Константиновичем Толстым и братьями Жемчужниковыми (при некотором участии сибирского поэта П. Ершова, автора популярного «Конька-Горбунка») показали, что можно дать красочную картину стиля отдельного поэта или даже целого направления при помощи пародии **одного единственного** стихотворения. Примером такой пародии на одно стихотворение является пародия Козьмы Пруткова на стихотворение Бенедиктова «Кудри». Привожу это стихотворение Бенедиктова в сокращении:

Кудри девы-чародейки,
кудри — блеск и аромат,
кудри — кольца, струйки, змейки,
кудри — шелковый каскад!
Вейтесь, лейтесь, сыпьтесь дружно,
Пышно, искристо, жемчужно,
Вам не надобен алмаз:
ваш извив неуловимый
блещет краше всех прикрас.
. . . . . .

Пародия Пруткова звучит так:

ШЕЯ

(посвящается поэту-сослуживцу,
г-ну Бенедиктову).

Шея девы — наслажденье!
Шея — снег, змея, нарцисс;
шея — в высь порой стремленье,
шея — склон порою вниз.
Шея — лебедь, шея — пава;
шея — нежный стебелек;
шея — радость, гордость слава;
шея — мрамора кусок!..
Кто тебя, драгая шея,
мощной дланью обоймет?
Кто тебя, дыханьем грея,
поцелуем пропечет?
Кто тебя, крутая выя,
от косы до самых плеч

в дни июля огневые
будет с зоркостью беречь:
чтоб от солнца, в зной палящий,
не покрыл тебя загар;
чтоб поверхностью блестящей
не пленился злой комар;
чтоб черна от черной пыли
ты не сделалась сама;
чтоб тебя не иссушили
грусть и ветры и зима?

Здесь, действительно, почти весь Бенедиктов (кроме его смелых и интересных неологизмов: не даром поэт Я. П. Полонский, сопроводил два томика его стихов небольшим словариком необычных слов). «Почти весь» Бенедиктов, — так как здесь и обычная для этого позднего романтика «ничтожность» темы и странное несоответствие теме яркого и «огненного» пафоса, и строгая ритмика, и тривиальность связанного с темой «переживания» (здесь — любовные мечты о самом прозаическом «владении» любимой «девой»), и некоторые архаические элементы словаря («драгая шея», «выя»).

Подобными же «подвигами» в области, как литературной так и идеологической и даже политической пародии (чего стоит один «Проект введения единомыслия в России»!) полон томик произведений Пруткова. Но мы встречаем у него и просто примеры «озорной поэзии» (о чем еще несколько слов далее).

3

Советские сборники пародий игнорируют очаровательный и талантливый сборник «Парнас дыбом», выходивший в СССР по крайней мере два раза.[10] Значительную часть его я включил в 1957 г. в мой сборник «русских литературных пародий», а недавно он переиздан целиком, как уже упоминалось, в Канаде. Значительная часть пародий здесь — именно **литературные** пародии; автор (или авторы) сборника объединили пародии в

---

[10] В Харькове и Виннице в 1925 и след. годах, разумеется, в «официальных» советских издательствах. Почему этот сборник сейчас обходится молчанием — неизвестно!

«циклы», дав около 40 стихотворений-вариаций на темы трех известных шуточных стихотворений: «У попа была собака», «Жил был у бабушки серенький козлик» и забытая старая пародия-баллада «Пошел купаться Веверлей»[11]

Циклы пародий-вариаций на определенную тему не новы: таковы «Мотивы русских поэтов» остроумного, но неглубокого пародиста Д. Минаева (1865) или вариации Юлиана Тувима на тему польской песенки в перепеве различных, главным образом, польских поэтов.

В «Парнасе дыбом», пожалуй наиболее удачны именно пародии-вариации на тему «Веверлея». С ними стоит ознакомиться. Мы просмотрим пародии на Ахматову, Брюсова и Маяковского. Ахматовой приписано такое стихотворение:

Всё как прежде: небо лилово,
те же травы на той же земле,
и сама я не стала новой,
но ушел от меня Веверлей.

Я спросила: чего ты хочешь?
Он ответил: купаться в пруду.
Засмеялась я: ах, напророчишь
нам обоим, пожалуй, беду.

Как забуду? Он вышел бодрый
с пузырями на правой руке.
И мелькали крутые бедра
на хрустящем желтом песке. (и т. д.).

Эта пародия построена по тому же методу, что и Некрасовская: — вспомним только:

Всё как прежде... В окна столовой
бьется мелкий метельный снег,
и сама я не стала новой,
а ко мне приходил человек...

---

[11] Мне известен текст этой баллады из воспоминаний моего отца о 80-х годах прошлого века. Напевал ее и один старший современник моего отца. Есть и рисунки известного в свое время карикатуриста Рабуса (60-ые годы?) к тексту баллады.

Я спросила: Чего ты хочешь?
Он сказал: Быть с тобой в аду.
Засмеялась я: Ах, напророчишь
нам обоим, пожалуй, беду.

Но главное, конечно, это не использование только одного или даже разных стихотворений поэтессы, но тонкое использование основных композиционных приемов всей ее ранней поэзии (пародия датирована 1914-м годом!). Здесь и полный отказ от целостного изображения «событий», и переключение всех образов в плоскость лирического переживания, — лирически даются даже «объективные» данности внешнего мира («...я не знала, что часто голова тяжелее ног»), и субъективная ответственность за объективный мир («О, прости, — я не знала...»), и последовательное развитие лирической темы (всегда любовной), и иррациональность переживаний вплоть до неясных «чаяний», предчувствий («засмеялась я: напророчишь...»), и неточные рифмы (прошли :: лик, темно: :: ног и т. д.). Неизвестный автор дал в пародии блестящий анализ стиля Ахматовой.

Удачна в «Парнасе дыбом» и пародия на Брюсова, поэта отнюдь не последовательно-одноликого. Пародия передает только один из его ликов — лик классициста среди символистов, поэта с «тяжелой лирой»:

СОНЕТ

Царь всех царей земных, властитель Веверлей,
торжественно грядет к священному Мериду.
Царь плавать не умел. И пару пузырей
дает ему с собой владычица Изида.

И тело обнажив под сенью пирамиды,
он погрузился в пруд, творя молитву ей.
Но мудрая глава ног царских тяжелей —
осталась голова в объятьях Нереиды.

Той вести гибельной довериться не смея,
спешит на озеро царица Доротея,
но, к озеру придя, окаменела вдруг.

С тех пор прошли года тягучей вереницей.
Но до сих пор хранит песок скелет царицы
и над водою тень костей берцовых двух.

Не будем выписывать параллелей («Сонет» тонально созвучен знаменитому «Ассаргадону» Брюсова). Но прекрасно передана и несколько тяжеловесная торжественность — Веверлей — «царь всех царей земных» — столь многих Брюсовских стихотворений, и преображение юмористических деталей в возвышенные: не только «пару пузырей» царь получает от богини Изиды, но и — самая остроумная деталь — основание гибели героя — «мудрая глава ног царских тяжелей», и элементы «научности» в словаре: египетское озеро Мерид, элементы мифологии, и не ноги, а «берцовые кости». Но, вероятно, намеренно даны — в поэзии вообще, и в частности у Брюсова неизбежные — «неточности»: в египетском озере Мерид под владычеством египетской богини Изиды почему-то хозяйствует греческая Нереида! Это, вероятно, тонкая насмешка автора пародии. Вряд ли оправдано только большое количество неточных рифм (Мериду :: Изида, вереницей :: царицы и, пожалуй также вдруг :: двух), у Брюсова их немного.

Со значительным элементом легкой насмешки написана пародия на Маяковского в стиле его «балладических» стихотворений-рассказов.

Вы заплесневели,
как какая-то Балаклея,
о, чтоб вас разорвало,
чтоб!
А я лучше буду
кричать про Веверлея,
и про то,
как он утоп.
Солнце палило в 3000 дизелей,
ставило ва-банк на какую-то
сумасшедшую игру.
И тогда Веверлей из дому вылез,
и затрюхал на пруд.
Вытер запотевшие красные веки
и когда,

наконец,
дошел,
с благодушием, странным в рыжем человеке,
вдруг пробасил:
«хорошо»...
Скинул рубаху, штаны и прочее
и в холодную воду
скок.
Будьте любезны, убедитесь воочию,
что голова тяжелее ног.

И когда проходят «миллионы лет» —

И всё торчат Веверлеевы ноги
и Доротеин скелет.
Душу облачите смертным саваном,
лягте живые в гроб.
Я, иерей, возглашаю:
слава им,
кто окаменел
и утоп.

Это, конечно, ранний Маяковский. Здесь использованы прежде всего стилистические и композиционные приемы Маяковского; знатока ритмики в авторе пародии показывает ее ритмическая структура, но потребовал бы много места детальный анализ; можно отметить только, что средняя часть стихотворения (начиная со слов «Вытер запотевшие красные веки») — пример «строгого» построения стиха «по Маяковскому» (чередуются ритмические единицы с 4-мя и 3-мя ударениями). «Свободнее» построение вступительных строк и заключения. Типичны неточные и неожиданные рифмы: дизелей :: вылез, игру :: пруд, дошел :: хорошо, прочее :: воочию, пошли :: насолил, брызжет :: рыщет; есть и составные рифмы, ценившиеся Маяковским: реже :: где же, ключ и :: ручек. Типично в самом начале совершенно неожиданное «Балаклея» и построение фразы: «О, чтоб вас разорвало, чтоб», обращения к читателю и весь словарь стихотворения: вульгаризмы — утоп, затрюхал, здóрово, сажени режет и т. д. и рядом с этим архаизмы — облачите, и даже элементы церковного языка («я, иерей, возглашаю»...), и особенно типично обозначение поэтического творчества словом: «кричать», заменяющим у футуристов классические

«петь», «думать», «писать»: — «а я буду кричать про Вавер-лея». Встречаем и игру словами, — здесь различными значениями слова «пойти»: «пошел ко дну... и даже пузыри не пошли». Характерна игра неожиданными деталями: «вспотевшие красные веки», «с благодушием», «рыжий» Веверлей и т. п. И типичны наряду с этим иронические строки о злорадном «боге» («здорово насолил»), пафос заключения — своего рода «протест» против людских страданий, и особенно обличительный пафос вступительных строк: это («вы заплесневели»... «а я лучше буду кричать про Веверлея») как будто аналогия Горьковскому:

а вы на земле проживете,
как черви слепые живут:
ни сказок про вас не расскажут,
ни песен про вас не споют.

4

У нас нет места для анализа дальнейших старых и новых пародий. Нужно только упомянуть, что в русской литературе было немало талантливых пародистов. Кроме уже упомянутых, (Некрасов написал около 10 пародий), стоит назвать еще Николая Полевого, романтика, удачны его пародии на прозу Гоголя (или вернее прозу так наз. «натуральной школы», для которой повести Гоголя послужили образцом), Н. Добролюбова, поэтическое дарование которого проявилось почти-что только в пародиях, в новое время А. Измайлова, пошловатого Е. Венского и антипатичного, но остроумного Буренина, писавшего под различными псевдонимами.

Не следует забывать, что пародии рассыпаны в произведениях классиков русской литературы: Пушкин писал и прямые пародии, напр. вместе с Языковым пародии на «апологи» — четырехстрочные басни-эпиграммы И. И. Дмитриева; к пародиям близки например и стихотворения Ленского «Куда, куда вы удалились»[12] и такие места «Евгения Онегина», которые резко противоречат всем основам Пушкинского стиля, как напр. ха-

[12] Ф. Савченко показал, что в «стихотворении Ленского» почти каждая строка созвучна стихотворениям французских «предромантиков» (Жильбера, Мильвуа, Шенье и т. д.) и их русских подражателей (Милонова и В. Туманского).

рактеристика любви Ленского к Ольге, «его (Ленского) любви младую повесть» по словам Пушкина:

Ах, он любил, как в наши лета
уже не любят, как одна
безумная душа поэта
еще любить осуждена.

и т. д. на протяжении трех строф (11, 20-22).[13] Лермонтов пародировал баллады Жуковского («Старый рыцарь»); Достоевский вкрапил в «Бедных людей» приписанные коллеге Макара Девушкина, Ратазяеву, пародии на Гоголя и на авторов романтических повестей, в «Бесах» — свои собственные злые пародии на Тургенева-Кармазинова и т. д. Не забудем и стихотворений капитана Лебядкина, это по большей части пародии на популярные тогда стихотворения И. Мятлева. И еще в произведениях Горького встречаем приписываемые действующим лицам пародии, напр. в «Дачниках» пародию на стихотворения Бальмонта, вложенную в уста «декадентки» Калерии.

Стоит отметить, что пародии, как и эпиграммы, были в русской литературе долгое время по преимуществу средством, орудием литературной борьбы. Но мы встречаем пародии и в первоначальном смысле слова: подражания чужому стилю без какого-либо намерения этот стиль принизить, указать на его недостатки, так сказать, с «обличительными» целями. Это например «дружеские пародии». Мы встречаем их в письмах Тургенева Фету, стихотворения которого Тургенев ценил, но как реалист, противник «импрессионистического» стиля Фета намеренно преувеличивал «бессвязность» их композиции и их непонятность.[14] Характерны пародии Д. Минаева на Некрасова,

---

[13] В «Евгении Онегине» много мест, которые в каком-то смысле не являются словами поэта самого. Это своеобразное применение так называемой «непрямой косвенной речи» (это мало удачное обозначение следовало бы заменить переводом нем. или франц. термина, например «пережитая чужая речь»).

[14] Тургенев был противником «импрессионистических» приемов литературного стиля и особенно упрекал в употреблении таких приемов Льва Толстого; в то же время, в письмах Я. П. Полонскому Тургенев, кажется, первый в России выступил на защиту французского импрессионизма в живописи: ранние работы импрессионистов появились в Париже на выставках уже в 70-х годах.

идеологическим попутчиком которого он сам был. Пародии Минаева только подчеркивают реалистическую прозу в стихах Некрасова, таково, например, Минаевское «Осеннее Петербургское утро» («по Некрасову»). Приведу несколько строк:

Ночь зловещую, гнойную, серую
гонит утро... За дело пора...
День поплелся обычною мерою,
дышит язвой сибирской, холерою
воздух города... Злость и хандра!

. . . . . .

А на улице жизнь начинается,
будни шумного, тусклого дня.
Вот с конвоем чуть-чуть подвигается
дюжий парень, цепями звеня;
вон модистка помчалась с картонкою,
вон в квартал забулдыгу ведут
на веревке с какой-то бабенкою...

. . . . . .

И только последние строки пародии Минаева иронически освещают «тенденциозность» Некрасовской поэзии:

В этом городе смерти, калечества,
где недуги и бедность сильны,
чтоб плодилося вновь человечество,
повивальные бабки нужны.

Встречаем мы и «автопародии», пародии на собственный стиль, в которых уж, конечно, никакого отрицания своего собственного стиля быть не может. Такова например «автопародия» Каролины Павловой «Везде и всегда». И. И. Панаев в начатой «натуральной школой» в 50-х годах полемике против «искусства для искусства» упрекал поэтессу в злоупотреблении изысканными рифмами (в этом К. Павлова походила на немецкого поэта Фрейлиграта). Павлова ответила «автопародией», своеобразной поэтической игрушкой «Везде и всегда»; приведу отрывки:

...всё думу слал к подруге милой
везде я и всегда.

Везде влачил я, чужд забавам,
как цепь свою мечту:
и в Альбионе величавом
и в диком Томбукту...
и там, где снится о гяуре
разбойнику в чалме,
и там, где пляшет в Сингапуре
индийская альмэ...
когда я в ложе горе Теклы
делил, как весь Берлин,
когда глядел на пламень Геклы
задумчив и один...
на бурном море без компаса,
в лесу, в ночной поре,
в глухих степях, на Чимборасо,
в столице Помаре...

Эти примеры показывают, что вряд ли возможно рассматривать все и всякие пародии как произведения одного и того же поэтического жанра, так сказать, «стричь их под одну мерку».

5

Но уже в таких сборниках пародий, как «Сочинения Козьмы Пруткова», сборник Измайлова или «Парнас дыбом» встречаем стихотворения или прозаические отрывки, вовсе не открывающие нам никаких «историколитературных» перспектив.

Это, например, «пародии» на отдельные стихотворения поэтов. В «Парнасе дыбом» такова пародия на «Незнакомку» Блока. И в ней подмечены отдельные необычные обороты в поэзии Блока; но в общем это только «вариации на тему» и стихотворение «Парнаса дыбом» созвучно не поэзии Блока в целом и даже не какому-либо ее отдельному периоду, а только одному единственному стихотворению; таковы строки:

там каждый вечер в час назначенный
среди тревожащих аллей
со станом, пузырями схваченным,
идет купаться Веверлей...

И медленно, пройдя меж голыми,
заламывая котелок,
шагами скорбными, тяжелыми
ступает на сырой песок...

Вздыхая древними поверьями,
шелками черными шумна,
под шлемом с траурными перьями
идет на пруд его жена...

И ноги милого склоненные
в ее качаются мозгу,
и очи синие, бездонные
цветут на дальнем берегу...

Таковы же пародии «Парнаса дыбом» на Бальмонта и особенно на Гумилева (впрочем не на одно, а на три его стихотворения) и на ряд иностранных поэтов и писателей; таковы же некоторые пародии Козьмы Пруткова, например, на одно единственное для Полонского мало характерное стихотворение или пародии на Гейне (впрочем «русского Гейне», значительно изувеченного переводчиками). Знаменитый «Юнкер Шмидт» Пруткова, также пародия на одно стихотворение Гейне; до сих пор оно не было найдено исследователями. Теперь оно найдено. Но это стихотворение не характерно для поэзии Гейне в целом. «Юнкер Шмидт» Пруткова повторяет тематику именно этого стихотворения.

Вянет лист, проходит лето.
Иней серебрится...
Юнкер Шмидт из пистолета
хочет застрелиться.

Погоди, безумный, снова
зелень оживится!
Юнкер Шмидт? честное слово,
лето возвратится.

Конечно, иногда и пародия на одно единственное стихотворение дает достаточно указаний хотя бы на какую-либо глубоко характерную черту стиля данного поэта. Такова, например,

пародия Измайлова на Бальмонтовское «Я видел Толедо, я видел Мадрид»:

Я плавал по Нилу,
я видел Ирбит!
Верзилу Вавилу бревном придавило,
Вавила у виллы лежит.

Мне сладко блеск копий
и шлемов следить.
Слуга мой Прокофий про копи, про опий,
про кофий любил говорить... (и т. д.)

Это удачная пародия на «евфонические», звуковые приемы Бальмонта!

Но если мы прочтем гениально-нелепую «эпиграмму» Пруткова:

— Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу —
«Люблю», — он отвечал: «я вкус в нем нахожу»,

то мы можем сказать, что это просто прекрасный образец **«шуточной»** или «озорной поэзии», весьма далекой от литературных пародий. «Озорной поэзии» отдал дань А. К. Толстой (многое не напечатано[15]) и Владимир Соловьев (также прекрасный пародист), ими наполнен целый томик его «Юмористических стихотворений; но «озорная поэзия» была весьма распространена в частной жизни русских интеллигентов, мы знаем об «озорных стихотворениях» отца Андрея Белого, профессора Н. В. Бугаева. Их писали для юбилеев, маскарадов, даже в тюремных заключениях! И часто они повторяют рифмы, формы, выражения классических произведений русской поэзии: таковы и совершенно ненужные «приложения» канадского издания к «Парнасу дыбом». Приведу строфу такого же «озорного стихотворения», написанного в 20-х годах в Киевском Чека и изображающего состав заключенных:

Там было несколько чекистов
и комиссаров — образцы

---

[15] Кое-что было напечатано в томе «Большой Библиотеки поэта» (около 1938 г.), но в виду «неприличия» некоторых мест в «Полном собрании сочинений» (1964 г.) этих стихотворений уже нет.

«примазавшихся» коммунистов,
прохвосты, воры, наглецы,
и генералы отставные,
и спекулянты продувные,
там было несколько девиц
и вовсе неизвестных лиц.
Субъект по-польски говоривший
там также был — врагам на страх,
там был весь испитой, в угрях,
юнец, цинически остривший
о «наркомземе», он давно
сам там, что вовсе не смешно.[16]

Это подражание «Евгению Онегину», конечно, не «пародия»! И наслаждение, доставляемое читателям или слушателям «озорными стихотворениями» вряд ли можно назвать «эстетическим»: это попросту удовольствие доставляемое неожиданностями и граничащее с наслаждением некоторыми произведениями «маннеризма» или «парадоксальными» темными и непонятными литературными произведениями, по крайней мере некоторыми из них.

Есть, конечно, и подражания иного типа: упражнения в стилизации. О самом понятии стилизации стоило бы сказать много. Напомню о роли стилизации в русском символизме. Примечательно, что Блок в ранние годы много времени посвятил таким упражнениям, которые в его 12-титомном издании (30-х годов) заполнили почти целый том (4-ый). Только очень немногое Блок принял в свои первые сборники. Таково, например, стихотворение на мотивы ранних (1817-го года) «элегий» Пушкина:

Медлительной чредой нисходит день осенний,
медлительно крутится желтый лист,
и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист —
душа не избежит медлительного тленья.

Так, каждый день стареется она,
и каждый год, как желтый лист кружится,

---

[16] Напомню, что слово «наркомзем» было синонимом «вывести в расход» и означало таким образом расстрел.

всё кажется, и помнится, и мнится,
что осень прошлых лет была не так грустна.

Один знаток русской поэзии, которому я как-то прочитал это стихотворение и спросил его мнение об авторе, сказал: «Поэт пушкинского времени. Не знаю, кто».

Подражания разного типа — сочувственные и полемические — весьма многочисленны и в русской и в европейских литературах. Чтобы не говорить только о русских «подражаниях» (вроде трагедий в античном стиле Анненского и Брюсова), напомню об использовании сюжетов античных трагедий в новой европейской литературе: здесь найдем и «Ореста» Вольтера, Сартра и Ануи, и «Амфитриона» Мольера, Драйдена, Клейста, Жироду (который насчитал 37 ему предшествовавших обработок сюжета и поэтому назвал свою пьесу «Амфитрион 38-ой») и немецкого экспрессиониста Георга Кайзера, и «Геркулеса» Виланда, Ведекинда, Эзры Поунда и Дюрренматта, «Медею», «Федру» и т. д. А сколько переработок сюжетов новой литературы: от сюжетов Шекспира и Мольера до Шиллера и Гоголя. Поэтика подражаний, переработок и «литературных полемик» против старых сюжетов требует исследования. Для такого исследования некоторый материал дают литературные пародии, если только с ними не смешивать различные типы комической литературы, с литературными пародиями ничего общего не имеющие.

Гейдельберг *Дм. Чижевский*

Памяти Георгия Иванова

1

Всё в прах обратится, исчезнет,
Взорвется, провалится в сон.
И я от такой же болезни
Наверно умру, как и он:
От рака или от простуды,
Положенных нам по судьбе...
Почти отвращения к людям
И жалости к ним и к себе.

2

Каникулы, солнце, Савойя...
Шагаю, цветок теребя.
Но что же мне делать с собою,
Куда убежать от себя?
Укрыться от собственной тени,
Что вместе со мною пришла,
Закрыла луга и селенья,
На самое небо легла?!

3

Я ем и пью, хожу в редакцию,
Пишу газетные статьи.
А между тем, живу в абстракции,
В нирване, в полу-забытьи.
Живу в тупом оцепенении,
Следя в непрошенной тиши

За судорожным сердцебьением
Моей затравленной души.

4

Мы все стареем понемногу:
Один смешней, другой страшней.
Не верим в Бога, зубрим иогу
Державной осенью своей.
Мы все стареем как попало, —
И кто же мог предположить,
Что мало так осталось жить,
До ужаса, до смеха мало.

К. Померанцев

ЗАМЕТКИ И. А. БУНИНА*

Чудовищная нежная полнота, лицо бритое, белое, точно кормилица. Купец. Оч. умен. Насмешливый, с густыми усами.

Рыжий, огромный. Похоже, что ему всегда жарко.

Большой, в крылатке, седая борода во всю грудь, губастый, губы всегда мокрые.

Всегда веселый, гордый — от презрения ко всему и ко всем.

Грузный, хохочет лестницей.

Сидит, как огромный истукан, с длинным животом, расставив ноги, — колени как два полена. Невозмутимо поводит глазами.

Высокий, красивый. Очень глупый старик, левый барин.

Всегда цитирующий Щедрина.

Уездный или губернский доктор. Старый сюртук, пахну-

---

* Эти заметки И. А. Бунина присланы нам из его архива Л. Ф. Зуровым. РЕД.

Это заметки, характеристики, наброски, приведенные И. А. в порядок, — для второго тома «Жизнь Арсеньева». До получения Нобелевской премии И. А. мечтал написать второй том этой книги. Среди беглых зарисовок — не только ушедшая в прошлое литературная Москва, но и парижские литераторы. *Л. Зуров.*

щий медью. Галстучек (черный, готовый) высоко влез сзади на пожелтевший стоячий воротничек, под ним медная, покрасневшая от времени запонка. Очень весь запущенный.

Тоже весь запущенный, запакощенный, давно не стриженый, весь в лохмах бороды и головы. Называет себя семидесятником. В голове всегда мутная дурь. Раздеваясь в прихожей, разматывая (как попало) шарф, махнул им и взъерошил сзади волосы еще больше — так и вошел в столовую (жалкий журфикс у его старого приятеля, писателя-народника). От очков кажется еще глупее. Уходя, не умолкая говорит в прихожей, сует ноги в чужие калоши — ушел в чужих и разных.

Всю жизнь имел один престольный праздник — Татьянин день.

Надо выйти (одному из распорядителей) на эстраду только затем, чтобы сказать, что такой-то участник этого литературно-музыкального вечера по болезни не мог приехать: выйдя, облился горячим потом от волнения, страха, спутался...

Банкет. Все тесно столпились у стола с закусками и водками, поднимая и просовывая руки между плечами друг друга за рюмками и один за другим стали откидывать головы, глотая водку, попадая затылками в лицо или в руку с рюмкою заднего.

Банкет. Нарочито неспеша поднялся, постучал с печальным и скромным видом в край тарелки вилкой и решительно, вкось дернул левым плечом:

— Господа!

Всё сразу смолкло, зашикали на лакеев и замерли в неумеренном (притворном) ожидании. Он склонил голову, глядя в стол, будто что-то крепко думая, не спеша переставил бокал с вином слева направо, потом вдруг взял его и с дерзкой торжественностью вскинул лицо:

— Господа!

Речь оказалась совершенно ничтожной.

После банкета, поздней зимней ночью.

Страшно пьян, несется на разогнанной извозчичьей кляче, на раскатывающихся санках с ледяной собачьей полостью, поминутно чувствует, как сама собой падает голова на грудь и стремительно обрывается сердце и сознание. И, справляясь, кричит:

— Пошел! В Стрельну! И выпьем там на ты! Ты замечательный извозчик!

— Ну-с, господа, благословимся еще по единой!

— **Presente medico nihil nocet!**

Московский букинист. Держится всё время с напряженнейшим спокойствием. Страшная точность скупой неприязненной речи, изнурительная логика.

Старик, читает одним глазом, прищурив другой.

Вечный протестант, «борец», неряха, грязный, лохматый, выродок умственно, душевно и телесно, всегда возбужденный дурак.

Страстно и бестолково, косноязычно говорит с эстрады, путается, оговаривается: «что же кашается»... (касается).

Журфикс в Москве (интеллигенция). Гости с морозу вытирают усы, бороды, близоруко протирают очки свежими носовыми платками.

Некоторые в сюртуках, душно пахнущих выхухолью (от пальто на выхухоли).

У старого, морщинистого знаменитого профессора в складках старых ботинок красноватая пыль (от старых калош).

Старик, все ищущий к кому бы прицепиться, поговорить.

«Маститый» писатель, «передовой». Нечто совершенно противоположное искусству. Самоуверенный, наставительный, наиграл себе суровый вид.

У него в кабинете гипсовые бюстики Шевченко, Толстого, портреты Герцена, Чернышевского...

Большая белая мягкая борода. Честолюбив ужасно, помешен на счастьи быть на всяких общественных собраниях председателем. К собранию подстригается, молодеет.

Наслаждаясь, строго встает, звонит:

— Позвольте объявить заседание открытым. Слово предоставляется...

Вечеринки времен моей молодости. Поют: «По речке по быстрой становой едет пристав...» — «На старом кургане в широкой степи прикованный сокол сидит на цепи...»

Сокол — народ. И кто-то этого сокола **приковал к кургану.** (Подчеркнуто И. А. Буниным. **Л. З.**).

Известный доктор. Большой, грубый лицом. Груб в разговоре. Гордится своей грубостью и топорностью лица, сложения.

Горбуны ходят, точно гордясь горбом.

Писатель похож на сельского учителя. Навязался читать свой новый рассказ, читает. Все стараются подсмотреть насколько толста рукопись. Чтение минут через пятнадцать всех приводит в оцепенение, настраивает против чтеца. Глядят (неприязненно) на его левую руку с папиросой, — как она фальшиво-небрежно стряхивает пепел, — на неловко перекрещенные под стулом ноги в растоптанных ботинках, на толстые уши, на то, что он давно не стригся, на наклоненное красное простонародное лицо.

Мучительно чувствуя, что все уже ждут не дождутся конца его совершенно никому не нужного произведения, он, читая, сам заглядывает, сколько еще осталось страниц — чтобы все видели, что уже немного. Счастливы только те, что успели занять кресло, утонуть в нем, курить и закрывать глаза. И вдруг — нежданное счастье: кончил! Замолк и некоторое время всё еще сидит, согнувшись, глядя в стол, потом говорит, фальшиво усмехаясь:

— Ну-с, господа, жду суда строгого и нелицеприятного...

Молчание. Каждый выдумывает, что бы сказать, как бы вывернуться, отыграться на пустяковой критике. Наконец кто-нибудь решается: «Рассказ, по моему очень сильный... Только я позволил бы себе сделать автору несколько замечаний. Я, например, не совсем уловил, почему именно Шура, уходя от любимого человека, порывая с ним, так сказать, идейно...»

Клише: Сын бедняка... Отдали в ученье к сапожнику... И отец драл и сапожник драл... На последние гроши тайком покупал и с жадностью поглощал по ночам при свете огарка лубочные книжечки... Бежал от сапожника... Перепробовал все профессии... К революции примкнул с юности...

Серо-железные волосы, того же цвета большие брови над серыми впалыми глазами и усы (подбородок бритый). Лицо очень худое, кости скул — **как ключицы.** Впалая грудь, впалый живот. Сух, серьезен, голос однообразный.

Можно сделать метранпажем.

В косоворотке (на даче), полный, сытый, розово-матовое моложавое лицо. Самоуверен, самодоволен, во всем очень определенных мнений.

Спор, который нет сил слушать: оба страшно логичны.

Очень чистый, худой, высокий старик. Когда ест, надевает золотое пенсне.

Священник в черной соломенной шляпе.

Небольшой, гнутый, скромно и чисто одетый старичек, посещающий все публичные лекции, литературные вечера, собрания и т. д. Садится в первом ряду, — плохо слышит, — всё слушает удивительно внимательно, подняв к уху ковшик ладони. Все слушают, делая вид, что слушают, думают о другом, о своем. Один он действительно слушает.

Писатель прочитал (на литературном вечере), антракт, хочет повидать в зале знакомых — ловит и не пускает какая-нибудь старуха («ваша страстная поклонница») или морда психопатка или полоумный старик, говорящий чепуху, ненужное, длинное...

Москва, зима, очень людно, прохожие, проезжие (напр., на Арбате). Всем известный и всеми почитаемый «передовой» общественный деятель, крупный, большой мужчина в шубе, в каракулевой шапке, в золотых очках, с палкой с серебряным набалдашником, как у протопопа, и сам похожий на протопопа, сидит в низких санках на извозчике так, как точно его тащут по снегу в этих санках: как неживого.

С холеной, красивой, молодой еще бородкой, в полном расцвете сил, с блестящими глазами, очень живыми и всегда готовыми к веселой, дружелюбной улыбке, в камергерском мундире, который своими нашивками на груди и ниже похож на ребра скелета.

Старик князь с коричневым лицом, с прокуренными усами, всегда и всех ругает — все негодяи, с. д. и т. д.

Облезлый желтый мех старого пальто, его воротника, такая же шапка. Вернулся от обедни в морозный солнечный день, глаза полны от мороза светлыми слезами, огненные потолстевшие (тоже от мороза) уши, желтая борода и желтые прокуренные усы облеплены ледяными сосульками.

Весь металлически пахнет зимой, Москвой.

Не видались лет пять. Поразило, как у нее расширились, огрубели кости лица.

Ив. Бунин

БЕСЕДЫ С Г. В. ПЛЕХАНОВЫМ В АВГУСТЕ 1917 Г.*

В качестве одной из «икон» революции — Плеханов получил особое приглашение для участия в Государственном Совещании в августе 1917 г. в Москве. Однако, когда с Р. М. Плехановой он приехал из Петербурга, его никто не встретил и не позаботился обеспечить для него приют. В книге «Встречи с Лениным» я писал, что узнав об этом, я предложил ему жить во время Государственного Совещания у нас. Розалия Марковна, как человек практичный, решила сначала посмотреть подходит ли Плеханову наше жилище: а вдруг это какое-нибудь логовище или неподходящая для Георгия Валентиновича «меблирашка»? Придя к нам, она увидела, что им у нас будет жить очень удобно. Мы имели в это время действительно превосходную, хорошо обставленную квартиру, так как в годы до войны и я, и жена (артистка в оперетке) зарабатывали очень много (стыдно даже сказать — Сытин платил мне 2000 рублей в месяц!). Квартира наша состояла из пяти комнат; из них три на улицу, гостинная (т. н. «синяя комната»), столовая, комната жены. «Синяя комната» была хорошо известна нашим знакомым — в ней приходилось жить и Л. О. Дан, и С. Н. Прокоповичу, и полковнику Рябцову[1] и многим другим.

На другой стороне квартиры, отделенной корридором и выходящей окнами на двор, моя спальня и большая комната с моей библиотекой. Внизу ванная, кухня, комната для прислу-

---

* Эта рукопись покойного Н. В. Вольского (Валентинова) была им прислана давно нескольким его друзьям в Нью Йорке. При жизни Н. В. ее печатать не хотел. Мы печатаем ее с экземпляра, переданного нам Д. Н. Шубом. РЕД.

[1] Командующему сопротивлением против большевиков в Москве в октябре 1917 г.

ги. Когда к нам приехали Плехановы, жена перебралась в мою комнату, я в библиотеку, всю остальную часть квартиры — т. е. три комнаты — мы отдали в полное распоряжение Плехановых, получивших таким образом помещение, на которое они никак не рассчитывали. На это обстоятельство обращаю внимание потому, что благодаря ему — Плехановы смогли принимать множество их навещавших людей, и например, три раза устраивать собрания московской группы «Единства» — когда приходило до 30 человек. Для них из всех комнат собирались стулья. Для свидания с Плехановым приезжали в Москву какие-то его родственники, в их числе, кажется, один из его братьев. О последних, хотя это было для меня интересно, я остерегался спрашивать Плеханова, чтобы не напомнить ему о склоке, учиненной мною в Женеве в связи с его братом — бывшим в Моршанске исправником (об этом я писал в «Встречах с Лениным»).

Плеханов, в первые же дни, когда стал жить у нас, захотел узнать какую политическую позицию я занимаю.

«Нос в повести Гоголя ходил по Невскому — ни к кому не прислоняясь. Такое положение мне кажется довольно неестественным и неудобным, а между тем, мне сказали, что вы заняли именно положение гоголевского Носа, ни в тех, ни в этих, а сами по себе. Что вас отделяет от меньшевиков?»

На этот, казалось бы, естественный и простой вопрос я Плеханову не мог ответить со всеми нужными для этого объяснениями. Вот по какой причине. Месяца полтора до этого я был вызван в секретариат московской группы меньшевиков и подвергся «допросу» со стороны Анны Адольфовны Дубровинской (жены покойного ультра-ленинца Иннокентия) и ее помощницы Розенберг (не нужно смешивать эту глупенькую девицу с ее сестрой — умной Кларой Борисовной, «мадам Ролан», как я ее называл, салон которой в 1905-1906 г.г. служил местом встреч людей подполья с писателями, артистами, общественными деятелями всех направлений). Эти две особы, позднее перекочевавшие в большевистский лагерь, меня обвинили в том что:

1) В статьях и речах я сею недоверие к революции. 2) Настаиваю на необходимости какой-то, отзывающейся реакцией «твердой власти». 3)Держу о сепаратном мире странные речи,

не имеющие ничего общего с Циммервальд-кинталевскими установками.

Не буду говорить о моем споре с Дубровинской, скажу только, что я выругался и заявил, что после этого разговора никаких отношений с меньшевиками иметь больше не желаю. Обо всем этом я не мог откровенно сказать Плеханову. Во-первых, потому, что говоря о ком-то (забыл о ком!), Плеханов категорически заявил, что всякое недоверие к революции есть свидетельство о контрреволюционном, т. е. недопустимом настроении человека, это недоверие высказывающего (Плеханов, однако, забывал, что именно в брюзжании на революцию его и обвиняли меньшевики). Спорить по этому поводу с Плехановым я не хотел и считал бесполезным. Во-вторых, я действительно стоял с конца 1916 г. за сепаратный мир, но об этом Плеханову говорить не мог. Самая мысль о сепаратном мире его приводила в крайнее раздражение. Сепаратный мир он называл «гнуснейшей низостью». Я предпочитал об этом молчать. Зачем моему гостю делать неприятности, давать ему понять, что он живет у человека, способного одобрить «гнуснейшие низости»? Принуждаемый по указанным мотивам к умолчанию — я, разумеется, не мог рассказать Плеханову все детали моего спора с Дубровинской и Розенберг. Сказал что-то туманное, из чего Плеханов заключил, что меня от меньшевиков больше всего отделяет вопрос о «твердой власти».

«Но если так, воскликнул Плеханов, вам нужно не следовать гоголевскому Носу и вступить в нашу группу «Единства». Необходимость твердой революционной власти, способной действовать, а не болтать, составляет один из **основных** пунктов ее платформы».

Считая, что меня от «Единства» мало что отделяет, Плеханов, когда должна была придти к нему в первый раз московская группа «Единства», позвал меня на их собрание. «Будьте не гостем, а равноправным членом нашего совещания». Я всё-таки счел нужным от присутствия на этом совещании уклониться и в этот день вечером из дома ушел. На следующий день это дало повод для большого разговора с Плехановым.

«Сначала, когда все собрались, а вы, несмотря на мое приглашение, не пришли — я несколько удивился: почему вы нас бойкотируете? А потом, посидев часа три с товарищами из

«Единства», присмотревшись к ним и послушав их, скажу откровенно — вы ничего не потеряли, не придя на собрание. Московские «единцы» люди превосходные, только узки и серы. Сравнивая их с составом наших социал-демократов, с которыми обычно приходилось иметь дело в Женеве, в эмиграции — нахожу, что московские «единцы» калибром много меньше. Несмотря на это, они всё-таки занимают ту политическую позицию, какую должен иметь в нынешних условиях настоящий марксист, человек, усвоивший взгляды научного социализма. Вот чем они отличаются от меньшевиков, идущих за Даном, Мартовым, Чхеидзе, Церетели. Позиция меньшевиков — вредная. Они не желают видеть, что Россия гибнет, а «единцы» это видят, понимают, чувствуют. Это уже их делает на голову выше меньшевиков. По отношению к меньшевикам я оказался в печальном положении, которого, право, не заслужил, — вроде курицы, которая вывела утят, поплывших от нее по болоту. Меньшевики от меня отшатнулись в первую революцию, а теперь вторично меня предают. Сейчас есть только две возможные позиции — одна, которую защищаю я, а за мною товарищи из «Единства», и другая — ее занимает Ленин. Моя теоретическая позиция ясна даже для очень близоруких людей и я не схожу с нее около 40 лет. Теоретическая позиция Ленина тоже ясна: это словесный марксизм в соединении с бланкизмом, ткачевщиной, бакунизмом. Никакой третьей промежуточной позиции нет, а меньшевики на это пустое место встали и превратились в полуленинцев».

Говоря о меньшевиках, Плеханов с особенной резкостью относился к Церетели. Он делал это с таким раздражением, что меня, хотя Церетели совсем не был моим героем, — просто коробило. У меня даже промелькнула мысль — уже не завидует ли Плеханов славе Церетели, в то время притягивавшего к себе внимание несомненно больше, чем Плеханов. После одной из резких фраз Плеханова по адресу Церетели, я не выдержал и заметил:

«Георгий Валентинович, к Церетели вы очень несправедливы».

Это замечание прямо вздернуло Плеханова на дыбы.

«Обижать Церетели — не входит в мои задачи. Его называют талантливым выразителем взглядов нынешних меньшеви-

ков и я, делая **уступку** общественному мнению, тоже называю его талантливым деятелем. Пуст будет так. Престиж Церетели, как видите, внешне поддерживаю, это очень хорошо, когда нас стариков заменяют молодые товарищи. Но я всё-таки не вижу, в чем талантливость Церетели? Достаточно ли он образован, чтобы в наше ответственное время играть роль, которую, видимо, он себе отводит? Я интересовался узнать — в чем и когда Церетели проявил свои теоретические познания — никто не мог на этот счет мне ничего указать. За всю жизнь он не написал, кажется, даже малюсенькой статьи. Никакой теоретической серьезной марксистской подготовки у него, повидимому, нет. Можно ли теперь без теоретического компаса плавать на российском океане? **А Церетели плавает и паруса его корабля раздувает только Циммервальд-Кинтальский ветер и большие аплодисменты, которыми его награждает невзыскательная аудитория.**[2] На Государственном Совещании мы видели эфектную сцену — выразитель торгово-промышленных кругов — Бубликов, под гром аплодисментов пожимал руку Церетели — выразителю взглядов меньшевиков. С Бубликовым я после этого говорил, он ясно отдавал себе отчет в смысле и значении этой политической сцены. Но понимал ли ее Церетели — в том имею все основания сомневаться. Продуманности у Церетели нет. Есть только **кавказская декламация** (точно, **Н. В.**), а с нею одною нельзя понимать ход исторических событий и им управлять. Если из молодых общественных деятелей выдвинувшихся за последнее время взять, например, Савинкова и Церетели, то скажу вам, — за одного Савинкова, понимающего, что Россия гибнет и что нужно для ее спасения, — я десять Церетели отдам. Понимания того, что нужно делать — у него нет».

Будучи у нас, Плеханов написал три статьи, одну на тему — Россия гибнет, другую — о значении Московского Совещания и третью — о Церетели. У меня под руками нет сейчас ни одной из них, не помню и их названий, но хорошо помню, что в появившейся в «Единстве» статье о Церетели не было и сотой доли тех язвительных суждений, которыми Плеханов его осыпал. Особая злоба, с которой он о нем отзывался, для меня по сей день непонятна. Не было ли в ней какого-то личного момента?

---

[2] Записано стенографически точно. *Н. В.*

Вечером в тот день, когда Керенский произнес речь «о цветах души» (см. об этом мою статью в «Соц. Вестн.», октябрь, 1953 г.). Плеханов мне мрачно заявил, что никогда он не мог предположить, что Керенский захочет поставить себя в такое смешное и жалкое положение.

«Кто такой Керенский? Ведь он не только русский министр, а глава власти, созданной революцией. Слезливый Ламартин был всегда мне противен, но Керенский даже не Ламартин...»[3]

Отзывы Плеханова о речи Керенского были столь злы, что я с некоторым испугом спросил — неужели он в этом тоне будет писать статью о Государственном Совещании?

Плеханов пожал плечами: «Разумеется, нет. Всего того, что я о Керенском думаю я написать не могу. Пока нет другого правительства — забивать на смерть существующее — значило бы играть на руку Ленина, делать дело Ленина».

Однажды, это было вскоре после его приезда к нам, я спросил Плеханова — сколько лет он не был в России и какие в ней изменения особенно бросились ему в глаза? Плеханов сказал, что он уехал из России в 1880 г. (кажется, так? Хорошо не помню, какой год он указал) и, следовательно, не видел ее около 37 лет. С внешней стороны серьезно, но по существу с злой иронией, Плеханов начал говорить о том, что его поразило.

«Видите ли я до сих пор считал Россию в большинстве своем населенной русскими — славянами. Думал, что господствует в ней славянский тип, примерно, «новгородского образца». Значит — люди высокого роста, по преимуществу долихоцефалы и блондины. Что же я вижу во всех российских, петербургских и прочих советах рабочих, крестьянских и солдатских депутатов? Множество людей черноволосых, большей частью брахицефалов и говорят эти люди с каким-то акцентом и гортанным придыханием. Неужели, думал я, за годы, что я не был в России, антропология ее населения так изменилась? За всё время, что я приехал сюда я видел, кажется, только двух истых представителей новгородского типа — это Авксентьев и Стеклов, но после проверки оказалось, что тов. Стеклов к новгородцам не принадлежит».

---

[3] Мы опускаем дальнейшие четыре строки из отзыва Плеханова ввиду его резкости. Тут же рукой Н. В. приписано: «передаю абсолютно точно». РЕД.

Розалия Марковна Плеханова, присутствовавшая при этом разговоре, заметила:

«Ты так говоришь, что Валентинов может подумать, что ты стал националистом и не терпишь тех, кого называют инородцами».

«Зачем ты нашему хозяину, — возразил Плеханов, — приписываешь отсутствие понимания иронии. А всё-таки если говорить серьезно — должен сказать, что меня не только поразило, а даже **шокировало** слишком уж обильное представительство русских представителями других народностей, населяющих Россию, как бы они почтенны ни были. В этом видна **незрелость русского народа».**

Несколько раз в разговорах с Плехановым заходила речь о времени после первой революции до войны. Я указывал Плеханову, что в этот период, особено с 1908 г. происходило огромное хозяйственное оживление в области индустрии, сельского хозяйства, жилищного строительства, городского хозяйства. Земля разными способами переходила в руки крестьян и, настаивал я, на том, что на столыпинские законы нельзя смотреть только, как на сплошь реакционную политику. Характеризуя 1908-1914 годы я рассказал Плеханову, что в это время мне удалось побывать во множестве городов, в некоторых селах, очень многое видеть, слышать и я пришел к убеждению, что всюду, за исключением какой-нибудь Суздали, не было видно застоя, наоборот, огромное стремление к культуре, к усвоению того, что я называл «европеизмом». Плеханов к моим указаниям относился с большим скептицизмом.

«По моему, не следует особенно увлекаться тем, что вы видели. Это всё точки на теле слона. Европеизма, увы, в России мало. Это не Европа, не европеизм, а, как говорил Тургенев, **первое лепетанье спросонья.** То, что вы рассказываете находится в разногласии с тем, что об этих годах писали и газеты и журналы. Очень хотел бы, чтобы вы были правы, но помоги Господи устранить мое неверие».

Слова Плеханова, несомненно, находятся в тесной связи с его мыслью о политической и культурной незрелости, отсталости русского народа, вывести из которой, по его глубокому убеждению, могло при политической свободе только дальнейшее, мощное развитие капитализма. О возможности по Ленину

перехода, «скачка» России в социализм — Плеханов говорил с **презрением.** Я подчеркиваю, именно с презрением.

«Нам после десятилетий пропаганды, просвещения голов научным социализмом, марксизмом — предлагают вернуться к ткачевско-бакунинской темной невежественной демагогии. Почему тогда не заменить электричество лучиной, а паровой локомотив — конной тягой? Почти сорок лет тому назад я написал «Наши разногласия» и «Социализм и политическая борьба». Прошу указать — где, кто, когда опроверг выводы из этих книг?»

Об «апрельских тезисах» Ленина и о том, что тот писал позднее, Плеханов говорил, как о бреде. Он неоднократно повторял это слово. «Бред, только бакунинский бред, способный находить отклик лишь в очень невежественной среде». Плеханов много рассказывал о своем первом знакомстве с Лениным, когда тот в 1895 г. приехал в Женеву.

«Аксельрод, бывший на седьмом небе от того, что довелось увидеть человека оттуда, находящегося в самом центре рабочего движения Петербурга, меня усиленно убеждал, что за Ульяновым-Лениным нужно ухаживать, так как он самый видный представитель работающих в России социал-демократов, а их тогда можно было пересчитать на пальцах двух рук. И за Ульяновым действительно ухаживали, носились с Ульяновым, как дурни с писанной торбой, однако, к сей почтенной категории людей я не принадлежу и потому я сразу разглядел, что наш 25-летний парень Ульянов — материал совсем сырой и топором марксизма отесан очень грубо. **Его отесывал даже не плотничий топор, а топор дровосека.** Ведь этот 25-летний парень (Плеханов несколько раз повторил: «этот парень») был очень недалек от убеждения, что если некий Колупаев-Разуваев построил в какой-нибудь губернии хлопчато-бумажную фабрику или чугунно-плавильный завод — то дело в шляпе: страна уже охвачена капитализмом и на этой базе существует соответствующая капитализму политическая и культурная надстройка. Мысль Тулина вращалась именно в подобных примитивных рамках, а разве это марксизм? Такому марксисту нужно сказать: «назад, в школу!»

Я спросил Плеханова как он относится к обвинению Ленина в получении денег от немцев (обвинение, брошенное

Алексинским и Панкратовым) и к приказу Временного Правительства об аресте Ленина.

«Получал ли Ленин деньги от немцев? На этот счет **ничего** определенного не могу сказать. Установить это — дело разведки, следствия, суда. Могу только сказать, что Ленин менее чистоплотен, чем, например, Бланки или Бакунин, заместившие в его голове Маркса. Арестовать Ленина после июльских дней, конечно, было необходимо. Революция дала стране полную свободу слова, а Ленин вместо того, чтобы добиваться своих, на мой взгляд бредовых, идей только словом, хотел их проводить, опираясь на вооруженные банды. А когда оружие критики, как говорил Маркс, заменяется критикой оружием — тогда революционная власть на такую критику должна отвечать тоже оружием. Очень жалею, что наше мягкотелое правительство не сумело арестовать Ленина. Все говорят, что он скрывается где-то вблизи Петербурга и из своего убежища продолжает писать и давать приказы своей армии, иными словами, разлагать революцию и играть на руку немцам. Контр-разведка Временного Правительства так бездарна, что найти Ленина не может. Савинков мне сказал, что схватить Ленина не его дело, но что если бы он этим занялся, то уже на **третий** день Ленин был бы отыскан и арестован».

Не могу не отметить следующий эпизод. Рассказывая Плеханову о периоде после первой революции и до начала войны, я ему указал, что в моих экскурсиях по России я в это время много раз встречался с большевиками, меньшевиками, эсэрами, ушедшими из подполья, переставшими нести какую-либо партийную работу, но от этого совсем не сделавшимися «огарками», нулями, людьми, потерявшими всякое общественное значение и пользу. В этот момент я совершенно упустил из виду, что эти люди являются «ликвидаторами», бичуя которых Плеханов в 1909-1911 годах примкнул к Ленину и пустился защищать доблесть «подполья». Любопытно, что Плеханов, слушая меня, не делал **абсолютно никаких возражений.** Он упорно молчал, хотя вряд ли забыл, что еще совсем недавно по поводу ликвидаторов делал столь неприличные выпады против Потресова, что последний в одном из номеров «Нашей Зари» (не помню точно когда) назвал его «жалким человеком», сеющим «разврат». Кстати, о Потресове. Однажды зашла речь о газете

«День» и я высказал удивление, что Потресов, не отличавшийся писательской подвижностью, сверх всякого ожидания, оказался превосходным «газетчиком», способным писать чуть ли не каждый день живую и острую статью. Плеханов, несомненно, был человеком злопамятным и хотя во время войны позиция Потресова почти совпадала с плехановской, — мои комплименты по адресу Потресова ему явно не понравились. Ссору с Потресовым он не забывал. Он пожал плечами и сказал, что ни особой остроты, ни тем более блеска в том, что пишет Потресов он не видит. Следует сказать, что **кроме Савинкова** Плеханов во время пребывания у нас ни о ком другом с похвалой или с одобрением не отзывался. О Мартове и Дане он просто говорил: «это бессознательные полуленинцы, это печально, но это так».

Расскажу о некоторых фактах, связанных или имевших отношение к пребыванию у нас Плеханова. Моя жена старалась возможно лучше его кормить, но в 1917 г. это становилось уже трудным. Например, хорошего масла достать было почти невозможно. Жена ухитрилась откуда-то из деревни получать сливки и из них сама сбивала масло. Для этого она применяла, конечно, самые примитивные методы: чтобы сбить масло в бутылке нужно было эту бутылку долго «трясти» пока наверху не появятся комочки масла. Розалия Марковна и Плеханов один раз застали жену («сбиванием масла» занимался и я, помогая жене) за этим занятием и были им до крайности поражены. Они не предполагали, что для масла, которое они едят с утренним кофе, нужно столько физических усилий от их «хозяев». Много лет потом, когда Розалия Марковна после второй мировой войны жила во Франции у своей дочери и мы изредка ее посещали, она **постоянно** говорила, что не может забыть, как моя жена им добывала масло. Она рассказала, что у Плеханова по этому поводу вырвалось любопытное замечание:

«Чем больше Ленин и иже с ним будут вести свою пропаганду, тем больше будет экономически и технически разлагаться страна, тем больше мы будем возвращаться к экономике и приемам **курной крестьянской избы**»...

Однажды, находясь в столовой, жена моя случайно увидела довольно любопытную сцену. В этот день вечером в театре на Большой Никитской улице Плеханов должен был читать лек-

цию. Если не считать речи на Государственном Совещании, это было его первое публичное выступление в Москве. Он готовился к нему, не только в смысле содержания, но, если можно так выразиться, и с внешней стороны. Он надел жакет и тщательно репетировал все жесты, которые будут сопровождать его лекцию. Плеханов стоял перед большим зеркалом и жена, случайно зайдя в столовую, видела как он то разводил руками, то подымал одну руку, то притоптывал ногой и т. д. Словом, это был полный арсенал ораторской жестикуляции, обычно сопровождавшей речи Плеханова. Всю эту заранее срепетированную жестикуляцию, всегда производившую на меня впечатление неестественности, вымученной искусственности, — можно было видеть во время его речи в Никитском театре. Публики было много, появление Плеханова она встретила дружными аплодисментами, но речь Плеханова ее разочаровала. Она действительно была слабой. Обычно в речах Плеханова бывало несколько остроумных ударных мест. На сей раз для оживления речи он хотел воспользоваться следующим приемом.

«Говорят и пишут, что я, Плеханов, 40 лет и даже больше всегда сражавшийся за интересы пролетариата, этим интересам ныне изменил. **Пауза**. Говорят, что я теперь пишу то, что находится в противоречии с тем, что писал раньше. **Длинная пауза.** И снова повторение сказанного. Признаюсь, да, милостивые государыни и милостивые государи, **я признаюсь, я должен признаться,** что...»

После такого введения — несколько раз повторяемого «признаюсь» аудитория должна была логически ожидать, что Плеханов «признается» в какой-то измене делу пролетариата. Неожиданно для публики, Плеханов, меняя тон, вдруг бросил:

«Признаюсь, что я, Плеханов, никогда интересам пролетариата не изменял. Люди, это утверждающие, принадлежат к той категории, которую один наш русский писатель назвал от рождения «недоношенными»...

Первый раз такой прием, бьющий на неожиданность — вызвал гром аплодисментов, но повторенный несколько раз он уже потерял свой эффект, перестал действовать. Несмотря на то, что члены группы «Единства» в зале усердно хлопали в ладоши, большая часть публики за ними не шла. В качестве «почетных гостей» я и жена сидели на эстраде недалеко от

Плеханова, рядом с Верой Ивановной Засулич. Поклонница до самой смерти «Жоржа» (Плеханова), видимо, не хотела признать, что речь его не имеет успеха, к которому Плеханов привык в его выступлениях в Женеве и вообще в эмиграции.

«Неправда ли, — сказала она, обращаясь ко мне, — несмотря на годы Плеханов всё тот же?»

Именно этого то я и не видел, и потому ответил уклончиво. Засулич была этим огорчена.

«Вам не особенно нравится речь Плеханова? Вы по отношению к нам, старым, жестоки».

Говоря о Засулич, хочу описать следующее маленькое происшествие. Во время пребывания у нас Плеханова, я его фотографировал во всех видах. Он охотно на это шел и принимал всякие «авантажные» позы. Наоборот, Засулич, приехавшая из Петербурга в Москву на Государственное Совещание и в это время часто приходившая к нам, решительно не позволила ее фотографировать. Мне очень хотелось иметь ее карточку и я сказал:

«Вера Ивановна, становлюсь пред вами на колени и не встану пока вы мне не дадите вас снять». — В то время, когда я на все лады ее упрашивал, подошел Плеханов.

«Вера Ивановна вам не позволяет ее сфотографировать? Ну, я вам объясню причину. В молодости, например, когда Вера Ивановна стреляла в Трепова — она была очень красива. Нужно думать, что это счастливое обстоятельство сыграло какую-то роль и в ее оправдании на суде. В глазах потомства она желает остаться такой-же красивой, как в то время, когда за нею ухаживали Нечаев (??), Клеменц, а потом весьма многие иные. Поэтому фотографировать ее, когда она стала старой, она не позволяет».

Я не знаю какие отношения были у него и Засулич в отдаленное время, когда она была очень красивой. Возможно, что говоря о «многих иных», Плеханов хотел намекнуть, что он был также в числе ее «ухаживателей». Знаю только, что Засулич вспыхнула и рассердилась.

«Вы чепуху несете! А чтобы доказать, что я не думаю о сохранении в памяти потомства того вида, какой у меня был в 1877 г., я позволяю Валентинову с меня — седой и морщинистой старухи — сделать столько снимков, сколько он захочет».

После этого я и «заснял» Засулич. Вышла она на моих снимках чудесно. Жалею, что их теперь у меня нет. Ведь это действительно снимки-уникумы. До этого времени она категорически отказывала всем желающим ее сфотографировать, а после этого без малейшего возражения позволила ее фотографировать и отдельно, и в группе, и вместе с Плехановым, когда через несколько дней мы все, по просьбе Плеханова, поехали на Воробьевы Горы (туда, где юные Герцен и Огарев давали свою клятву). О поездке на Воробьевы Горы с Плехановым и Засулич — я говорил в статье в «Новом Журнале» в 1948 г., повторяться поэтому не буду. Остановлюсь только вот на каком эпизоде.

Чтобы добраться от нашего дома до Воробьевых Гор нужно было проехать через всю Москву. По просьбе Плеханова, наш приятель артист Райский, правивший автомобилем, ехал медленно. Это давало возможность Плеханову внешне знакомиться с Москвой, он ее не знал. Москва не очень ему понравилась.

«Ваша «белокаменная» на самом деле грязнокаменная и неказистая. Европы в ней мало. Вот едем мы и я всё ожидаю, что откуда-нибудь из переулка появится бородатый Хомяков, в мурмолке Аксаков или какой-нибудь тип Островского. Это к ней идет».

Когда мы проезжали по Страстной площади, где был памятник Пушкина, около него стояли толпы солдат, слушали какого-то оратора и лущили семячки.

«Вот картина, воскликнул Плеханов, от которой во время войны следует **с омерзением** отвернуться».

В то время я хорошо знал «старую Москву», особенно здания конца 18-го столетия и начала 19-го, появившиеся в ней после уничтожившего почти весь город пожара 1812 г. Постоянно был «гидом» у всех наших гостей, впервые знакомившихся с Москвой. Всю дорогу я был гидом и для Плеханова. Мы ехали на Воробьевы Горы большой компанией на нескольких автомобилях. В машине, которой правил Райский, сзади сидел Плеханов и рядом с ним я. Напротив нас — два «товарища» из группы «Единство»: один из них Абрамов, фамилию другого забыл. Когда мы приближались к Нескучному Саду (ныне «Парк отдыха и культуры») Абрамов, ни с того, ни с сего за-

теял разговор о присущих мне **«ересях»,** в частности, указал, что считает вредной мою склонность заменять диалектический материализм эмпириокритицизмом Авенариуса и Маха. В присутствии Плеханова, против которого именно по этому вопросу я полемизировал в книге «Философские построения марксизма» — я считал такой разговор совершенно неуместным. Напоминанием об этой полемике омрачать хорошее настроение Плеханова я совсем не хотел. Желая заставить Абрамова замолчать, я толкал его ногой, делал ему разные знаки. Но Абрамов — человек весьма дубоватый — этого не понимал. Плеханов о моих ересях тоже явно не хотел говорить и сурово смотрел на Абрамова. Перебивая его, он обратился ко мне: «Что такое — эти два величественных и, видимо, старинных здания, мимо которых мы проезжаем?». Я ответил, что это две больницы. Одну из них в конце 18-го века построил наш знаменитый архитектор Казаков, а другую, позднее около 1830 года, воздвиг тоже знаменитый архитектор Бове, построивший Большой театр, после пожара в 1853 г. заново отстроенный архитектором Кавосом. К величайшей досаде Плеханова и меня, Абрамов, не понимавший, что разговор о моих ересях нужно прекратить, продолжал что-то говорить. Тогда Плеханов, обрывая его, бросил ему следующую фразу:

«Вы, товарищ Абрамов, напрасно игнорируете очень умные советы одного очень большого библейского философа. Имя ему — Экклезиаст. Он учил, что всему есть время, в частности, время говорить и время молчать. Да, и говорить тоже нужно во́-время. Так, например, нас сейчас больше интересуют постройки Казакова, Бове и Кавоса, а совсем не то, что вы говорите».

Когда мы приехали в Нескучный сад, Плеханов немедленно отвел в сторону Абрамова и с большим пылом стал ему что-то говорить. Абрамов ничего об этом мне не сказал, но по его сильно смущенному виду можно было понять, что ему от Плеханова здорово попало.

15 августа 1954. *Н. Валентинов*

В СССР ПЕРЕД ВОЙНОЙ С ГИТЛЕРОМ

О начале войны с Германией я узнал с запозданием. Дело было так. Отец мой в это время был в доме отдыха железнодорожников, в небольшом поселке, в тридцати километрах от того областного южного города, где мы жили. Я должен был навестить его в воскресенье, и в тот же день вернуться назад, чтобы участвовать в спортивных соревнованиях. Поэтому я выехал к отцу пригородным поездом еще до четырех часов утра. А от отца вернулся примерно часам к двенадцати дня.

В городе меня сразу поразила странная тишина на вокзале, на привокзальной площади. Не было обычной сутолоки. У всех были какие-то сосредоточенные мрачные лица.

Я сел в трамвай: та же настороженная, напряженная тишина. Обычной перебранки — «...от такого и слышу», «не нравится... нанимай такси» — не было. В голове мелькнула мысль, не произошло ли что-нибудь из ряда вон выходящее, о чем боятся и говорить? Может быть, умер Сталин?.. Наконец, я не выдержал. Обращаюсь к соседу: «Что случилось? Скажите, пожалуйста».

«А ты, что? С луны свалился? — ответил сосед с плохо скрываемым раздражением, — фашисты на нас напали!..»

На улицах пусто. Люди предпочитают отсиживаться дома. Опасно расспрашивать, опасно удивляться и тем более опасно высказывать свое мнение. И всё же, как же это случилось, что нас застали врасплох? Сталин говорил, что чужой земли он не желает, но и своей ни пяди не отдадим, а враг, оказывается, уже идет по нашей земле. Ворошилов грозил еще больше. И всё это оказалось только бахвальством?

Мне было пять лет, когда разразилась первая мировая война. Помню, отец вел меня по улице. Всюду собирались толпы. Какие-то люди маршировали с флагами и, кажется, с иконами, пели. Было какое-то оживление, которого я не понимал, но оно передавалось и мне. Теперь я знаю, что это чувство называлось

патриотизмом. А вот, теперь, через двадцать семь лет, когда советское общество стало единым, монолитным — патриотизм стихийно не поднимался. Мысли были заняты другим. Господствовала неуверенность в завтрашнем, страх перед неизвестным.

С невеселыми мыслями вернулся я домой. Вспомнил, что недавно в нашей областной научно-технической библиотеке я брал книги некоего Гарри. Одна называлась — «Гитлер над Европой», другая — «Гитлер над СССР». Помню даже карту, помещенную во второй книге. На ней стрелками были указаны направления трех основных ударов гитлеровских войск, которыми может начаться кампания против Советского Союза. Так, в действительности, и разразился этот «Дранг нах Остен».

Вспомнил и цитату из гитлеровской «Майн Кампф», которую цитировал Гарри в своей книге. Она казалась неправдоподобной, настолько была чудовищно циничной. У Гитлера было сказано, что Россия, какой бы она ни была политически, всегда будет опасна для Германии, пока численность ее населения будет выше численности немецкого населения. А поэтому, говорил Гитлер, Россия должна быть отброшена за Урал и численность ее населения не должна превышать шестидесяти или восьмидесяти миллионов человек (уж не помню точно).

Побежал в библиотеку. Роюсь к каталоге — нет автора под такой фамилией. Стал разыскивать книгу по предметному каталогу. Исчезли все рубрики: «антифашизм», «нацизм», «фашизм». «Что за чорт?», подумал я.

Пошел к заведующей библиотекой. С Евгенией Ильинишной мы старые друзья. Я член библиотечного совета. Помогаю в составлении индекса трудных технических книг. «Евгения Ильинишна, — обращаюсь я к ней. — Я когда-то брал книги Гарри об агрессивных планах Гитлера. Названия точно помню, а книг найти не могу; нет Гарри и в авторском индексе». Она молча делает мне знак, приглашая в рабочую комнату. Оттуда мы проходим в книгохранилище, остаемся наедине.

«Алексей Игнатьевич, в тридцать девятом году еще по списку Облита мы изъяли всю антифашистскую литературу, удалили и соответствующие рубрики из картотеки, уничтожили все авторские карточки».

Эта новость меня ошеломила не меньше, чем известие о начале войны с Гитлером. Как видно, соглашение между Моло-

товым и Риббентропом распространялось и на пропаганду. И Сталин, вероломный и циничный, нарушавший любые свои слова, на этот раз, вероятно, добросовестно и пунктуально выполнял все секретные пункты соглашения. Стало-быть Сталин верил Гитлеру?

Обуреваемый самыми противоречивыми мыслями я возвращался домой. На одной из улиц, примыкавших к институту, увидел странное шествие. Под охраной милиции, куда-то в окружении возбужденной толпы, вели молодого человека. Одежда на нем была разорвана, голова в крови, руки в ссадинах. «Шпион, шпион... шпиона поймали», — раздавалось в толпе, которая основательно помяла «шпиона», оказавшегося нашим студентом-грузином. Он любил щеголять в приличном костюме. Этот костюм, да еще его подстриженные усики дали повод толпе для расправы. Хорошо, что нам удалось его освободить. Другие случаи самосудов кончались более трагически.

Внезапно шпиономания овладела всеми, принимая самый злостный характер. Чуть поприличнее костюм, да несколько иностранный вид, часто просто более интеллигентный облик — и готово: подозрение в шпионаже.

На второй день войны произошел такой трагикомический случай. Рыжов, артист Малого театра, приехавший на летние гастроли в наш город, утром пошел на колхозный рынок. Был на нем светлый хорошего качества костюм. Сам он подтянутый, с мягкими манерами. Подошел к торговке молоком и сказал чрезмерно вежливо: — «Голубушка, отпусти молочка». Та, не долго думая, хватает пустой бидон, ударяет им Рыжова, и кричит: «Держи його проклятущего шпиёна!»

Вечером я увидел на вокзале всю труппу. Рыжов был с забинтованной головой. К счастью, он отделался легко.

В тот же день из ближайшего районного центра, стоящего на железнодорожной линии, пригнали пешком мобилизованных солдат. Им выдали зимние штаны, но всё остальное на них было свое. После тридцатикилометрового похода большинство из них шли босиком, с окровавленными ногами, многие хромали, отставали. Они напоминали скорее согнанных дезертиров, чем полноценное пополнение.

«С такими мы навоюем, — громким шопотом сказал сто-

явший со мною в толпе пожилой рабочий. — Коль на фронт так погонят, то и четверти не останется...»

Стоявшие вблизи с опаской поглядели на него и начали сторониться. А я взглянув на него, узнал в нем сталевара с завода, на котором мы работали вместе. Человек он был независимый и нередко откровенно судил о порядках на заводе, да и за его стенами. Помню, однажды мы ехали с ним на ночную смену. Когда проезжали в трамвае мимо огромного, четырехэтажного здания НКВД, где все окна были ярко освещены, он наклонился ко мне и своим громоподобным шепотом произнес: «Видал, инженер? За каждым окном работничек сидит... Даром хлеба им не дают. Куда с такой работы уйдешь? Вот, они и находят себе всегда кого обработать...»

Вечером ко мне домой пришел знакомый, бывший кадровик Красной Армии, вычищенный из нее три года назад за связь с врагами народа. Связь у него действительно была и даже очень интимная. Во враги народа попала его жена. Была она членом обкома партии. Во время бериевщины ее вывели из состава членов обкома и исключили из партии, но почему-то забыли арестовать. Обвинялась она тоже... за связь с врагом народа. Врагом же был ее муж, который когда-то, до перехода в Красную Армию, служил в Белой Армии. Так и существовали на свободе до самой войны эти недоарестованные враги народа.

Все знакомые их сторонились, перестали у них бывать и звать к себе. Мой дом был единственным, куда они ходили запросто и вели нередко откровенные разговоры. Так и на этот раз.

Я спросил Георгия Яковлевича, почему мобилизованных не могли полностью обмундировать.

— А попробуй одеть, если на одном складе только пояса, а за сотни километров на другом — гимнастерки, где-то на третьем — шинели, на четвертом — головные уборы. Некомплектность была возведена в принцип. Тоже было и в отношении вооружения и боеприпасов. Вероятно, наша авиация была без горючего даже на передовых участках, потому что склады горючего были в десятках километров от аэродромов. А по положению, самолеты стояли не заправленными, за исключением дежурных.

— Кто же такую глупость мог допустить?

— Он, конечно, — ответил Георгий Яковлевич, понимая, что я догадываюсь о том, кто это — Он. — Восстаний боялся, боялся, что восставшие могут получить нужное оружие и боеприпасы, если всё будет храниться в одном месте. Боялся иметь в одной воинской части нескольких опытных командиров, да еще спаянных боевой дружбой. Вот и чистил, распылял и... — он развел руками и замолчал с видом: дальнейшее, мол, вам понятно.

Чем дальше, тем яснее выявлялась наша полная неподготовленность, а, может быть, и неспособность отразить первый удар противника. Не помню, когда именно приехал и ночевал у меня мой давнишний знакомый, военный врач: было ли это через три-четыре дня после начала войны, а может быть, и через две недели. До окупации гитлеровскими войсками нашего города, казалось, что мы переживаем один нескончаемый, затяжной и тягостный день, скорее даже — кошмарную ночь с неправдоподобными и, вместе с тем, слишком реалистическими снами. Силишься проснуться и не можешь: начинает давить новый сон, еще худший...

Леонид Степанович, так звали моего друга, ехал на юг, где формировали для какого-то воинского эшелона госпиталь. А работал он много лет на Белоцерковском аэродроме.

Ночью, дымя бесконечно закуриваемыми новыми папиросами, которые в темной (от затемнения) комнате судорожными светлячками мелькали где-то около меня, Леонид непрестанно прерывая самого себя, говорил отрывисто, с длительными паузами, словно глотая подступающие к горлу комья:

«Наш аэродром был... был, — сказал он с нажимом на слово «был», — был крупнейшим на юге. Больше тысячи самых разнообразных самолетов — бомбардировщики, истребители, разведчики, транспортно-грузовые. Всё стояло накануне налета на приколе. Горючим не заправлены, боевые — без боеприпасов. Только три дежурных самолета были в готовности. Никого, кроме летного состава этих самолетов и нескольких лиц из дежурившего обслуживающего персонала в момент налета — на всей территории аэродрома. Все жили в городе за полтора десятка километров, их возили, когда надо — автобусами... Горючее, заправочные материалы — это на складах, а они — за десять километров. Немцев не ожидали. Не знаю: поднялись ли дежурные самолеты в воздух... Может быть, не

успели. Немцы с бреющего полета уничтожали самолеты... Они словно знали, что некому их спасать. Десять-двадцать минут... всё горит, что-то взрывается. Я ничего не видел, нас не подпустили близко к аэродрому... Меня сразу направили на формирование госпиталя... С другими авиационными базами передовой линии, второй линии, в ту же ночь под воскресенье произошло то же самое, что и с нашей — они перестали существовать. Не знаю насколько это правда, но наши летчики утверждают, что в первую ночь мы потеряли треть боевых самолетов. Отступление нечем прикрывать, нечем сдерживать противника... Не воевали еще, а уже довоевались... И танки на передовой линии тоже стояли без горючего... словно в музее военного искусства, а не у границ... у границ, которые были на замке...»

— Как же так, — спрашивал я? — Ведь и в мирное время пограничные части всегда находятся в полной готовности, как пожарные части. Мне что-то не верится. Тут что-то не так. Какой-то злой умысел, это даже ведь и не ротозейство!

— Скажите прямо — предательство... Вот только с чьей стороны? Конечно, не со стороны тех, кого расстреляли в последние годы. Врагами народа оказались те, которые репрессировали... Что ж, после войны узнаем всю правду...

Прошло без малого двадцать лет после окончания войны, кое-что новое из истории второй отечественной войны мы узнали; после разоблачения культа Сталина началу войны стали давать иную окраску, но подлинной истины народу так и не рассказали.

Рассказ Леонида Степановича дорисовывал мне картину общей растерянности и неподготовленности к войне. Я уже не удивлялся тому, что из Киева в Полтаву направляли части, которые не могли там экипировать, а из Полтавы, по тем же причинам, перебрасывали мобилизованных в Киев. Встречные переброски оказались неизбежны не только в материальной части, но и в людском составе. Железные дороги, и без того перегруженные в мирное время, в военное — забуксовали. То, что было гордостью «железных наркомов» — высокая грузонапряженность, самая высокая в мире, во время войны, стала основным пороком: некуда было повышать грузооборот, провозоспособность некоторых участков железных дорог была исчер-

пана до конца. Днепровские мосты, от Киева до Запорожья и раньше не справлялись с пропуском составов, теперь создавали непрерывные пробки. Все графики движения нарушились, а из-за этого участились простои, задержки, резко упала скорость движения, забивались запасные пути непервоочередными грузами. На некоторых дорогах, как например, в Донбассе, под откос пускали целые эшелоны демонтированного оборудования, чтобы освободить линии для пропуска фронтовых грузов, идущих в противоположном направлении, на запад.

В широких слоях населения царило недоумение, оцепенение, а на верхах — откровенный страх. И то и другое в первое время как-то парализовало жизнь. Сужу, разумеется, по тому, что видел и слышал в районах, куда фронт докатился на второй месяц войны, где эвакуация, демонтаж оборудования, подрывание того, что нельзя демонтировать, хаос уничтожения компрометирующих власть документов, расстройство снабжения населения начались через неделю после «вероломного нападения» сталинского друга Гитлера, с которым так удачно они перекраивали с 1939 г. границы и ликвидировали государства.

Немудренно, что с первых дней в народной гуще ходили самые нелепые слухи. И даже в них, в самых, казалось бы, неправдоподобных, была какая-то доля правды, как это потом выяснилось. Слухи просачивались отовсюду. Может быть, их и пускали намеренно. Не было рогаток, которые могли бы их остановить. Уже в то время в населении начинал исчезать страх, тот страх, который раньше заставлял бояться случайно оброненного слова. Страх, который сковывал, заставлял говорить не то, что думаешь, и даже думать тайком от себя, заставлял избегать бесед и всякой критики власти как низшей, так, тем более, и высшей.

Но это вовсе не значило, что карающая десница власти ослабела. Репрессии были и даже увеличились: каждую ночь кого-то арестовывали. Но за мобилизацией, переброской рабочих и служащих на восток, посылкой на окопные работы трудно было уследить кто уехал, а кого арестовали, кто временно мобилизован, а кто ушел в армию. Засекреченность всё еще царила во всем...

Но война внесла новую черту в поведение советских граждан. Решалась судьба родины, она была в опасности. На фоне

бедствия, в которое было повергнуто отечество, собственная судьба имела уж ничтожное значение. Смерть слишком стала близкой, неизбежной, чтобы бояться за свою судьбу, трепетать перед черным вороном.

Но если от страха начал избавляться средний человек, то от страха задрожали все власть имущие. В обкомовской и облисполкомовской среде царила плохо скрываемая растерянность, откровенный страх, паническое настроение.

Вспоминаю, что мне рассказывала моя соседка М., со слов своего шурина, замнаркома, члена украинского правительства. М. потеряла своего мужа в финскую войну. Советско-финская война была окончена перемирием 12 марта 1940 г., а М. получила извещение, как теперь говорят, — «похоронку», в которой было сказано, что ее муж погиб 13 марта при форсировании реки Н.... Его я лично хорошо знал в течение ряда лет. Безропотный, исполнительный партиец. Его непрерывно привлекали к какой-нибудь очередной кампании. Ездил на посевную, командировался на уборку урожая, укреплял революционную законность, поднимал транспорт, ликвидировал прорыв на фронте индустриализации, боролся с хищениями, вел антирелигиозную пропаганду, а начал свой партийный стаж с коллективизации. И всё это он делал безропотно, и всё это не подходило к его тишайшему характеру. В году он бывал на своем предприятии от силы два-три месяца, а всё остальное время разъезжал по партийным поручениям. Брат не был на него похож. Громкий, самоуверенный и очень недалекий дослужился до наркомовского кресла. Видел я его мельком. В последний приезд к М. он пробыл один вечер. Рассказывал, что немцы двигаются лавиной, без удержу, ничто не может их остановить. Рассказывал невероятные вещи. Например, что немцев не останавливают горы трупов. Они пускают мощные дорожные катки, которые укатывают дороги, заутюживая всё. А затем идут мотоциклы, грузовики, броневики, танки... Безостановочно, нескончаемой вереницей... Насчет катков — это была, как оказалось, испуганная фантазия. Но о них серьезно говорили в ЦК КП Украины, в Совнаркоме...

Население не верило, что власть может дать должный отпор врагу. Люди считали, что партия обманула народ, скрывая от него настоящие размеры опасности вражеского вторжения. И

невольно начал развеиваться миф о всемогуществе советского государства, о всесильности партии. Король, если не оказался голым, то, во всяком случае, полуголым.

Первые дни войны произвели во многих переоценку человеческих характеров, изменились наши привычные представления о смелости и трусости. Самые бойкие, казалось бы, смелые партийцы на поверку оказались только наглыми и бесстыдными, сейчас они первые праздновали труса. А мы то их наглость принимали за смелость...

А вот, тихие, незаметные люди проявили твердость. Как-то постепенно к ним перешло доверие окружающих и они вели приготовления к защите от воздушных нападений, к укреплению порядка, в то время как «начальники», главным образом, спешно готовились к эвакуации. Бои шли где-то в винницком направлении, а в тридцати километрах от нашего областного города, на запасных путях железнодорожной станции захолустного городка стоял состав с имуществом обкомовских работников. Туда партийная знать перевозила уже свои семьи. И это — в четырехстах километрах от западной границы, на вторую неделю войны!

И на фронте задавали тон не выпускники всяких военных академий, а старослужилые солдаты, бывшие кадровики еще царской армии. Так говорили. Я в армии не был и даже войны по-настоящему не видел. За все годы войны видел одного убитого, на моих глазах. Советский истребитель с бреющего полета обстрелял подводу. Лошадьми правил немецкий солдат, рядом с ним сидел мальчишка лет одиннадцати. Он должен был с конями вернуться обратно. Не вернулся. Немец взял на руки убитого и долго стоял. Слезы текли из его глаз. Вероятно, он был из крестьян. Когда мы подошли к нему, он почти беззвучно шептал по-немецки: «Это война... это война...»

Эту незабываемую сцену: гладкое осеннее поле, подвода с понурившимися лошадьми, высокий, сгорбленный немец с телом убитого ребенка на руках, стоящий у края дороги и улетающий за горизонт, «выполнивший боевое задание» самолет, — это я видел осенью сорок третьего года, когда фронт двигался уже с востока на запад, и когда я, не попавший в эвакуацию на восток, избежавший дважды этапа, медленно, от села к селу, уходил на запад.

Через наш город проходили эшелоны эвакуируемых и вывозимых вглубь страны с первых же дней войны. Беженцы у нас не задерживались. Я увидел их как-то случайно. Долголетняя дружба связывала меня с Евой К., девушкой из интеллигентной еврейской семьи. У них в доме я увидел первых беженцев, их родственников из Бердичева. Делились они на два лагеря. В одном господствовала радость, в другом — непрерывная перебранка.

Ева мне пояснила: «Вы, Алексей Игнатьевич, вероятно, удивитесь, когда узнаете, почему так по-разному ведут себя наши родственники. Тетя Соня никак не могла поверить, что Красная Армия может перед кем-то отступать, да еще перед нацистами. И когда немцы были у ворот города, когда начался организованный поджог домов своими же, семья тети Сони выскочила буквально из огня, все — в чем были. Потом, уже в дороге разыскали друг друга. И вот, они рады, что живы, что все вместе. А у дяди Левы судьба сложилась иначе. Человек он предусмотрительный. Лошадей достал, на подводу погрузили всякое барахло, как у нас говорится. И никто никого не терял. А теперь без конца спорят из-за пустяков, обвиняют друг друга в том, что забыли по чьей-то вине взять более нужное, захватили менее ценное, кажется, забыли закрыть дверь на замок. Вот, сидят и всё подсчитывают убытки...»

И семья дяди Левы и семья тети Сони, как и многие тысячи еврейских семей с запада бежали на восток не потому, что их забыли эвакуировать, не предупредили об опасности, и не потому, что боялись нацистских зверств, — о них еще хранила полное молчание советская печать, — а потому, что боялись самой войны: обстрелов, бомбежки, грабежей, продовольственных затруднений. Оснований для бегства было достаточно.

Многие мои знакомые евреи думали, что под Гитлером будет не хуже, чем под Сталиным. И поэтому одна треть еврейского населения в нашем городе, — и притом самая необеспеченная, — осталась, не эвакуировалась. И позднее — все погибли. Трудно сказать, почему власть скрывала от евреев, какую судьбу готовит им Гитлер? Незнанием нельзя было отделываться.

Общая эвакуация шла в самом широком масштабе. Эва-

куировались предприятия, учреждения. По ночам раздавались взрывы — уничтожалось оборудование, подрывались краны, заваливались здания цехов. Всюду жгли компрометирующие власть документы. А было их, видно, не мало, над городом черным дождем летали сожженные бумаги. По улицам ветром носило бумажные клочья.

Помню, я поднял на улице один листок, чуть обгоревший по краям. Ничего особенного — характеристики членов профсоюза, работников какого-то завода. Остановила внимание только одна характеристика. Я меняю лишь фамилию, содержание же привожу дословно. Вот оно: «Васильев, Александр Матвеевич, 27 лет. Слесарь 3-го разряда. Замкнутый. Читает много Ленина. Подозрительно. Надо следить...»

Растерянность, недоумение, неверие в силу власти — вот какими чувствами были охвачены мы, средние советские граждане. Мы почувствовали, что годы лишений прошли напрасно, что экономика страны, ее обороноспособность оказались ниже всякой критики. Мы годами готовились к войне, к последнему бою с империализмом, а война оказалась полной неожиданностью. В мирное время мы несли самый тяжелый груз военной экономики, а наш военный потенциал оказался блефом, наша армия — колоссом на глиняных ногах. Мы, советские граждане, увидели себя обманутыми. Люди чувствовали, что жить надо было начинать как-то сызнова. Жить без устаревших мифов и фикций: это, в конце концов, и спасло нашу родину...

А. Дынник

ПОСЛАНИЕ ИЗ СССР НА ЗАПАД

II*

Подавление оппозиции. Известно, что в теоретической программе компартии, по инициативе Ленина, был провозглашен принцип диктатуры пролетариата, то есть фактически — диктатуры одной компартии над всеми политическими партиями и идеологическими направлениями. Практические результаты осуществления «диктатуры пролетариата» состоят в том, что за всё время существования Советского Союза в нем не было ни одной оппозиционной газеты, ни одного оппозиционного собрания и общественного выступления, дозволенного властью, ни одной оппозиционной идеологической группы, имеющей свои органы печати. С другой же стороны, в Советском Союзе вплоть до самого последнего времени царили самые массовые за всю историю человечества репрессии. Всё это с абсолютной ясностью свидетельствует о том, что в Советском Союзе в течение всего его существования силой подавлялась всякая свобода слова, собраний, печати, идеологии, поскольку эта свобода выражалась в несогласии с политикой компартии (а иного проявления свободы, чем свобода несогласия, быть не может).

Еще конкретней об этом же говорят следующие факты. Прежде всего — разгон Учредительного Собрания в России в 1918-ом году. Учредительное Собрание — это был первый действительно демократический, всенародный Форум России, первый русский парламент, на котором были представлены все

---

* См. кн. 78 «Н. Ж.». К сожалению, в «Послании из СССР на Запад», в кн. 78, на стр. 191, перед подписью «Икс», при печатании выпала строка — «Окончание следует». В этой книге мы даем окончание этой рукописи, полученной нами с оказией из СССР. РЕД.

основные политические партии России периода революции. Вся страна ждала Учредительного Собрания много месяцев, чтобы оно определило дальнейшие пути революции. И на этом собрании подавляющее большинство делегатов было против большевиков. А большевики незадолго перед созывом Учредительного Собрания (месяца за два до этого) произвели октябрьский переворот и захватили власть в свои руки. И теперь, когда Учредительное Собрание оказалось против них, они не пожелали послушаться мнения большинства народа, и разогнали Учредительное Собрание силой. Это был самый первый, возмутительно наглый и символический акт большевистской диктатуры. В своей дальнейшей пропаганде большевики всегда утверждали, что их диктатура — это диктатура большинства над меньшинством: это — диктатура рабочих и крестьян над горсткой капиталистов и их «прислужников».

Но факт разгона Учредительного Собрания, после чего большевики и начали свою диктатуру, разоблачает их утверждение, как явную ложь. Ведь перед всем миром на Учредительном Собрании против их власти была не «горстка капиталистов», а представители подавляющего большинства народа. И если они не подчинились воле большинства, а напротив, подчинили ее себе, то этим они сразу доказали, что их диктатура — это не диктатура народа над эксплуататорами, а диктатура одной партии над большинством народа.

Знаменательно при этом и то, что разгон Учредительного Собрания был совершон по прямому указанию Ленина. Значит, не Сталин, а **Ленин** положил начало той диктатуре, которая основана на лжи и беззаконии. Это нужно помнить западным коммунистам и прокоммунистам, которые теперь противопоставляют Ленина Сталину, как истинного демократа — перерожденцу-диктатору. От Сталина они теперь торопятся отмежеваться, но Ленина продолжают признавать своим идейным вождем. Но если так, то их политическая идея, как и идея Ленина, состоит в том, чтобы одна партия устанавливала свою диктатуру над всем народом.

Далее — процессы тридцатых годов, коллективизация, концлагери и всё насилие, связанное с именем Сталина.

Запрет забастовок. За всё время существования Советского Союза в нем не было ни одной официально дозволенной

забастовки, хотя материальное положение рабочих очень часто было тяжелым, хотя бывали резкие повышения цен, и хотя формально у советских рабочих есть свои профсоюзы. Всё это свидетельствует о том, что право забастовок у советских рабочих фактически отнято, и советские профсоюзы являются бутафорными организациями. Утверждение, что советские рабочие не бастуют из-за сознательности, даже когда правительство резко повышает цены ради того, чтобы снабжать режим на Кубе или раздаривать деньги нейтралистским странам для поддержания советского престижа, звучит, как смехотворно нелепая ложь. Даже коммунистически настроенные рабочие не могли бы поддерживать такие мероприятия советского правительства, как, например, финансовую помощь президенту Насеру, поскольку он внутри своей страны проводит антикоммунистическую политику. То, что такое самодурство советского правительства проходит без единого голоса протеста, свидетельствует о том, насколько абсолютно в Советском Союзе (да и в других советских странах) подавлены все возможности свободного волеизъявления населения.

Отсутствие свободных выборов. Во всех советских странах в «выборах» принимает участие не менее девяноста девяти процентов взрослого населения, и все они голосуют за существующую власть. Это тоже является для всякого мало-мальски здравомыслящего человека свидетельством того, что в советских странах царит политический террор, и так называемые «выборы» проводятся под угрозой репрессий. Во-первых, ясно, что политика советских властей, которые повышают дороговизну в стране ради целей, абсолютно чуждых интересам народа, которые проводят испытания водородных бомб, отравляя атмосферу и приближая угрозу мировой ядерной войны, которые подавляют религию и искусство, должна порождать великое множество недовольных. А во-вторых, ясно, что и сама система советских «выборов» должна вызывать возмущение у подавляющей части населения, поскольку эти «выборы» являются издевательской насмешкой над правами населения, лицемерно провозглашенными в Конституциях советских стран. На этих «выборах» в СССР населению нечего выбирать, так как на них баллотируются кандидаты только от одной партии: от компартии. И, наконец, хотя эти «выборы» назы-

ваются тайными, они организованы так, что всякий, кто захочет проголосовать «против», должен сделать себя заметным. Ибо те, кто голосуют «за», берут бюллетени и прямо опускают их в урну, а тот, кто хочет проголосовать «против», должен на виду у советских активистов войти в кабину, чтобы там зачеркнуть имя кандидата. Если при всех этих издевательских условиях почти сто процентов взрослого населения голосует на «выборах» за существующую власть, не выражая ни малейшего протеста, то ясно, что это объясняется только террором.

Диктатура в период Сталина. Сами же представители советской власти на 20-ом и 22-ом партсъездах были вынуждены признать в целях внутрипартийной борьбы, что во времена Сталина в стране царил чудовищный террор, так как арестовывали и репрессировали не только недовольных, но и «довольных» по малейшему доносу, причем делалось это без всякого суда и следствия, при полнейшем попрании всех норм законности. (Тех, кто отказывался признать себя виновным, подвергали пыткам). Последнее тоже видно из признаний советских газет в период «развенчивания» Сталина и суда над Берией. В газетах того времени писалось, что органы безопасности при Сталине во время следствий прибегали к недозволенным методам (т. е. пыткам).

Известно, что сталинский террор начался особенно резко с 1936 года и длился вплоть до смерти Сталина, то есть целых семнадцать лет. Теперь советские коммунисты утверждают, что вся эта пора террора миновала, и что объясняется она только личными недостатками Сталина, а отнюдь — не недостатками советского строя. Всё дело, по их словам, оказывается только в том, что Сталин был жестоким человеком и почти маньяком, а сам советский строй здесь ни при чем: он всегда был и есть образец наивысшей демократии. Но — спрашивается — что же это за демократия, при которой всё зависит от качеств одного человека, стоящего у власти, и притом зависит настолько, что если даже этот человек страдает манией преследования, манией подозрительности и манией жестокости, то в течение целых семнадцати лет он может творить по всей стране чудовищный произвол, и никто не имеет возможности его остановить? Это называется не «демократия», а

деспотизм, и притом — такой **дикий** деспотизм, который был возможен только в средневековые времена.

Всякому ясно, в чем настоящая причина этого деспотизма Сталина, угнетавшего страну особенно сильно — семнадцать лет, а в общем — и того больше: около тридцати лет. Причина этого — в том, что в Советском Союзе — однопартийная система, что здесь запрещена оппозиция. Ибо если нет оппозиции, то нет никакого общественного контроля над действиями правящей партии и главари этой партии могут творить всё, что им угодно.

После смерти Сталина, когда к власти пришел Хрущев, он заявил, что теперь «все нарушения демократии», какие были при Сталине, ликвидированы, и в сфере законности водворен полный порядок. Правдой в этом заявлении оказалось только одно: то, что при Хрущеве стало немного мягче. Но в основе не изменилось ничего. Государственная система осталась всё той же однопартийной, оппозиция всё так же запрещена, и вся жизнь страны так же зависит от воли одного правителя или нескольких правителей, сидящих в Ц. К., как это было и при Сталине. И всё это происходит в стране, Конституция которой «гарантирует» гражданам свободу слова и свободу совести! Обо всем этом не стыдятся писать в советских газетах!

Эту ложь должны учитывать иностранные туристы. Когда они приезжают в Советский Союз, то ходят, смотрят, разговаривают с людьми, и могут подумать, что ничего особенно страшного здесь нет: люди, как люди, жизнь, как жизнь. Но они должны знать, что никто из советских людей не скажет им никакой правды о жизни в Советском Союзе, если только ему самому дорога своя жизнь и своя свобода.

Жители Запада даже не могут представить себе состояние человека в советской стране. Власти здесь приучают каждого человека еще со школьной скамьи «держать язык за зубами» во всем, что касается правды, уличающей советский режим. Во всех советских школах преподается, например, такой предмет, как «Конституция СССР» (начиная с седьмого класса). В учебнике по этому предмету школьник читает, что в Советском Союзе существует самая полная свобода слова, печати, собраний, а в капиталистическом мире этого нет. И если школьник хоть немного читает газеты и хоть немного мыслит,

то он задает себе, конечно, вопрос: «Как же так? Во Франции, например, сами же французы критикуют французское правительство, а у нас попробуй, покритикуй!» Но если он, еще будучи сравнительно наивным, поделится своими сомнениями с учителем, то учитель, посмотрев на него в упор, скажет ему: «Кто тебя научил таким мыслям? Может быть, папа? Это — антисоветская пропаганда! А за антисоветскую пропаганду ты знаешь, что полагается?» Примерно так же ему ответят и родители, если он задаст им свой вопрос или, может быть, они объяснят ему, чтобы он держал такие вопросы при себе, если не хочет навлечь беду и на себя, и на всю свою семью. И тогда этот школьник раз и на всю жизнь поймет, что в Советском Союзе нужно «держать язык за зубами», и говорить не то, что ты думаешь, а прямо противоположное, или заставить себя **думать** прямо противоположное правде, чтобы не было постоянного противоречия между мыслями и словами.

Порочность хозяйственной системы. В то время как советское правительство тратит колоссальнейшие средства и на гонку вооружений, и на гонку в Космосе, и на помощь малоразвитым странам ради своего престижа, в самом Советском Союзе не хватает необходимых продуктов и товаров широкого потребления, а также существуют тяжелые жилищные условия. Это с совершенной ясностью свидетельствует о том, что советское правительство в своих действиях абсолютно не считается с нуждами и желаниями народа, что оно фактически **угнетает** народ ради своих честолюбивых целей, и если народ на «выборах» единодушно «одобряет» деятельность правительства, то это происходит только под угрозой террора.

Например, что касается жилплощади, то в Москве часто встречается такое положение: комната в 18 метров, в коммунальной квартире. В этой комнате живут четыре-пять человек, причем часто все эти люди — взрослые, муж с женой и их взрослые дети, или даже две семьи.

Живут в Москве люди и в подвалах, чего на Западе, насколько я знаю, совсем нет. (Подвал — это что-то вроде тюрьмы, и сыро, и затхло, и крохотное, зарешетчатое оконце). Я знаю, что и в соседних с Москвой городках (Загорске, Подольске) положение с жилплощадью не лучше.

Теперь — о товарах широкого потребления. Лично я зани-

маюсь обиходными делами очень мало, и к тому же, живу постоянно в Москве, а как обстоит с этими товарами в других городах или деревнях Советского Союза — не знаю. Но и мой небольшой обиходный опыт достаточен для того, чтобы я мог говорить о нехватке в Советском Союзе самого необходимого для населения.

Например, в 1962 году я безуспешно искал в московских магазинах электрический утюг. Продавщицы всюду отвечали мне, что электро-утюгов почти не появляется в продаже вот уже около полугода. В течение всего 1962 года во всей Москве почти не продавалось лезвий для бритья. А если очень редко лезвия появлялись в центральном универмаге (ГУМ'е), то их выдавали только по одной пачке, и за ними выстраивалась громаднейшая очередь.

Проходя по улице в своем районе, я регулярно вижу объявление, вывешенное на витрине хозяйственного киоска: «Персоли нет». («Персоль» — это химикат для отбелки белья, нужный всем хозяйкам). Почему вывесили такое объявление, догадаться не трудно. Персоль всё время спрашивают, и чтобы целый день не твердить «нет», продавец вывесил это «нет» в виде объявления. Зайдя случайно в центральный хозяйственный магазин, гораздо более крупный, чем этот киоск, я не увидел такого объявления, но зато услышал на словах то же самое: «Персоль есть?» — «Персоли нет».

Советская хозяйственная система устроена по принципу «наоборот». На Западе правило такое: если на какой-то товар есть большой спрос, то его выпускают как можно больше. В Советском Союзе — обратный принцип: если на товар есть большой спрос среди населения, то его выпускают как можно меньше. Во всяком случае — выпускают так мало, что всегда нехватает.

В советских газетах очень редко печатают жалобы «трудящихся» на недостаток в магазинах товаров обихода: почти никогда не печатают, хотя редакции, конечно, постоянно завалены такими жалобами. Но недавно всё-таки одна такая жалоба случайно прорвалась через кордоны цензуры. Не помню точно: не то «Известия», не то какая-то другая московская газета поместила письмо из Ростова (город с населением около миллиона), в котором автор трагически вопрошает о том, по-

чему во всем городе Ростове в продаже нет ни одной соски: младенцы города Ростова кричат, и их нечем утишить!

Это — так называемые «перебои» в советской торговле, которые длятся неопределенное время. Здесь то и дело на какой-то срок исчезает из продажи то одно, то другое, а многое или исчезает навсегда, или не появляется вовсе. Уже почти в течение двух лет в магазинах Москвы (да и всего Советского Союза) в продаже почти невозможно найти белую бумагу для пишущих машинок или копировальную бумагу, хотя спрос на это — громадный. А когда очень редко эта бумага всё-таки появляется в продаже и ее достаешь чуть ли не с боем (и выдают ее в одни руки всего по две пачки), то обнаруживаешь, что качество бумаги стало в два раза хуже, хотя продают ее по неизменной цене. Это называется откровенным ограблением населения. Вообще в стране нехватает бумаги и бумажных изделий разных сортов, хотя Советский Союз — страна самая богатая в мире лесом. Например, до самого последнего времени в московских магазинах нехватало пергаментной бумаги и покупателю нередко заворачивали масло в простую оберточную бумагу, которая пропускает жир. Только в 1963-ем году положение в Москве с этим улучшилось. Сейчас, когда я пишу это, уже месяца три, как в московских магазинах нет гвоздей. Если нужно что-нибудь забить, то просто нечем.

Зайдя в какой-нибудь московский универмаг, иногда видишь колоссальную очередь: очередь апокалиптического масштаба, тянущаяся с этажа на этаж. Спрашиваешь: «За чем это?» Отвечают: «За кофточками». В последний раз я видел такую очередь осенью 1963-го года, в центральном универмаге, после шести советских космических полетов.

В стране нехватает приличных пробок. Для обиходных целей пробки здесь делаются из какого-то крошащегося эрзац-материала. Если, например, вы покупаете бутылку постного масла, то пробку из нее вы не можете вытащить, так как во-первых, она втиснута в самую глубину горлышка, а во-вторых, сделана из этого самого крошащегося материала. Желая ее вытащить, приходится поддевать ее сапожным шилом или острием ножниц, но она от этого не вытаскивается, а крошится. Поэтому единственное, что можно сделать — это пропихнуть ее внутрь бутылки, чтобы она плавала в постном масле, а бутылку

заткнуть жгутом бумаги. Так же, например, канцелярский клей. Пробку приходится крошить внутрь пузырька с клеем, и потом пользоваться клеем с пробковой крошкой. (Кстати, клей этот и без крошки настолько плох, что им почти невозможно клеить: он раза в два гуще, чем допустимо).

Вообще о качестве советских товаров, предназначенных для обихода, приходится сказать, что почти во всех случаях оно гораздо ниже заграничного, и особенно — капиталистического уровня. Советские вещи, предназначенные для обихода, или сделаны неумело и грубо, и потому постоянно ломаются (это касается, например, советских телевизоров, пишущих машинок и пр.), или сделаны безвкусно (последнее касается особенно одежды), или сделаны из плохого материала. А нередко советская вещь совмещает в себе все эти три качества: и плохой материал, и грубое устройство, и плохое оформление. Это иногда признается и в советской печати.

В советской прессе последних лет очень много пишут о так называемых «стилягах», которые «позорят достоинство советского человека, вымаливая у иностранных туристов заграничное барахло». (Это — молодые люди, любящие модно одеваться. Они подстерегают иностранцев у подъездов отелей и просят продать им заграничные носильные вещи: брюки, рубашки, носки, ботинки). Это стало возможным на короткое время лишь благодаря послесталинскому «либерализму». При Сталине, конечно, такого молодого человека немедленно схватили бы, избили до потери сознания и отправили бы в концлагерь (а заодно репрессировали бы еще и его родителей). Но и после Сталина на это смотрели сквозь пальцы лишь несколько лет. Сейчас таких молодых людей уже высылают в «специально отведенные места жительства», как выражаются советские газеты, то есть по существу, в концлагерь.

Но на самом деле не эти молодые люди позорят советскую систему, а эта система позорит сама себя. Почему это, например, в Италии или во Франции молодые люди не поджидают иностранцев у подъездов отелей и не умоляют их продать им брюки или рубашку? Потому, конечно, что и в самой Италии или во Франции вполне достаточно брюк и рубашек любых фасонов. А вот в Советском Союзе молодой человек, желающий

модно одеться, не может сделать это иначе, чем купив вещи у иностранцев.

Во всем этом, как всегда, самую отвратительную роль играет и советское лицемерие. От людей, бывших за границей, я слышал, что за границу Советский Союз поставляет вещи довольно высокого качества, и по очень дешевой цене. (Например, швейные машинки, дамские туфли и др.). Всё это делается отчасти — ради приобретения валюты, но вместе с тем — и ради того, чтобы показать перед заграницей, как хороши и недороги советские вещи. А советскому жителю предлагаются вещи в несколько раз худшего качества и в несколько раз дороже.

Подобное же положение вещей — с автомобилями. Советское правительство продает автомобили и в Финляндию, и в Англию, и в другие страны, причем продает по тем сравнительно дешевым ценам, которых требует мировой рынок. Это значит, кто какому-нибудь жителю Финляндии советское правительство дает возможность очень недорого купить советский автомобиль. А жители самого Советского Союза не могут купить здесь автомобиль даже за самую дорогую цену. Например, автомобиль марки «Москвич» Советский Союз продает в Финляндии по цене 400 рублей, а в Советском Союзе тот же «Москвич» стоит 3.500 рублей, то есть почти в девять раз больше (3.500 рублей — это 35 месячных окладов советского рабочего). Но и за эти деньги купить в Советском Союзе «Москвич» или какой-либо иной автомобиль почти невозможно. Косвенное признание этого можно найти и в советских газетах. К тому же, от своих знакомых, у которых есть автомобиль, я знаю, что если сломалась в автомобиле какая-нибудь деталь, то купить в магазине ее почти невозможно. Всякими деталями и запасными частями торгуют только из-под полы те шоферы и прочие люди, которые их где-то воруют. А обратиться в авторемонтную мастерскую — это тоже почти невозможно, потому что таких мастерских в Советском Союзе ничтожно мало, и там — колоссальные очереди.

Но вернемся от таких крупных вещей, как автомобиль, к таким мелким предметам обихода, как пробки: всё те же злосчастные пробки. Выше говорилось, что они делаются из отвратительного крошащегося материала. Но даже и таких пробок

нехватает. И где? В лекарственной промышленности. В последнее время месяца два-три длился период, когда в московских аптеках больным выдавали лекарства в пузырьках совсем без пробок: просто завязанных бумажкой. Такой пузырек с лекарством нужно было нести перед собой на вытянутой руке, чтобы не расплескать лекарство по дороге.

Нехватает и самих лекарств. Однажды мой знакомый просил меня взять ему по рецепту глазные капли «пилокарпин». Это — лекарство против глаукомы, очень распространенного глазного заболевания. При отсутствии этого лекарства человеку требуется операция глаза, или он может ослепнуть. А это лекарство в Советском Союзе — дефицит. Даже однопроцентный пилокарпин есть далеко не во всех московских аптеках, а шестипроцентный пилокарпин можно получить только в одной центральной аптеке Москвы. Стоя в очереди, я был свидетелем того, что и в этой центральной аптеке многих лекарств, которые спрашивают больные, нет. От своего соседа по очереди я услышал такой рассказ. Один его знакомый был болен глаукомой, и ему был необходим этот пилокарпин. Он целыми днями ходил по аптекам в поисках его и не мог найти. (Может быть, это было и не в Москве). Наконец, ему надоело трепать себе нервы, со зла он запил горькую и совсем ослеп. Советский Союз посылает в виде помощи лекарства на Цейлон. А кто пошлет их в виде помощи в Советский Союз?

В последние год или два в московских аптеках появилась по крайней мере вата. А до этого и вата была дефицитом (Это — в Москве!).

Так называемое «бытовое обслуживание» населения поставлено очень плохо даже в Москве. Однажды у меня возникла идея подкоротить себе брюки, слишком длинные. В Москве это нельзя сделать иначе, чем обратившись к помощи государственного учреждения, называемого «комбинат бытового обслуживания». В этом «комбинате» мне пришлось стоять в очереди часа три, наблюдая душераздирающие сцены: какие-то «трудящиеся» с брюками в руках рвутся к заветному окошку, пытаясь протолкнуть туда свои брюки без очереди, какие-то старухи в салопах с визгом отталкивают их, какая-то женщина кричит, что она психически больная и т. п.

В сапожных мастерских — тоже немалые очереди, хотя,

нужно признать — гораздо меньшие, чем в «комбинатах». Чинят обувь в этих мастерских отвратительно. Об этом писали даже в «Вечерней Москве». (Какой-то женщине почти новые модельные туфли в сапожной мастерской не починили, а совершенно испортили, что и послужило причиной заметки в газете). А однажды я наблюдал в сапожной мастерской (в самом центре Москвы) такую сцену. Какой-то «трудящийся» долго сидел на стуле с одной разутой ногой, в ожидании, пока ему поставят на полуботинке маленькую латочку. Наконец, работа была готова. Ему вынесли полуботинок и вручили его. Взяв его в руки, он закричал: «Что же вы на коричневый полуботинок пришили латку белыми нитками?!» Ему ответили: «Возьмите и закрасьте дома краской. Трудно, что ли?»

На тему бытового обслуживания населения можно поговорить и о клопах. В столице «самого передового в мире государства» клопов — несметное множество. Особенное бедствие клопы представляют собой летом, и особенно — в деревянных домах, которых на окраинах Москвы еще очень много. (Да и в центре города такие дома еще остаются в переулках и дворах). Одна из причин такого множества клопов заключается, конечно, в том, что в Москве до сих пор над частными квартирами значительно преобладают по числу коммунальные квартиры, и нередко — многонаселенные. А в коммунальной квартире, где живут совершенно чужие друг другу семьи, одна семья вывела в своей комнате клопов, а другая не вывела, и через полмесяца в комнату первой семьи опять наползли клопы от соседей.

Но вторая, и еще более важная причина засилья клопов в Советском Союзе — это, конечно, «самая передовая в мире социалистическая система». Единственно эфективное средство борьбы с клопами — это полная дезинфекция комнаты или даже целой квартиры. И в Москве есть так называемые «санпункты», в которые «трудящиеся» обращаются с жалобами на клопов. Получив такую жалобу, санпункт за определенную плату должен выслать по указанному адресу санитара, чтобы он произвел дезинфекцию. И санитаров, действительно, посылают. Но, как и всего, что касается бытового обслуживания населения в Советском Союзе, этих санпунктов совершенно недостаточно. Я знаю, например, от своей соседки по квартире, что когда она обратилась в такой санпункт с просьбой произвести

у нее в комнате дезинфекцию, то ее поставили на очередь и сказали ей, что месяца через три очередь подойдет. А если бы в этом деле дезинфекции было позволено частное предпринимательство, то нетрудно догадаться, какой был бы результат. Мгновенно возникло бы целое акционерное общество по проведению дезинфекции квартир, и в целях прибыли это общество поставило бы дело дезинфекции на такую широкую ногу, что через несколько месяцев в таком городе, как Москва, может быть и не осталось бы клопов.

От клопов перейдем к так называемому «общественному питанию» в Советском Союзе.

В жизни Запада роль всякого рода кафе, закусочных, ресторанчиков громадна. Все эти места на Западе служат не только для того, чтобы человек мог там поесть, но и для того, чтобы люди могли там собраться в уютной и интимной обстановке, поговорить, поспорить, назначить свидание, просто побыть на людях и отдохнуть после службы. От этого возникает сам колорит западной жизни: жизни свободной, непринужденной, уютной. Кроме того, на Западе разного рода кафе — это места общественной жизни: в одном из них собирается один круг общества, в другом — другой. Я слышал, что в России перед революцией было примерно так же. А советская власть запретила все частные кафе, закусочные и рестораны. Большинство их помещений было передано под разные бюрократические конторы, которых в Советском Союзе удивительно много. (Почти в каждом доме Москвы помещается какая-нибудь контора, а иногда — и несколько контор). Вместо частных кафе и закусочных в Советском Союзе были устроены так называемые «места общественного питания», бóльшая часть которых наречена «столовыми».

Типичная советская столовая — это казарменное серое помещение, снаружи украшенное канцелярской вывеской, один вид которой способен отбить у человека всякий аппетит, а внутри обычно это помещение очень нечистое и связано со словом «ожидание». В Москве, правда, центральные коммерческие столовые нельзя назвать грязными (а можно назвать лишь скучными и казенными), но заводские столовые и в Москве грязны, а уж о провинции нечего и говорить. Пища в средней советской столовой — очень скудная по ассортименту,

очень плохая по качеству и очень дорогая по цене. В коммерческих столовых обед, состоящий из тарелки супа на первое, куска мяса на второе и стакана чая на третье стоит приблизительно одну треть или четверть дневного заработка среднего рабочего и служащего. А в заводских столовых пища раза в полтора дешевле, но и соответственно хуже по качеству. Вообще качество пищи в советских столовых часто бывает отвратительным по очень понятной причине: и дирекция, и повара в советских столовых обычно воруют.

В последнее время, в связи с приездом иностранных туристов, в Москве стали приниматься какие-то меры по улучшению «мест общественного питания». Теперь в Москве нередко видишь уютные кафе западного типа: с изящными столиками и стульчиками, с каким-то вкусом в оформлении. Стали вводиться также кафе с самообслуживанием во избежание долгого ожидания за столом. Но и в этих кафе в часы-пик всё-таки стоят очереди, потому что таких кафе слишком мало: раз в десять меньше, чем требуется. Однако, и в Москве до сих пор остается немало столовых классического советского типа, не говоря уже о провинции.

Во времена «либеральной» политики Хрущева молодежь в Москве пыталась устроить какое-то молодежное кафе, в котором можно было бы не только поесть, но и посидеть весь вечер, и поговорить, как это делается на Западе. Но тотчас это кафе обрело даже снаружи чисто советский облик. Перед его дверью стала выстраиваться очередь длиной в полкилометра, потому что на всю Москву такое кафе было только одно. А сейчас, наверное, и его закрыли, и если закрыли, то правильно сделали, потому что сама идея такого кафе в советских условиях явно нелепа. О чем можно в таком кафе свободно поговорить, когда за свободное слово в Советском Союзе вас могут выслать в отдаленные края?

В Москве нехватает и продуктов питания, и продуктовых магазинов, и продавцов, и кассиров. Правительство экономит. Правительство до последней степени сокращает штаты там, где штаты необходимы для нужд населения, чтоб выгадать еще один лишний рубль для своих авантюр. В результате этой «мудрой политики родной коммунистической партии» в Москве, например, магазины забиты народом, стоят очереди (когда

есть, что покупать, и когда нужно покупать, то есть в основном по утрам), в этих очередях — и крики, и духота, и ругань и всё прочее, что портит человеку нервы.

Вот конкретная жизненная деталь. Недавно мне пришлось быть в одной московской молочной. Я хотел купить себе творожный сырок. Сама молочная — маленькая и тесная. Набита она до отказу людьми. К трем продавщицам стоят очереди. Люди, которым, как и мне, нужно взять лишь штучный товар (сырок, пачку масла, бутылку молока) вынуждены стоять в общей очереди с теми, кому разливают молоко и сметану, режут сыр и развешивают сырковую массу. Это — и долго, и утомительно. А если бы был один лишний продавец, который специально отпускал бы только штучные товары, то людям, пришедшим за сырком или пачкой масла, не пришлось бы стоять в очереди, в магазине было бы в два раза меньше народу, у людей в два раза меньше портились бы нервы.

Как я уже сказал, нехватает не только магазинов и продавцов, но и самих продуктов. Их нехватает даже в Москве, хотя Москву снабжают гораздо лучше, чем большинство других городов Советского Союза, не говоря уже о селах.

Я помню, что после войны, в пятидесятых годах, ассортимент продуктов в Москве был гораздо богаче. Тогда в Москве были и красная икра, и снатка, и балыки, и красная рыба, и топленое масло, и яблоки хороших сортов, и сгущенное молоко, и рис, и греча. Теперь, в шестидесятые годы всё это из продажи в основном исчезло. Черная икра, правда, не исчезла, но подорожала в два раза и стоит так дорого, что теперь ее могут покупать лишь министры.

Иногда видишь колоссальную очередь. Спрашиваешь: «За чем это?» Отвечают: «За гречей», или: «За рисом», или: «За яблоками». За яблоками, правда, в Москве выстраивается очередь лишь в том случае, если есть в продаже приличные и недорогие яблоки. А за теми магазинными яблоками, которые хуже рыночных и дороже рыночных, очереди, конечно, нет. Что же касается груш, то даже и на рынках Москвы теперь почти нет хороших груш. Раньше, в пятидесятые годы, много хороших груш привозили частным образом грузины на продажу в Москву. Но позднее этот частный привоз советская власть стала всячески стеснять, и результат — обеднение рынка. А в

магазинах Москвы продается один единственный сорт груш, который верней всего будет назвать деревянная груша, так как она всеми своим свойствами более всего напоминает дерево: она и темная, как древесный ствол, и жесткая, как древесный ствол, и по вкусу немногим отличается от древесного ствола.

А ведь Советский Союз включает в себя Молдавию, и Крым, и Кавказ, и Среднюю Азию: страны, которые могли бы снабжать весь мир яблоками и грушами лучших сортов, если бы там была свободная единоличная система сельского хозяйства!

Но мало того, что продуктов нехватает — на них повышаются цены и одновременно всё хуже делается их качество. При этом нужно заметить, что когда цены повышаются на Западе хотя бы на два-три процента, то в советских газетах тут же появляются сообщения об этом. (Но когда там соответственно повышается зарплата, то об этом в советских газетах, конечно, не пишут). А вот когда цены повышаются в Советском Союзе, то в советских газетах сообщают об этом лишь в исключительных случаях: лишь тогда, когда цены повышаются очень резко, и на самое необходимое. (Как, например, были повышены цены на тридцать процентов на мясо и жиры в 1962-ом году). А помимо этого в Советском Союзе повышаются цены то на одно, то на другое втихомолку.

Где нибудь во Франции такое негласное повышение цен непременно вызвало бы забастовку и демонстрации. Но в Советском Союзе народ вынужден проглатывать молча любые сюрпризы, которые ему преподносит «родная, любимая и мудрая коммунистическая партия».

Как я уже сказал, одновременно с повышением цен на многие продукты, качество их становится всё хуже. Сливочное масло теперь покупаешь такое, что в нем, кажется, настоящего масла только половина, а остальное состоит то ли из сала, то ли из маргарина, то ли из вазелина. Сгущенное молоко теперь в основном совсем исчезло из продажи, но когда мне однажды удалось его купить, я обнаружил, что оно стало гораздо хуже, чем было прежде, хотя цена за него берется такая же, как и прежде. Качество хлеба тоже становится всё хуже. Особенно плохим хлеб стал осенью 63-го года, в связи с хлебным кризисом. Теперь даже в Москве в хлеб добавляется очень много кукурузы и овса. А ведь деньги за него берут всё те же. Че-

ловек, работающий на кондитерской фабрике, рассказывал, что в шоколад сейчас добавляется очень много сои, крем для тортов и пирожных делается гораздо хуже, чем прежде, а деньги за всё это с покупателя берутся, как и прежде.

С продуктами было скудно и до продовольственного кризиса 1963 года. А сейчас, когда я пишу это, в Москве исчезает из продажи так называемый «белый» хлеб (то есть полупшеничный-полукукурузный) и остается только темный, отличающийся особой тяжестью. (Белый хлеб сейчас есть в булочных только по утрам, за ним стоят в очереди, и в очередях — ругань по неопределенному адресу, так как назвать определенных виновников всего этого кризиса народ, конечно, не смеет. Люди знают, где они живут).

В других городах сейчас трудно достать вообще какой бы то ни было хлеб. Например, приезжие из Саратова рассказывают, что там очередь за хлебом устанавливается с четырехпяти часов утра, и это — без уверенности в том, что хлеб достанется. В том же Саратове рабочие в заводских столовых хлебали свою бурду четыре дня совсем без хлеба, что для русского человека совершенно дико: есть похлебку — и без хлеба.

В Москву сейчас приезжают люди из Подольска (это — заводской город неподалеку от Москвы, с населением около 100 тыс.), за картошкой. Говорят, что в Подольске картошки нет, и в Туле тоже нет. Несколько дней картошки было очень мало и в Москве. За ней стояли страшные очереди (человек по пятьсот), так как люди хотели сделать запас. Но затем картошки привезли в Москву довольно много, и пока ее хватает. А вот приезжий из Запорожья (большой город на Украине) рассказывал, что и в прошлом году в Запорожье картошки очень нехватало, и за ней стояли громадные очереди.

Вообще приезжие из других городов (или ездившие туда по командировкам) рассказывают, что во многих из них с продуктами очень плохо. (И это — не только сейчас, в год хлебного кризиса, но и вообще в послевоенные годы, а собственно говоря — и во все годы советской власти).

Вот что, например, рассказывают о таком городе, как Куйбышев. (Это — центр всего Поволжья, насчитывающий сейчас, очевидно, более полумиллиона населения. По переписи 1939

года, там числилось 390 тыс. человек, но после войны этот город очень сильно разросся). В этом городе обычно не бывает в продаже белого хлеба, а тот серый или черный хлеб, который есть в продаже, отличается отвратительной выпечкой. (В него добавляют очень много каких-то примесей). Сливочного масла в этом городе тоже обычно не бывает. Дешевой колбасы, доступной по цене рабочим и служащим, тоже не бывает. (Бывает лишь та очень дорогая копченая колбаса, которую никто не покупает). Коммерческих столовых в городе очень мало. Рабочие питаются обычно в заводских столовых, где пища дешевле, но хуже, и где царит страшная грязь. (Приезжий рассказывал, что в этих столовых нет никаких уборщиц).

Приезжающему в этот город, по существу, негде остановиться, если он только не обладает высоким титулом. В немногих приличных гостиницах номера́ приберегаются только для титулованных командировочных особ, то есть генералов, полковников, докторов наук, директоров заводов и прочей советской элиты. А всем, кто по чину не входит в элиту (то-есть стоит ниже полковника по военной линии, ниже доктора наук по научной линии, и ниже директора завода по хозяйственной линии) предоставляется «гостиница» следующего типа: громадная зала (кажется — бывшего Дворянского Клуба) уставлена вряд койками. Стоят в этой зале примерно семьдесят коек. Воздух — соответственной тяжести. Ночью — невообразимый храп (так как из семидесяти спящих мужчин двадцать уж непременно храпят). Канализации нет. За сутки пребывания в этой «гостинице» взимается плата в 1 рубль. (Это — приблизительно одна треть дневного заработка квалифицированного советского рабочего или служащего с высшим образованием).

Вечером по городу Куйбышеву ходить опасно, так как в этом городе убивают и грабят чрезвычайно часто. (Я и сам читал в московских «Известиях» письмо из Куйбышева, в котором автор жалуется на засилье хулиганов в этом городе). Всё это описание Куйбышева я получил от человека, бывшего там в последний раз летом 1963 года.

А вот другой советский город: Ярославль. (Население — 400.000, по переписи 1956 года). Родина первой женщины-покорительницы Космоса. Сливочного масла и колбасы, доступной по цене населению, здесь тоже нет. Мяса в магазинах нет.

(Оно есть только на рынке, где его цена почти вдвое дороже государственной. Килограмм мяса там стоит столько, сколько квалифицированный рабочий зарабатывает за целый день: 3 рубля). Но зато белый хлеб на родине первой космонавтки до 1963-го года бывал в продаже. На мой вопрос, есть ли в Куйбышеве и Ярославле в продаже яйца и молоко, человек, неоднократно ездивший туда и живший там по нескольку недель, ответил мне, что лично он никогда не видел там в магазинах ни яиц, ни молока. И мне нетрудно в это поверить, потому что и в Москве яйца в достаточном количестве появились лишь в последние года два, а до этого за ними всегда бывали очереди, как и за молоком.

Но ради правды нужно признать, что есть в Советском Союзе и такие города, где с питанием обстоит не хуже, чем в Москве. В Ташкенте, например, по рассказам приезжих, царит сравнительное изобилие. (И главное — там очень богатый рынок, что для Советского Союза является редкостью, так как советская власть в последние годы всячески сводит на нет рыночную торговлю).

Как обстоит с продуктами в сельских местностях — этого я, к сожалению, не знаю, но знаю, что в общем советская власть обирает крестьян немилосердно и страшно угнетает их: угнетает не столько даже материально, сколько психологически. Они живут в своих колхозах, как заключенные, что объясняется рядом причин.

Положение крестьян. Каждый человек хочет работать на себя, а в колхозе крестьянин лишен этого права. Он работает здесь не на себя, а на целый колхоз, и его личный доход зависит от дохода всего колхоза. Но доход колхоза — это нечто совершенно неопределенное, ничем не гарантированное и шаткое. Колхоз сдает осенью обязательные поставки зерна и других продуктов государству, а что после этого останется — то делится между крестьянами по так называемым «трудодням», т. е. по определенной ведомости, где записано, какую работу за каждый день каждый крестьянин выполнил. И если бы государство взимало с колхозов какую-то неизменную норму поставок, независимо от урожая, то тогда у крестьян был бы стимул работать. Тогда каждый крестьянин знал бы, что чем больше будет урожай, тем больше ему останется продуктов на тру-

додень после сдачи поставок. Формально советское государство, конечно, обязуется придерживаться какой-то твердой нормы во взимании поставок. Но фактически в этом царит полный произвол благодаря диктаторской системе власти, и чем больше оказывается урожай, тем больше государство сдирает с колхозов поставок, платя им по государственным ценам за эти поставки гроши. (Делается это, например, путем так называемых «добровольных» обязательств перевыполнить план поставок государству на столько-то процентов; обязательств, которые навязываются колхозам абсолютно насильственно, и многими иными путями). Именно ради такого обдирания крестьянства система колхозов и была устроена. Если бы крестьянин был собственником, то **отнять** у него его добро никто не имел бы права. Да он никому и не отдал бы. Он вцепился бы в свое добро зубами. Но когда всё колхозное добро находится в ведении председателя колхоза, который назначается по указанию партийного руководства, и является в колхозе агентом государственной диктатуры, то ясно, что через этого агента государство может обдирать колхоз, как ему угодно. (Например, иногда отдают приказ: с каждого двора собрать дополнительно столько то яиц. И какие-то люди обходят все крестьянские дворы и отбирают у крестьян яйца, платя им за них гроши. (Это — почти как гитлеровская окупация). При таком порядке вещей у крестьян, естественно, нет стимула работать, так как, работая, они совершенно не знают, что они в конце года получат на свои трудодни; что им оставят, а что у них отберут.

В связи с этой темой мне вспоминается последняя поэма А. Твардовского «Теркин на том свете». Об этой поэме я вспомнил здесь потому, что в одном ее месте Твардовский дает свою характеристику колхозного трудодня, а перед этим — характеристику типичной советской столовой. О столовой он говорит, что «обозначено в меню, а в натуре нету». (И это действительно так, потому, что в советских столовых очень часто в меню записаны самые великолепные блюда, а на самом деле их нет: есть лишь какой-нибудь суп-лапша и котлеты, сделанные наполовину из хлеба). В таком же смысле Твардовский говорит и о колхозном трудодне: в ведомости за-

писано, что заработал крестьянин за каждый день столько-то и столько-то, а в натуре — нету.

Вот, впрочем, это место из поэмы:

«А паёк загробный тот
По какой же норме?
— По особой. Поясню
Постановку эту:
Обозначено в меню,
А в натуре нету.
— Ах, вот так. — Глядит солдат,
Не в догадку словно.
— Ну, еще точней, оклад
И паёк условный.
На тебя и на меня
Числится в расходе.
— Вроде, значит, трудодня?
— В некотором роде...»

Благодаря неуверенности в оплате своих «трудодней», и вообще благодаря всей отвратительности колхозной жизни, крестьяне обычно хотят бежать из колхоза в город. И чтобы они не могли этого сделать, советская власть не выдает им на руки паспортов. Без паспортов в Советском Союзе нельзя ни жить в городе, ни поступить там на работу. Это значит, что крестьяне в Советском Союзе лишены самых элементарных гражданских прав: права свободного перемещения и права свободного выбора профессии. Они фактически превращены в советских крепостных, заключенных в принудительные колонии, именуемые колхозами. А этих заключенных — треть населения страны.

Конечно, в официальном советском законодательстве не сказано, что крестьяне не имеют права иметь на руках паспорта. Но между тем, даже в Большой Советской Энциклопедии, при всей ее исключительной лживости во всех вопросах, связанных с политикой, сквозит признание того, что в праве на обладание паспортом крестьяне в Советском Союзе поставлены в какое-то особое положение. Вот что здесь написано буквально о «паспортной системе»:

«Паспорта обязаны иметь все граждане, достигшие 16-летнего возраста и постоянно проживающие в городах, поселках городского типа, районных центрах, в определенных районах Ленинградской области, на всей территории Московской области и в других специально указанных местностях. Без паспортов проживают: 1) военнослужащие, состоящие на действительной военной службе; 2) лица, находящиеся на лечении в лечебных заведениях; 3) **жители сельских местностей** (за исключением тех, где введена паспортная система)...»

Примечательно, что паспортная система была введена в Советском Союзе в 1932-ом году, то-есть в период бандитского внедрения колхозов в деревне. Это ясно говорит о том, что паспортная система была введена именно с той целью, чтобы закабалить крестьян в колхозах и не дать им возможности бежать оттуда в город.

А то, что крестьяне хотят бежать из колхозов, понятно не только с экономической, но и с психологической точки зрения. Город и деревня — это такие противоположности, каждая из которых имеет свою специфическую прелесть. Прелесть городской жизни — в цивилизации (кино, театры, модная одежда и пр.), а прелесть деревенской жизни — в том, что здесь — природа, и в том, что здесь человек имеет **свое хозяйство.** (Будучи же в городе рабочим или служащим, человек в психологическом отношении лишается всей той прелести, которая заключена в роли хозяина). Но если у деревенского жителя отнять роль хозяина, то чем же деревня будет прельщать его больше города? Только красотами природы? Этого мало.

Не удивительно, что при таких условиях крестьяне хотят бежать из деревни в город, и советская власть вынуждена лишать их права на паспорт, чтобы воспрепятствовать этому. Но от того, что их держат в колхозах насильно, как заключенных, у них, конечно, «трудового энтузиазма» не прибавляется, а прибавляется лишь озлобленность против советской власти, желание напиться и всё изгадить в ненавистном для них колхозе. Так они и делают.

Запрет свободы религии. Советская Конституция лицемерно провозглашает свободу религиозных вероисповеданий, а на деле советская власть всячески стесняет свободу религиозной жизни людей, и более того: проводит политику насильственного

искоренения религии. Это подтверждается многочисленными фактами: число ежегодно закрываемых советской властью храмов (в последнее время их закрывается больше, чем по 500 в год), свидетельства перемещенных лиц, и такой, например, случай, сделавшийся известным всему миру, когда в начале 1963-го года в американское посольство в Москве прорвалась целая толпа крестьян, пришедших из Сибири. Крестьяне жаловались на притеснения их со стороны советских властей за религиозные убеждения и просили об американском подданстве. Эти люди знали, что в случае неудачи их предприятия их ожидают репрессии (которые, вероятно, и последовали, так как их предприятие, конечно, не удалось). Но отсюда можно понять, до какого же отчаяния они были доведены.

От знакомого священника я знаю, что в Киеве власти закрыли монастырь, существовавший там с древнейших времен и бывший крупнейшим монастырем России. Знаю и такой факт: закрыли женский монастырь, а монашенок перевели в мужской монастырь, чтобы они там занимали половину здания. Тот же священник говорил мне, что когда монастыри закрывают, то от монахов требуют, чтобы они писали различные «разоблачения религии» или выступали с такими «разоблачениями».

В Советском Союзе ведется яростная антирелигиозная пропаганда, в которой советские пропагандисты не брезгуют прибегать к самой грубой лжи. Как на пример этого можно указать хотя бы на книжку некоего Крывелева «Евангельские сказания и их смысл». На 14-ой странице этого своего «труда» автор пишет буквально следующее: «Евангелие Иоанна утверждает, что Иисус жил в Иерусалиме, тогда как три других Евангелия говорят, что он жил в Галилее». Но на самом деле в Евангелии Иоанна так же, как и в трех остальных Евангелиях, ясно сказано, что Иисус происходил из Галилеи, проповедывал по всей Палестине, и лишь на праздники приходил в Иерусалим. О том, что Иисус жил в Иерусалиме, в Евангелии Иоанна не говорится. Из такого передергивания наполовину и состоит названная книжка Крывелева, и многие другие аналогичные издания. Среди них есть, например, книжка некоего Габинского «Верую, потому что нелепо».

С исключительной бессовестностью такие авторы искажают известные исторические факты. Например, уже упомя-

нутый Крывелев пишет в своих «трудах», что в тридцатых годах первого века, при Понтии Пилате, в Иерусалиме не было и не могло быть римских солдат, так как, де, они появились там лишь в шестидесятых годах, во время римско-иудейской войны, а в тридцатые годы, при Пилате, находились на побережье, в Кесарии. Но основной историк Палестины того времени, Иосиф Флавий, в 18-ой книге своего труда («Иудейские древности») пишет черным по белому, что Понтий Пилат однажды направил в Иерусалим из Кесарии отряд воинов на зимовку. (Что совершенно естественно и даже необходимо по логике вещей, ибо не мог же Пилат осуществлять свою власть в Иерусалиме без солдат!) Крывелев никак не может этого не знать, так как исторический труд Иосифа Флавия, а особенно в тех его местах, которые касаются времен Понтия Пилата, известен всякому исследователю Библии. Но, зная, что в Иерусалиме в тридцатых годах были римские воины, Крывелев пишет, что их там в это время не было и быть не могло. Тот же Крывелев в своей книжке утверждает, что наукой, якобы, доказано, что города Назарета в первом веке в Палестине не существовало. Примерно то же утверждает довольно крупный советский «ученый» Ленцман, в своей книге «Происхождение христианства». И при всей беспардонности той «критики», которую в Советском Союзе антирелигиозная пропаганда обрушивает на религию, сторонники религии здесь лишены всякой возможности как-либо защищать свои взгляды устно или в печати. (А сторонников религии в Советском Союзе, по официальным данным, числится не менее 12-ти миллионов: 10 миллионов православных, полтора миллиона баптистов, и другие секты). Сторонники религии здесь лишены даже права **проверить** ту критику, которую антирелигиозная пропаганда обрушивает на библейские тексты. Могу рассказать о таком эпизоде из своей личной жизни.

Однажды я взял в общем читальном зале Библиотеки Ленина атеистическую книгу, содержавшую в себе критику Библии. Затем я попросил самый текст Библии. Мне его выдать отказались. Сказали, что тексты религиозных книг без особого разрешения не выдаются. (И, разумеется, таких книг нет в продаже). Я спросил: «Но как же я могу читать критику текстов Библии, не видя самих этих текстов?» Мне ответили: «В той книге, которую вы взяли, приводятся те выдержки из Библии,

которые критикуются. Этого достаточно». Но, во-первых, буквальные выдержки из Библии в таких атеистических книжках приводятся далеко не всегда. Когда автор допускает передергивание текста, он не приводит буквальной выдержки, а просто говорит, что в такой-то главе Библии написано то-то и то-то. А во-вторых, если даже буквальная выдержка и приводится, ее смысл трудно понять, так как она оторвана от предыдущего текста.

В Советском Союзе никогда не было напечатано ни одной книги или статьи, в которых деятели церкви или просто верующие люди говорили бы хоть одно слово в оправдание религии от нападок на нее со стороны советской антирелигиозной пропаганды, и протестовали бы против грубого искажения текстов религиозных книг, и вообще против грубой лжи, допускаемой по отношению к религии и церкви.

Всё это с совершенной ясностью говорит каждому, что свобода религиозной жизни в Советском Союзе подавлена почти абсолютно. Единственное, что здесь позволено в сфере религиозной — это ходить в храмы и молельные дома, находящиеся под наблюдением властей. Но, как уже говорилось, и храмов закрывается в последнее время всё больше и больше, а за всякое собрание в ином месте верующие подвергаются репрессиям.

Поскольку я заговорил о репрессиях по отношению к верующим, не могу не сказать о характере этих репрессий, что лично мне известно от знакомых верующих. В Советском Союзе репрессируют всякого, кто хоть в малейшей мере пытается активно проповедывать религиозные идеи (например, публично оспаривает утверждение атеистов или распространяет религиозную литературу). Репрессии по отношению к таким людям выражаются в том, что их или высылают в отдаленные места или сажают в концлагери или очень часто — объявляют психически больными и запирают в сумасшедшие дома или в колонии для сумасшедших. А там их иногда подвергают так называемому «принудительному лечению». Это «лечение» выражается в операции, называемой «пункция». Она состоит в повреждении определенных мозговых центров и превращает человека в психически ненормального. Таким образом он становится для советской идеологии безопасен.

Ну, конечно, самая обычная мера в борьбе с религией, к

которой прибегает советская власть — это система осведомителей и шпионов среди священников. Священника вызывают в райком и предлагают ему стать осведомителем, пообещав за это, конечно, и повышение по службе и прочие блага. Если он отказывается, то за это его высылают в отдаленный приход или применяют к нему иные меры. Так же советские власти принуждают священников под угрозой репрессий писать заявления, в которых они говорят, что церковь в Советском Союзе не подвергается никаким притеснениям со стороны властей: что храмы и семинарии закрываются сами собой (то-есть из-за падения веры).

Запрет свободы творчества. В заключение мне хочется сделать маленькое замечание о положении живописи в Советском Союзе. Примерно с середины тридцатых годов в Советском Союзе был запрещен в живописи всякий стиль кроме так называемого «реалистического». После смерти Сталина, когда в стране повеяло какой-то оттепелью, художники сделали отчаянную попытку вернуть себе свободу стиля и писать так, как им хочется, а не как велит «мудрая партия и правительство». Как известно, эта попытка окончилась крахом в начале 1963-го года. Самые бездарные и нечестные из советских художников испугались, что если будет позволена свобода творчества в живописи, то их «творчество» отправится на помойку, и написали Хрущеву письмо, в котором они взывали к его партийной бдительности, утверждая, что в советское искусство стал проникать «маразм Запада». (Во главе этих «художников» был нынешний президент Академии Художеств Серов). Затем, по инициативе этого же Серова, Хрущеву были показаны некоторые полотна советских абстракционистов, причем специально — самые левые. Увидев их, Хрущев стал плеваться и ругаться, и затем началась известная кампания по запрету свободы творчества.

Официальная советская пресса изображает эту кампанию, главным образом, как кампанию против абстракционизма. В добавление к этому лишь изредка присовокупляется: «и формализма». Поэтому у западного читателя может сложиться впечатление, что в Советском Союзе правительство выступает лишь против каких-то самых крайних левых форм искусства, доходящих до безобразия. И хотя такое вмешательство прави-

тельства в дела искусства по существу было бы тоже недопустимо, всё-таки оно могло бы у многих западных читателей вызвать снисходительную реакцию, поскольку и на Западе многие люди не являются сторонниками крайне левого искусства, а иногда и прямо осуждают его, когда оно доходит до хулиганства. Чтобы у западного читателя не возникло такого ложного представления, мне хочется здесь заметить, что в Советском Союзе Хрущев запретил не только крайне левое искусство, но и вообще всякое искусство, которое ему лично не нравится. А ему, с его примитивным интеллектом, конечно, нравится в живописи только то, что похоже на стихи Демьяна Бедного.

В Москве среди интеллигенции пользуется широчайшей известностью и любовью такой, например, художник, как Фальк. (Его, очевидно, знают и на Западе, поскольку он жил в Париже и выставлял там свои работы не без успеха). Картины Фалька по своему стилю не имеют ничего общего ни с абстракционизмом, ни с так называемым «формализмом», ни, вообще, с каким бы то ни было крайне левым направлением. Очень многие из них более реалистичны по стилю, чем, даже, вещи французских импрессионистов. Но всё-таки они непохожи на фотографии, и этого оказалось достаточным, чтобы Хрущев запретил их. Он увидел картину Фалька «Обнаженная», эта картина ему не понравилась, и он наложил запрет на всё творчество этого художника, пожалуй, самого любимого в среде художественной интеллигенции Москвы.

Картины Фалька, так же, как и многих других художников, пользующихся любовью интеллигенции, нигде в Советском Союзе не выставляются.

Запрет свободы информации и дезинформация населения. В Советском Союзе вплоть до середины 1963 года заглушались западные радиопередачи, тогда как на Западе советские радиопередачи не заглушались и не заглушаются. В советских газетах не появляется даже сообщений о крушениях и несчастных случаях, бывших в Советском Союзе. Всё это — свидетельства того, насколько компартия Советского Союза скрывает всякую объективную правду от населения.

Лично мне, например, известно от одного очевидца-ученого, что на Урале в 1958-ом году произошел взрыв атомного ре-

актора, в результате которого было много тысяч жертв. Этот человек сказал буквально такую фразу: «Жертв было не меньше, чем в Хиросиме и Нагасаки». Допустим даже, что это преувеличение, но всё-таки много тысяч жертв, вероятно, было. И уж несомненной правдой в его словах было то, что кроме прямых жертв этого взрыва, зараженным оказался целый громадный район. И обо всем этом в советских газетах — ни слова. А когда в атомной промышленности США происходят несчастные случаи, в результате которых оказываются погибшими 10-12 человек, советская печать тут же сообщает об этом.

От другого очевидца мне известно, что в Караганде на шахтах очень часты обвалы, в результате которых погибает много людей. Об этом в советских газетах — ни слова. А когда раз в год происходит обвал где-нибудь на шахте на Западе советские газеты тут же публикуют сообщения об этом.

Лично мне известно, что в Москве летом 1962-го года произошло подряд несколько страшных крушений дачных поездов, в результате которых было много сотен жертв. И об этом в советских газетах — ни слова. А когда на Западе терпит крушение один самолет и погибают несколько десятков людей, об этом акуратно сообщают все главные советские газеты.

Известно, что в Италии, Западной Германии, Японии с момента окончания войны и до сих пор наблюдается большой экономический подъем. Но житель Советского Союза об Италии знает из газет только то, что там происходят постоянные забастовки и что «трудящиеся подвергаются там нещадной эксплуатации». То же самое советские газеты пишут и о Соединенных Штатах. Если житель Советского Союза захочет составить себе представление о жизни в США по советским газетам, то перед его глазами встанет страна, где большинство населения живет в нищенских условиях, где оно лишено элементарных демократических прав и свобод, где оно подвергается издевательствам со стороны кучки капиталистов и правительства, нанятого этими капиталистами. О материальном уровне жизни в США советские газеты сообщают так: «Даже по признанию **самих американцев** (такого-то конгрессмена, такой-то комиссии), более 25-ти процентов населения США живет в нечеловеческих условиях». А о том, каковы «нечеловеческие условия» с точки зрения «самих американцев», можно судить, например,

по такой детали, о которой я недавно узнал (конечно, не из советских газет). Американские учителя заявляют, что они живут в очень плохих условиях и собираются бастовать, так как им платят «нищенскую» зарплату в 5.000 долларов в год. Это получается более 400 долларов в месяц. Это — оклад советского министра. А советский учитель, если выражать его зарплату в долларах, получает примерно 70 долларов в месяц, то-есть в шесть раз меньше. Об этом в советских газетах — ни слова. Вообще здесь **никогда** не приводится реального сравнения: сколько стоит масло у нас и в США, сколько стоит костюм у нас и в США, какова реальная зарплата рабочего и служащего у нас и в США.

Советские газеты постоянно приводят цифры о числе безработных в США, но никогда не приводят цифр, говорящих о том, какие пособия там получают безработные. (Я не знаю точно, но почти уверен, что эти пособия не меньше, если не больше ежемесячной зарплаты советского рабочего). Примеры такого рода можно было бы продолжать без конца, потому что в советской прессе не появляется ни одного слова правдивой информации о жизни на Западе, если не считать случайно проскальзывающие признания. Лживость и тенденциозность советской прессы до **неприличия** очевидны.

Вот еще одна деталь, говорящая об этом. Если какой-нибудь иностранный турист, побывавший в Советском Союзе, затем публикует на Западе свои впечатления, в которых критикует советский строй, то в советской печати по его адресу появляется заметка, в которой он называется «злобным клеветником». Но в чем именно состоит его «злобная клевета» — об этом ни слова.

Агрессивная внешняя политика Советского Союза. О ней говорят неопровержимые факты, подтвержденные множеством документов и свидетельских показаний: захват Прибалтики, западной Белоруссии и Бессарабии, насильственное установление советского режима в странах Восточной Европы, подавление восстания в Берлине и Венгрии, Берлинская стена (устроенная так, что желающим перейти из Западной Германии на Восток путь открыт, а желающим бежать на Запад путь закрыт), корейская авантюра пятидесятых годов. Да и сама история возникновения Советского Союза и само его существование — это

тоже сплошная агрессия. Правители Советского Союза объявляют, что все национальные республики, входящие в Советский Союз, объединены в одно государство на добровольных началах. Но это, конечно, — ложь. Правдой является другое: то, что национальные меньшинства в Советском Союзе не испытывают никакой или почти никакой дискриминации. Они имеют все права на образование, равную плату за труд и вообще всё то же самое, что имеют жители Российской федерации.

Но тем не менее, у каждой нации остается чисто национальное желание иметь свое собственное государство, а особенно — у таких наций, которые очень отличны и по своей истории, и по своей культуре, и по своему расовому типу.

Поэтому казахи, узбеки, туркмены, грузины, да и другие советские республикии немедленно отделились бы от Советского Союза, если бы им была дана свобода: та самая свобода национального самоопределения, которой советские правители с пеной у рта требуют всюду, где речь идет не об их стране, а о западном мире. (Например, — об Алжире. Франция тоже была готова дать алжирцам все гражданские права, но алжирцы хотели национальной независимости, и вся советская пресса кричала о святом праве алжирского народа на национальную независимость). Но если казахи, узбеки, грузины потребуют такой независимости, то их тут же будет ожидать тюрьма и концлагерь. В Грузии недавно нечто подобное и произошло. Когда Хрущев объявил кампанию по развенчиванию Сталина, грузины восприняли это, как национальное оскорбление, и там началось национальное брожение. Тогда в Грузию были посланы русские войска и всё их национальное движение было тут же задушено. Целые партии грузин потянулись в сибирские концлагери. Во всех национальных республиках Советского Союза установлена строжайшая русская слежка за всеми партийными руководителями-нацменами, чтобы немедленно пресекать всякое их поползновение к национальному самоопределению.

В общем оказывается, что всё существование Советского Союза — это сплошная агрессия. Иного и нельзя было бы ожидать от той государственной системы, основными принципами которой являются насилие и ложь.

И несмотря на всё это, на Западе и по сей день есть вполне культурные и, казалось бы, неглупые люди, которые или пря-

мо объявляют себя коммунистами и друзьями Советского Союза, или же становятся на позицию сочувствующих коммунизму и советскому строю. В какой-то мере это еще простительно или понятно, когда малокультурные люди на Западе объявляют себя сторонниками этого режима. Но когда к ним примыкают и такие люди, как Альберт Мальц,[1] Альберт Кан,[2] Пикассо, то это понять трудно. Конечно, живя вдали от Советского Союза, они не могут так непосредственно и глубоко ощущать всю гнусность советского режима, как ее ощущаем мы: люди, живущие в Советском Союзе и не утратившие здесь облика человеческого: сохранившие все пять органов чувств, которые ежедневно вынуждены и видеть, и слышать, и осязать, и обонять, и ощущать на вкус все советские гадости. Но хоть немножко-то они там у себя за границей слышат, видят и знают! Разве они не знают, например, того, что советский режим глушит западные радиопередачи? Разве они не знают, что в Советском Союзе нет ни свободы оппозиции, ни свободы мнения вообще? Разве они не читали ни одной советской передовицы? Наверное, читали. Но если читали, то я не могу понять, как минимально культурный и минимально приличный человек может одобрять режим, весь дух которого выражен в передовицах такого рода: «Наш народ-богатырь семимильными шагами приближается к светлому будущему коммунизма. Трудовые подвиги и свершения советского народа не знают себе равных в истории... Под руководством мудрой коммунистической партии наш народ одерживает победу за победой...»

Ведь это точно тот же стиль нацистских газет, тот же дух, тот же «аромат». И то, чтобы культурный человек — писатель, художник, поэт — связывает свою душу с этой мразью, с этой политической **похабщиной** — это так же чудовищно, как если бы он лег у всех на виду в грязную лужу рядом с бултыхающимися там свиньями. Приверженность этих людей к коммунизму можно объяснять лишь тем, что это внутренно пустые люди. Несмотря на свою внешнюю одаренность и культурность

---

[1] Альберт Мальц (р. 1908), американский писатель, коммунист. **Прим. ред.**

[2] Альберт Кан (р. 1912), американский публицист, попутчик. **Прим. ред.**

они потеряли способность верить в истинный идеал и в качестве его замены нашли себе коммунистический и им приходится мириться хотя бы и с этим чучелом, ибо для них лучше чучело, чем ничего.

Но ведь всякий человек должен отвечать за свои слова, а тем более — писатель, чьи слова обращены к миллионам. И если писатель говорит: «Я верю, что правда и счастье — в коммунизме», то он должен седьмижды семьдесят раз проверить оправданность своих слов, прежде чем их произнести. Ведь все эти коммунисты и прокоммунисты не могут не знать, что правители Советского Союза повинны во всех преступлениях против норм морали и человечности: что они убили и замучили много миллионов невинных людей, что они запретили на половине Земли свободу слова, печати, собраний, религии, что они задушили в своей стране искусство вместе с его творцами (чтобы увидеть это, достаточно прочесть в советских газетах постановления партии и правительства об искусстве и поинтересоваться списками писателей и художников, замученных в Сибири); что они — самые низкие лжецы и лицемеры, потому что, творя все эти мерзости, они заявляют на весь мир, что творят всяческие благодеяния. И, наконец, все эти западные попутчики Советского Союза не могут не понимать, что советские правители в наш век являются теми людьми, которые ведут весь мир к ракетно-ядерной войне, то-есть к катастрофе. Ибо всякому человеку, имеющему хоть минимальное умственное зрение, видно, что в роли мирового захватчика в наше время выступают Советский Союз и красный Китай, а не Америка. Ведь это Советский Союз захватил силой оружия все страны Восточной Европы, а не Америка, Советский Союз заставил весь западный мир лихорадочно вооружаться, а не Америка, и Советский Союз, со своей идеей распространения коммунизма на весь мир, ведет мир к третьей мировой войне. Во всякое время есть агрессор и есть защищающийся. И то, что в наше время мировым агрессором являются Советский Союза и красный Китай (так же, как в тридцатые годы им была нацистская Германия) — этого нельзя не видеть.

Но видя всё это, люди, вроде Альберта Мальца, Пикассо, Сартра или ныне почившего Олдингтона, не выступали и не выступают против тех беззаконий и преступлений, которые в ми-

ровом масштабе творят советские правители, а даже поддерживают их преступления, посылая этим бандитам двусмысленные воздушные поцелуи, выступая с речами и статьями, так или иначе оправдывающими или умалчивающими о их беззакониях и преступлениях.

Вот это уже называется не близорукостью, а низостью. Я говорю это, как человек, живущий в советской тюрьме; как человек, у которого советские правители замучали близких ему людей без всякой вины с их стороны; как человек, которому наверное предстоит самому претерпеть от этих правителей то же самое; как человек, который знает от своих друзей, побывавших в советских концлагерях и застенках, что там творится. Когда такой человек видит, как люди, называющие себя писателями и гуманистами, братаются с палачами и поддерживают их дело, он не может найти для этого иного слова, чем «низость», и это слово является самым обдуманным и правдивым определением существа вещей.

Эти люди теперь ссылаются на то, что «всё это было при Сталине, а после Сталина стало мягче». Но, во-первых, они и при Сталине не выступали против того, что творилось в Советском Союзе; и не потому, что не знали об этом, а потому, что **не хотели** знать: они зажмуривали глаза на те факты, о которых им трубили со всех сторон. А во-вторых, намного ли после Сталина стало лучше, и вообще при этой диктатуре может стать лучше? Ведь и при Хрущеве, и при Тито, и при Мао-Цзе-Дуне достаточно попытаться выразить свое свободное мнение, чтобы попасть за это в тюрьму и в концлагерь. Единственное, что после Сталина стало «лучше» — это то, что перестали хватать и швырять в тюрьмы тех людей, которые являются послушными слугами советского режима, то-есть послушно лгут и одобряют все мерзости, творимые советской властью (одобряют и на выборах и десятками других путей). При Сталине и таких людей тоже хватали и швыряли в концлагери. И вот это-то после Сталина отменили, и отмену этого назвали «восстановлением социалистической законности». Но такое «восстановление законности» — это не для честных людей, а для послушных слуг лжи и беззакония.

Советские писатели находятся по крайней мере под угрозой

преследования за всякое правдивое слово, и потому им сказать его действительно нелегко. Но ведь на Западе писателей не преследуют ни за какое правдивое слово, и тем более — за правдивое слово о мерзостях, творимых советской властью. Почему же находятся **такие,** которые этого правдивого слова не говорят? Ведь против **фашизма** же они выступают! Чем же коммунизм прельстил их, как нечто лучшее?

Представляю себе, как все эти писатели-коммунисты и прокоммунисты стали бы кричать, если бы на Западе им запретили печататься!

Тех из этих людей, которых нельзя назвать бессовестными, приходится назвать безумными. Ибо, поддерживая коммунистов, они роют яму сами себе, сами себе готовят тюрьму и концлагерь. Для деятелей культуры, желающих оставаться честными, власть коммунистов не может означать ничего другого. И даже если они захотят сохранить не честность в высоком смысле слова, а просто минимальное человеческое приличие, в то же время продолжая свою культурную деятельность, то и это при власти коммунистов для них окажется неосуществимым.

В заключение мне хочется еще раз сказать о том, что побудило меня написать всё это послание. Во-первых, мое побуждение — это обычное возмущение человека диктатурой: возмущение того, кого сажают в тюрьму только за то, что он думает и говорит искренно и честно. Во-вторых, это — встревоженность за судьбу тех, кто еще живет на свободе и кому коммунизм угрожает такой же тюрьмой. И, наконец, в-третьих, деятельность коммунистов вызывает у меня совершенно особый протест: протест, как у христианина.

В этом отношении коммунизм противен мне гораздо больше, чем любая иная форма диктатуры. Почему? Потому, что коммунисты взяли все самые чистые, самые святые идеалы человечества и — надругались над ними. Такие понятия, как свобода, братство, мир, счастье — это всегда было для человечества святыней, религией, надеждой. И вот, коммунисты взяли все эти понятия для того, чтобы превратить их в навоз.

Что представляет собой типичный советский коммунист

нашего времени? Это — толстый или даже жирный чиновник, называющий себя «избранником народа» и чуть ли не ежедневно влезающий на всяческие трибуны и кафедры, чтобы оттуда говорить о мире, братстве, дружбе, свободе, правде, бескорыстии, самоотверженности. За эти речи он получает большое денежное вознаграждение, и за это же вознаграждение он, как только слезает с трибуны, начинает ту деятельность, весь смысл которой состоит в подготовке войны, в разрушении братства и дружбы между народами, в надругательстве над совестью и правдой, в отвратительном стяжательстве и эгоизме. И если недоуменно спросить: зачем же этот человек говорил такие святые слова, если он делает такие грязные и жестокие дела, то возникает ответ: «А только затем, чтобы посмеяться над святым смыслом этих слов: чтобы показать всему миру, что эти слова ничего не значат, что от них нечего ждать, что за ними в реальности не может быть **ничего,** кроме грязи и подлости».

В советской власти меня возмущает больше всего не то, что эта власть замучила без суда и следствия миллионы людей, не то, что эта власть запретила все демократические свободы, не то, что эта власть силой оружия искореняет свободу религии и искусств. Всё это ужасно, но всё это уже бывало при многих диктаторских режимах, хотя и в меньшей мере. Но вот такого **лицемерия,** такой **лжи,** такого **надругательства** над всем святым человечества, какое уже много десятков лет творит советская власть — такого еще не было. Я не знаю ни одного режима, кроме советского, который на словах неустанно твердил бы о мире, дружбе, свободе, а на деле творил бы прямо противоположное.

И я не знаю ни одного политического режима, который в такой мере посягал бы на духовные ценности, на духовную жизнь человека, старался бы самое душу его заточить в тюремные решетки, как это делает советский режим.

Никогда и никакая государственная власть не ставила перед собой такую цель, чтобы превратить всех людей в стандартных болванчиков, которые по нажиму кнопки из аппарата ЦК выкрикивают бодрые лозунги, поют фальшивым голосом песни о мире и дружбе, и больше ничего не умеют и **не имеют**

внутри себя. Это уже — не **политика,** а что-то совершенно иное. Это — какая-то антирелигия, и кто направляет дуло автоматов на **духовную** жизнь, тот перестает быть просто политиком, а становится чем-то совсем иным. Это-то и вызывает возмущенный протест всякого духовно-живого и мыслящего человека.

Икс

ДУХИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ*

Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Пушкин

Введение

С Россией произошла страшная катастрофа. Она ниспала в темную бездну. И многим начинает казаться, что единая и великая Россия была лишь призраком, что не было в ней под-

---

* Можно с уверенностью сказать, что печатаемая нами замечательная статья покойного Н. А. Бердяева русскому читателю неизвестна. Она была напечатана в сборнике «Из глубины» вместе с статьями С. Аскольдова, С. Булгакова, В. Иванова, А. Изгоева, П. Струве, С. Франка и других. Судьба сборника «Из глубины» необыкновенна. Все его статьи были написаны авторами уже после большевистского переворота и сборник был отпечатан в 1918 г. в Москве. Но после убийства Урицкого и покушения на Ленина, в разгар террора, сборник в продажу, разумеется, поступить не мог и остался на складе «Русской Мысли». Там он пролежал до 1921 г., когда кто-то попытался пустить его в продажу. Но органами власти сборник «Из глубины» был немедленно изъят из обращения. В свободный мир, насколько нам известно, попало только два экземпляра этого сборника. Один находится в Европе. Другой — в Америке. Мы печатаем статью Н. А. Бердяева «Духи русской революции» с фотостата. Большинство статей сборника «Из глубины» настолько значительны по своим идеям, по осмыслению русской революции, и — несмотря почти на полувековую давность — настолько современны, что было бы необходимо этот сборник переиздать. Это нужно и для русской эмиграции, и для читателей в СССР, и для иностранцев, занимающихся вопросами России. Достаточно сказать, что поздний Пастернак (его роман «Доктор Живаго») вышел целиком из круга идей этого сборника; некоторые действующие лица «Доктора Живаго» говорят, как бы цитатами из статей этого сборника. *Р. Г.*

линной реальности. Не легко улавливается связь нашего настоящего с нашим прошлым. Слишком изменилось выражение лиц русских людей, за несколько месяцев оно сделалось неузнаваемым. При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в России революционный образ старой России, дýхов, давно уже обнаруженных в творчестве наших великих писателей, бесов давно уже владеющих русскими людьми. Многое старое, давно знакомое является лишь в новом обличье. Долгий исторический путь ведет к революциям, и в них открываются национальные особенности даже тогда, когда они наносят тяжелый удар национальной мощи и национальному достоинству. Каждый народ имеет свой стиль революционный, как имеет и свой стиль консервативный. Национальна была английская революция, и столь же национальна революция французская. В них узнается прошлое Англии и Франции. Каждый народ делает революцию с тем духовным багажом, который накопил в своем прошлом, он вносит в революцию свои грехи и пороки, но также и свою способность к жертве и к энтузиазму. Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом антинациональном ее характере отразились национальные особенности русского народа и стиль нашей несчастливой и губительной революции — русский стиль. Наши старые национальные болезни и грехи привели к революции и определили ее характер. Дýхи русской революции — русские дýхи, хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу. Призрачность ее — русская призрачность. Одержимость ее — характерно русская одержимость. Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма, по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица. Новые души рождаются позже, после глубокого перерождения и осмысливания опыта революции. На поверхности всё кажется новым в русской революции — новые выражения лиц, новые жесты, новые костюмы, новые формулы

господствуют над жизнью; те, которые были внизу, возносятся на самую вершину, а те, которые были на вершине, упали вниз; властвуют те, которые были гонимы, и гонимы те, которые властвовали; рабы стали безгранично свободными, а свободные духом подвергаются насилию. Но попробуйте проникнуть за поверхностные покровы революционной России в глубину. Там узнаете вы старую Россию, встретите старые, знакомые лица. Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую роль, они подобрались к самым вершинам власти. Метафизическая диалектика Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют внутренний ход революции. Если пойти в глубь России, то за революционной борьбой и революционной фразеологией не трудно обнаружить хрюкающие гоголевские морды и рожи. Всякий народ в любой момент своего существования живет в разные времена и разные века. Но нет народа, в котором соединялись бы столь разные возрасты, который так совмещал бы XX век с XIV веком, как русский народ. И эта разновозрастность есть источник нездоровья и помеха для цельности нашей национальной жизни.

Великим писателям всегда открывались образы национальной жизни, имеющие значение существенное и непреходящее. Россия, раскрывавшаяся ее великим писателям, Россия Гоголя и Достоевского, может быть обнаружена и в русской революции, и в ней столкнетесь вы с основными оценками, предопределенными Л. Толстым. В образах Гоголя и Достоевского, в моральных оценках Толстого можно искать разгадки тех бедствий и несчастий, которые революция принесла нашей родине, познания ду́хов, владеющих революцией. У Гоголя и Достоевского были художественные прозрения о России и русских людях, превышающие их время. По-разному раскрывалась им Россия, художественные методы их противоположны, но у того и у другого было поистине что-то пророческое для России, что-то проникающее в самое существо, в самые тайники природы русского человека. Толстой, как художник, для нашей цели не интересен. Россия, раскрывавшаяся его великому художеству, в русской революции разлагается и умирает. Он был художником статики русского быта, дворянского и крестьян-

ского, вечное же открывалось ему, как художнику, лишь в элементарных природных стихиях. Толстой более космичен, чем антропологичен. Но в русской революции раскрылся и по-своему восторжествовал другой Толстой, — Толстой моральных оценок, обнаружилось толстовство, как характерное для русских миросозерцание и мировоззрение. Много есть русских бесов, которые раскрывались русским писателям или владели ими, — бес лжи и подмены, бес равенства, бес бесчестья, бес отрицания, бес непротивления и мн., мн. другие. Всё это — нигилистические бесы, давно уже терзающие Россию. В центре для меня стоят прозрения Достоевского, который пророчески раскрыл все духовные основы и движущие пружины русской революции. Начну же с Гоголя, значение которого в этом отношении менее ясно.

II. Гоголь в русской революции

Гоголь принадлежит к самым загадочным русским писателям и еще мало сделано для его познания. Он загадочнее Достоевского. Достоевский много сделал сам для того, чтобы раскрыть все противоположности и все бездны своего духа. Видно, как дьявол с Богом борется в его душе и в его творчестве. Гоголь же скрывал себя и унес с собой в могилу какую-то неразгаданную тайну. Поистине есть в нем что-то жуткое. Гоголь — единственный русский писатель, в котором было чувство магизма, — он художественно передает действие темных, злых магических сил. Это, вероятно, пришло к нему с Запада, от католической Польши. «Страшная месть» насыщена таким магизмом. Но в более прикрытых формах есть этот магизм и в «Мертвых душах», и в «Ревизоре». У Гоголя было совершенно исключительное по силе чувство зла. И он не находил тех утешений, которые находил Достоевский в образе Зосимы и в прикосновении к матери-земле. Нет у него всех этих клейких листочков, нет нигде спасения от окружавших его демонических рож. Жуткости гоголевского художества совершенно не чувствовала старая школа русских критиков. Да и где им было почувствовать Гоголя! Их предохраняло от восприятия и от понимания таких жутких явлений рационалистическое просвещение. Наша критика была для этого слишком «прогрессив-

ного» образа мыслей, она не верила в нечисть. Она хотела использовать Гоголя лишь для своих утилитарно-общественных целей. Она ведь всегда пользовалась творчеством великих писателей для утилитарно-общественной проповеди. Впервые почувствовал жуткость Гоголя писатель другой школы, других истоков и другого духа — В. В. Розанов. Он не любит Гоголя и пишет о нем с злым чувством, но он понял, что Гоголь был художником зла. Вот что необходимо прежде всего установить — творчество Гоголя есть художественное откровение зла, как начала метафизического и внутреннего, а не зла общественного и внешнего, связанного с политической отсталостью и непросвещенностью. Гоголю не дано увидеть образов добра и художественно передать их. В этом была его трагедия. И он сам испугался своего исключительного видения образов зла и уродства. Но то, что было его духовным калечеством, то породило и всю остроту его художества зла.

Проблема Гоголя стала лишь перед тем религиозно-философским и художественным течением, которое обозначилось у нас в начале XX века. Гоголя принято было считать основателем реалистического направления в русской литературе. Странности гоголевского творчества объясняли исключительно тем, что он был сатириком и изображал неправду старой крепостнической России. Всю необычайность гоголевских художественных приемов просмотрели. В гоголевском творчестве не видели ничего проблематического, потому что вообще не видели ничего проблематического. Всё представлялось русским критикам ясным и легко объяснимым, всё было упрощено и сведено к элементарной утилитарной задаче. Поистине можно сказать, что критическая школа Белинского, Чернышевского, Добролюбова и их эпигонов просмотрела внутренний смысл великой русской литературы и не в силах была оценить ее художественные откровения. Должен был произойти духовный кризис, должны были быть потрясены все основы традиционного интеллигентского мировоззрения, чтобы по-новому раскрылось творчество великих русских писателей. Тогда только сделался возможен и подход к Гоголю. Старый взгляд на Гоголя, как на реалиста и сатирика, требует радикального пересмотра. Теперь уже, после всех усложнений нашей психики и нашего мышления, слишком ясно, что взгляд литературных староверов на

Гоголя не стоит на высоте гоголевской проблемы. Нам представляется чудовищным, как могли увидеть реализм в «Мертвых душах», произведении невероятном и небывалом. Странное и загадочное творчество Гоголя не может быть отнесено к разряду общественной сатиры, изобличающей временные и преходящие пороки и грехи дореформенного русского общества. Мертвые души не имеют обязательной и неразрывной связи с крепостным бытом и ревизор — с дореформенным чиновничеством. И сейчас после всех реформ и революций Россия полна мертвыми душами и ревизорами, и гоголевские образы не умерли, не отошли в прошлое, как образы Тургенева или Гончарова. Художественные приемы Гоголя, которые менее всего могут быть названы реалистическими и представляют своеобразный эксперимент, расчленяющий и распластывающий органически-целостную действительность, раскрывают что-то очень существенное для России и для русского человека, какие-то духовные болезни, не излечимые никакими внешними общественными реформами и революциями. Гоголевская Россия не есть только дореформенный наш быт, она принадлежит метафизическому характеру русского народа и обнаруживается и в русской революции. То нечеловеческое хамство, которое увидел Гоголь, не есть порождение старого строя, не обусловлено причинами социальными и политическими, наоборот, — оно породило всё, что было дурного в старом строе, оно отпечатлелось на политических и социальных формах.

Гоголь, как художник, предвосхитил новейшие аналитические течения в искусстве, обнаружившиеся в связи с кризисом искусства. Он предваряет искусство А. Белого и Пикассо. В нем были уже те восприятия действительности, которые привели к кубизму. В художестве его есть уже кубистическое расчленение живого бытия. Гоголь видел уже тех чудовищ, которые позже художественно увидел Пикассо. Но Гоголь ввел в обман, так как прикрыл смехом свое демоническое созерцание. Из новых русских художников за Гоголем идет даровитейший из них — Андрей Белый, для которого окончательно померк образ человека и погрузился в космические вихри. А. Белый также не видит органической красоты в человеке, как не видит ее Гоголь. Он во многом следует за художественными приемами Гоголя, но делает и совершенно новые завоевания в обла-

сти формы. Уже Гоголь подверг аналитическому расчленению органически-цельный образ человека. У Гоголя нет человеческих образов, а есть лишь морды и рожи, лишь чудовища, подобные складным чудовищам кубизма. В творчестве его есть человекоубийство. И Розанов прямо обвиняет его в человекоубийстве. Гоголь не в силах был дать положительных человеческих образов и очень страдал от этого. Он мучительно искал образ человека и не находил его. Со всех сторон обступали его безобразные и нечеловеческие чудовища. В этом была его трагедия. Он верил в человека, искал красоты человека и не находил его в России. В этом было что-то невыразимо мучительное, это могло довести до сумасшествия. В самом Гоголе был какой-то духовный вывих и он носил в себе какую-то неразгаданную тайну. Но нельзя винить его за то, что вместо образа человека он увидел в России Чичикова, Ноздрева, Собакевича, Хлестакова, Сквозник-Дмухановского и т. п. чудищ. Его великому и неправдоподобному художеству дано было открыть отрицательные стороны русского народа, его темных дýхов, всё то, что в нем было нечеловеческого, искажающего образ и подобие Божье. Его ужаснула и ранила эта нераскрытость в России человеческой личности, это обилие элементарных духов природы вместо людей. Гоголь — инфернальный художник. Гоголевские образы — клочья людей, а не люди, гримасы людей. Не его вина, что в России было так мало образов человеческих, подлинных личностей, так много лжи и лжеобразов, подмен, так много безóбразности и безобрáзности. Гоголь нестерпимо страдал от этого. Его дар прозрения дýхов пошлости — несчастный дар, и он пал жертвой этого дара. Он открыл нестерпимое зло пошлости, и это давило его. Нет образа человека и у А. Белого. Но он принадлежит уже другой эпохе, в которой пошатнулась вера в образ человека. Эта вера была еще у Гоголя.

Русские люди, желавшие революции и возлагавшие на нее великие надежды, верили, что чудовищные образы гоголевской России исчезнут когда революционная гроза очистит нас от всякой скверны. В Хлестакове и Сквозник-Дмухановском, в Чичикове и Ноздреве видели исключительно образы старой России, воспитанной самовластьем и крепостным правом. В этом было заблуждение революционного сознания, неспособного проник-

нуть в глубь жизни. В революции раскрылась всё та же старая, вечно-гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд. В нестерпимой революционной пошлости есть вечно-гоголевское. Тщетны оказались надежды, что революция раскроет в России человеческий образ, что личность человеческая подымется во весь свой рост после того, как падет самовластье. Слишком многое привыкли у нас относить на счет самодержавия, всё зло и тьму нашей жизни хотели им объяснить. Но этим только сбрасывали с себя русские люди бремя ответственности и приучили себя к безответственности. Нет уже самодержавия, а русская тьма и русское зло остались. Тьма и зло заложены глубже, не в социальных оболочках народа, а в духовном его ядре. Нет уже старого самодержавия, а самовластье попрежнему царит на Руси, попрежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка попрежнему является устоем русской жизни, ее основной конституцией. Взятка расцвела еще больше, чем когда-либо. Происходит грандиозная нажива на революции. Сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу в революционной России. Нет уже самодержавия, но попрежнему Хлестаков разыгрывает из себя важного чиновника, попрежнему все трепещут перед ним. Нет уже самодержавия, а Россия попрежнему полна мертвыми душами, попрежнему происходит торг ими. Хлестаковская смелость на каждом шагу дает себя чувствовать в русской революции. Но ныне Хлестаков вознесся на самую вершину власти и имеет больше оснований, чем старый, говорить: «министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я», или: «а любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели». Революционные Хлестаковы с большим правдоподобием могут говорить: «Кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено... Нечего делать — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры..., можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» И революционный Иван Александрович берется управлять департаментом. И когда он проходит, «просто землетрясенье, всё дрожит и трясется,

как лист». Революционный Иван Александрович горячится и кричит: «я шутить не люблю, я им всем задам острастку... Я такой! Я не посмотрю ни на кого... Я везде, везде». Эти хлестаковские речи мы слышим каждый день и на каждом шагу. Все дрожат и трясутся. Но, зная историю старого и вечного Хлестакова, в глубине души ждут, что войдет жандарм и скажет: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе». Страх контр-революции, отравивший русскую революцию, и придает революционным дерзаниям хлестаковский характер. Это постоянное ожидание жандарма изобличает призрачность и лживость революционных достижений. Не будем обманываться внешностью. Революционный Хлестаков является в новом костюме и иначе себя именует. Но сущность остается той же. Тридцать пять тысяч курьеров могут быть представителями «совета рабочих и солдатских депутатов». Но это не меняет дела. В основе лежит старая русская ложь и обман, давно увиденные Гоголем. Оторванность от глубины делает слишком легкими все движения. В силах ныне господствующих и властвующих также мало онтологического, подлинно сущего, как и в гоголевском Хлестакове. Ноздрев говорил: «Вот граница! Всё, что ни видишь по эту сторону, — всё это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, — всё мое». В бóльшей части присвоений революции есть что-то ноздревское. Личина подменяет личность. Повсюду маски и двойники, гримасы и клочья человека. Изолгание бытия правит революцией. Всё призрачно. Призрачны все партии, призрачны все власти, призрачны все герои революции. Нигде нельзя нащупать твердого бытия, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика. Эта призрачность, эта неонтологичность родилась от лживости. Гоголь раскрыл ее в русской стихии.

Попрежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мертвыми душами. Но ездит он не медленно в кибитке, а мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает телеграммы. Та же стихия действует в новом темпе. Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, они оперируют с фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь России. Многие декреты революционной власти совершенно гоголевские по

своей природе и в огромной массе обывателей они встречают гоголевское к себе отношение. В стихии революции обнаруживается колоссальное мошенничество, бесчестность, как болезнь русской души. Вся революция наша представляет собой бессовестный торг, — торг народной души и народным достоянием. Вся наша революционная аграрная реформа, эсеровская и большевистская, есть чичиковское предприятие. Она оперирует с мертвыми душами, она возводит богатство народное на призрачном, нереальном базисе. В ней есть чичиковская смелость. В нашем летнем герое аграрной революции было поистине что-то гоголевское. Немало было также маниловщины в первом периоде революции и в революционном временном правительстве. Но «Мертвые души» имеют и глубокий символический смысл. Все хари и рожи гоголевской эпопеи появились на почве омертвения русских душ. Омертвение душ делает возможными чичиковские похождения и встречи. Это длительное и давнее омертвение душ чувствуется и в русской революции. Потому и возможен в ней этот бесстыдный торг, этот наглый обман. Не революция сама по себе это создала. Революция — великая проявительница и она проявила лишь то, что таилось в глубине России. Формы старого строя сдерживали проявления многих русских свойств, вводили их в принудительные границы. Падение этих обветшалых форм привело к тому, что русский человек окончательно разнуздался и появился нагишом. Злые духи, которых видел Гоголь в их статике, вырвались на свободу и учиняют оргию. Их гримасы приводят в содрогание тело несчастной России. Для Хлестаковых и Чичиковых ныне еще бóльший простор, чем во времена самодержавия. И освобождение от них предполагает духовное перерождение народа, внутренний в нем переворот. Революция не является таким переворотом. Истинная духовная революция в России была бы освобождением от той лживости, которую видел в русских людях Гоголь, и победой над той призрачностью и подменой, которые от лживости рождаются. В лжи есть легкость безответственности, она не связана ни с чем бытийственным и на лжи можно построить самые смелые революции. Гоголю открывалось бесчестье, как исконное русское свойство. Это бесчестье связано с неразвитостью и нераскрытостью личности в России, с подавленностью образа человека. С этим же связана и нече-

ловеческая пошлость, которой Гоголь нас подавляет и которой он сам был подавлен. Гоголь глубже славянофилов видел Россию. У него было сильное чувство зла, которого лишены были славянофилы. В вечно-гоголевской России переплетается и смешивается трагическое и комическое. Комическое является результатом смешения и подмены. Это смешение и переплетение трагического и комического есть и в русской революции. Она вся основана на смешении и подмене, и потому в ней многое имеет природу комедии. Русская революция есть трагикомедия. Это — финал гоголевской эпопеи. И, быть может, самое мрачное и безнадежное в русской революции — это гоголевское в ней. В том, что в ней есть от Достоевского, больше просветов. России необходимо освободиться от власти гоголевских призраков.

II. Достоевский в русской революции

Если Гоголь в русской революции не сразу виден и сама постановка этой темы может вызвать сомнения, то в Достоевском нельзя не видеть пророка русской революции. Русская революция пропитана теми началами, которые прозревал Достоевский и которым дал гениально острое определение. Достоевскому дано было до глубины раскрыть диалектику русской революционной мысли и сделать из нее последние выводы. Он не остался на поверхности социально-политических идей и построений, он проник в глубину и обнажил метафизику русской революционности. Достоевский обнаружил, что русская революционность есть феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный. Так удалось ему религиозно постигнуть природу русского социализма. Русский социализм занят вопросом о том, есть ли Бог или нет Бога. И Достоевский предвидел, как горьки будут плоды русского социализма. Он обнажил стихию русского нигилизма и русского атеизма, совершенно своеобразного, не похожего на западный. У Достоевского был гениальный дар раскрытия глубины и обнаружения последних пределов. Он никогда не остается в середине, не останавливается на состояниях переходных, всегда влечет к последнему и окончательному. Его творческий художественный акт апокалиптичен, и в этом он — поистине русский национальный гений. Метод Достоевского иной, чем у Гоголя.

Гоголь более совершенный художник. Достоевский прежде всего великий психолог и метафизик. Он вскрывает зло и злых духов изнутри душевной жизни человека и изнутри его диалектики мысли. Всё творчество Достоевского есть антропологическое откровение, — откровение человеческой глубины, не только душевной, но и духовной глубины. Ему раскрываются те мысли человеческие и те страсти человеческие, которые представляют уже не психологию, а онтологию человеческой природы. У Достоевского, в отличие от Гоголя, всегда остается образ человека и раскрывается судьба человека изнутри. Зло не истребляет окончательно человеческого образа. Достоевский верит, что путем внутренней катастрофы зло может перейти в добро. И потому творчество его менее жутко, чем творчество Гоголя, которое не оставляет почти никакой надежды.

На Достоевском, величайшем русском гении, можно изучать природу русского мышления, его положительные и отрицательные полюсы. Француз — догматик или скептик, догматик на положительном полюсе своей мысли и скептик на отрицательном полюсе. Немец — мистик или критицист, мистик на положительном полюсе и критицист на отрицательном. **Русский же — апокалиптик или нигилист, апокалиптик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном полюсе.** Русский случай — самый крайний и самый трудный. Француз и немец могут создавать культуру, ибо культуру можно создавать догматически и скептически, можно создавать ее мистически и критически. Но трудно, очень трудно создавать культуру апокалиптически и нигилистически. Культура может иметь под собой глубину, догматическую и мистическую, но она предполагает, что за серединой жизненного процесса признается какая-то ценность, что значение имеет не только абсолютное, но и относительное. Апокалиптическое и нигилистическое самочувствие свергает всю середину жизненного процесса, все исторические ступени, не хочет знать никаких ценностей культуры, оно устремляет к концу, к пределу. Эти противоположности легко переходят друг в друга. Апокалиптичность легко переходит в нигилизм, может оказаться нигилистической по отношению к величайшим ценностям земной исторической жизни, ко всей культуре. Нигилизм же неуловимо может при-

обрести апокалиптическую окраску, может казаться требованием конца. И у русского человека так перемешано и так спутано апокалиптическое и нигилистическое, что трудно бывает различить эти полярно противоположные начала. Не легко бывает решить, почему русский человек отрицает государство, культуру, родину, нормативную мораль, науку и искусство, почему требует он абсолютного обнищания: из апокалиптичности своей или нигилистичности своей. Русский человек может произвести нигилистический погром, как погром апокалиптический; он может обнажиться, сорвать все покровы и явиться нагишом, как потому, что он нигилист и всё отрицает, так и потому, что он полон апокалиптических предчувствий и ждет конца мира. У русских сектантов апокалипсис переплетается и смешивается с нигилизмом. То же происходит и в русской интеллигенции. Русское искание правды жизни всегда принимает апокалиптический или нигилистический характер. Это — глубоко национальная черта. Это создает почву для смешений и подмен, для лжерелигий. В самом русском атеизме есть что-то от духа апокалиптического, совсем не похожее на атеизм западный. И в русском нигилизме есть лжерелигиозные черты, есть какая-то обратная религия. Это многих соблазняет и вводит в заблуждение. Достоевский до глубины раскрыл апокалипсис и нигилизм в русской душе. Поэтому он и угадал, какой характер примет русская революция. Он понял, что революция совсем не то у нас означает, что на Западе, и потому она будет страшнее и предельнее западных революций. Русская революция — феномен религиозного порядка, она решает вопрос о Боге. И это нужно понимать в более глубоком смысле, чем понимается антирелигиозный характер революции французской или религиозный характер революции английской.

Для Достоевского проблема русской революции, русского нигилизма и социализма, религиозного по существу, это — вопрос о Боге и о бессмертии. «Социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю» («Братья Карамазовы»). Можно было бы даже сказать, что вопрос о русском социализме и ни-

гилизме — вопрос апокалиптический, обращенный к всеразрешающему концу. Русский революционный социализм никогда не мыслился, как переходное состояние, как временная и относительная форма устроения общества, он мыслился всегда, как окончательное состояние, как царство Божие на земле, как решение вопроса о судьбах человечества. Это — не экономический и не политический вопрос, а прежде всего вопрос духа, вопрос религиозный. «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Вот, напр., здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол... О чем они будут рассуждать? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же чорт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца». Эти русские мальчики никогда не были способны к политике, к созиданию и устроению общественной жизни. Всё перемешалось в их головах, и, отвергнув Бога, они сделали Бога из социализма и анархизма, они захотели переделать всё человечество по новому штату и увидали в этом не относительную, а абсолютную задачу. Русские мальчики были нигилисты-апокалиптики. Начали они с того, что вели бесконечные разговоры в вонючих трактирах. И трудно было поверить, что эти разговоры о замене Бога социализмом и анархизмом и о переделке всего человечества по новому штату могут стать определяющей силой в русской истории и сокрушить Великую Россию. Русские мальчики давно уже провозгласили, что всё дозволено, если нет Бога и бессмертия. Осталось блаженство на земле, как цель. На этой почве и вырос русский нигилизм, который казался многим наивным и благожелательным людям очень невинным и милым явлением. Многие даже видели в нем нравственную правду, но искаженную умственным заблуждением. Даже Вл. Соловьев не понял опасности русского нигилизма, когда шутливо формулировал credo русских мальчиков таким образом: «человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга». Достоевский глубже проник в тайники русского нигилизма и почувствовал опасность. Он раскрыл диалектику русского нигилизма, его сокровенную метафизику.

Философом русского нигилизма и атеизма является Иван

Карамазов. Он провозглашает бунт против Бога и против Божьего мира из очень высоких мотивов, — он не может примириться с слезинкой невинно замученного ребенка. Иван ставит Алеше вопрос очень остро и радикально: «Скажи мне сам прямо, я зову тебя, отвечай: представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для того необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание; согласился бы ты быть архитектором на этих условиях?» Иван ставит тут вековечную проблему о цене истории, о допустимости тех жертв и страданий, которыми покупается создание государств и культур. Это вопрос русский по преимуществу, проклятый вопрос, который русские мальчики предъявили всемирной истории. В вопрос этот был вложен весь русский моральный пафос, оторванный от религиозных истоков. На вопросе этом морально обосновался русский революционно-нигилистический бунт, который и провозглашает Иван. «В окончательном результате я мира этого Божьего — не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». «Для чего признавать это чортово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к Боженьке». «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стóит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке... Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которые необходимы были для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стóит такой цены... Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу... Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю». Тема, поставленная Иваном Карамазовым, сложна, и в ней переплетается несколько мотивов.

Устами Ивана Карамазова Достоевский произносит суд над позитивными теориями прогресса и над утопиями грядущей гармонии, воздвигнутой на страданиях и слезах предшествующих поколений. Весь прогресс человечества и всё грядущее его совершенное устройство ничего не стоят перед несчастной судьбой каждого человека, самого последнего из смертных. В этом есть христианская правда. Но острие вопроса, поставленного Иваном, совсем не в этом. Он ставит вопрос свой не как христианин, верующий в божественный смысл жизни, а как атеист и нигилист, отрицающий божественный смысл жизни, видящий лишь бессмыслицу и неправду с ограниченной человеческой точки зрения. Это — бунт против божественного миропорядка, непринятие человеческой судьбы, определенной Божьим промыслом. Это — распря человека с Богом, нежелание принять страдание и жертвы, постигнуть смысл нашей жизни, как искупление. Весь бунтующий ход мыслей Ивана Карамазова есть проявление крайнего рационализма, есть отрицание тайны человеческой судьбы, непостижимой в пределах и границах этого отрывка земной, эмпирической жизни. Рационально постигнуть в пределах земной жизни, почему был замучен невинный ребенок, невозможно. Самая постановка такого вопроса — атеистична и безбожна. Вера в Бога и в Божественный миропорядок есть вера в глубокий, сокровенный смысл всех страданий и испытаний, выпадающих на долю всякого существа в его земном странствовании. Утереть слезинку ребенка и облегчить его страдания есть дело любви. Но пафос Ивана не любовь, а бунт. У него есть ложная чувствительность, но нет любви. Он бунтует потому, что не верит в бессмертие, что для него всё исчерпывается этой бессмысленной эмпирической жизнью, полной страданий и горя. Типичный русский мальчик, он принял западные отрицательные гипотезы за аксиомы и поверил в атеизм.

Иван Карамазов — мыслитель, метафизик и психолог, и он дает углубленное философское обоснование смутным переживаниям неисчислимого количества русских мальчиков, русских нигилистов и атеистов, социалистов и анархистов. В основе вопроса Ивана Карамазова лежит какая-то ложная русская чувствительность и сантиментальность, ложное сострадание к человеку, доведенное до ненависти к Богу и божественному

смыслу мировой жизни. Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтарями из ложного морализма. Русский делает историю Богу из-за слезинки ребенка, возвращает билет, отрицает все ценности и святыни, он не выносит страданий, не хочет жертв. Но он же ничего не сделает реально, чтобы слез было меньше, он увеличивает количество пролитых слез, он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях. В нигилистическом морализме русского человека нет нравственного закала характера, нет нравственной суровости перед лицом ужасов жизни, нет жертвоспособности и отречения от произвола. Русский нигилист-моралист думает, что он любит человека и сострадает человеку более, чем Бог, что он исправит замысел Божий о человеке и мире. Невероятная притязательность характерна для этого душевного типа. Из истории, которую русские мальчики делали Богу по поводу слезинки ребенка и слез народа, из их возвышенных разговоров по трактирам родилась идеология русской революции. В ее основе лежит атеизм и неверие в бессмертие. Неверие в бессмертие порождает ложную чувствительность и сострадательность. Бесконечные декламации о страданиях народа, о зле государства и культуры, основанных на этих страданиях, вытекали из этого богоборческого источника. Само желание облегчить страдание народа было праведно, и в нем мог обнаружиться дух христианской любви. Это и ввело многих в заблуждение. Не заметили смешения и подмены, положенных в основу русской революционной морали, антихристовых соблазнов этой революционной морали русской интеллигенции. Заметил это Достоевский, он вскрыл духовную подпочву нигилизма, заботящегося о благе людей, и предсказал, к чему приведет торжество этого духа. Достоевский понял, что великий вопрос об индивидуальной судьбе каждого человека совершенно иначе решается в свете сознания религиозного, чем в тьме сознания революционного, претендующего быть лже-религией.

Достоевский раскрыл, что природа русского человека является благоприятной почвой для антихристовых соблазнов. И это было настоящим открытием, которое и сделало Достоевского провидцем и пророком русской революции. Ему дано было внутренее ви́дение и виде́ние духовной сущности русской

революции и русских революционеров. Русские революционеры, апокалиптики и нигилисты по своей природе, пошли за соблазнами антихриста, который хочет осчастливить людей, и должны были привести соблазненный ими народ к той революции, которая нанесла страшную рану России и превратила русскую жизнь в ад. Русские революционеры хотели всемирного переворота, в котором сгорит весь старый мир с его злом и тьмой, с его святынями и ценностями и на пепелище подымется новая, благодатная для всего народа и всех народов жизнь. На меньшем, чем всемирное счастье, русский революционер помириться не хочет. Сознание его апокалиптично, он хочет конца, хочет завершения истории и начала процесса сверхъисторического, в котором осуществится царство равенства, свободы и блаженства на земле. Ничего переходного и относительного, никаких ступеней развития сознания это не допускает. Русский революционный максимализм и есть своеобразная, извращенная апокалиптика. Обратной стороной ее всегда являтся нигилизм. Нигилистическое истребление всего множественного и относительного исторического мира неизбежно распространяется и на абсолютные духовные основы истории. Русский нигилизм не принимает самого источника исторического процесса, который заложен в божественной действительности, он бунтует против божественного миропорядка, в котором задана история со своими ступенями, со своей неотвратимой иерархичностью. У самого Достоевского были соблазны русского максимализма и русского религиозного народничества. Но была в нем и положительная религиозная сила, сила пророческая, помогавшая ему раскрыть русские соблазны и изобличить их. Рассказанная русским атеистом Иваном Карамазовым «Легенда о Великом Инквизиторе», по силе и глубине своей сравнимая лишь с священными письменами, раскрывает внутреннюю диалектику антихристовых соблазнов. То, что Достоевский давал антихристовым соблазнам католическое обличье, несущественно и должно быть отнесено к его недостаткам и слабостям. Дух Великого Инквизитора может являться и действовать в разных обличиях и формах, он в высшей степени способен к перевоплощению. И Достоевский отлично понимал, что в революционном социализме действует дух Великого Инквизитора. Революционный социализм не есть экономическое и политическое учение, не

есть система социальных реформ, — он претендует быть религией, он есть вера, противоположная вере христианской.

Религия социализма вслед за Великим Инквизитором принимает все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне во имя свободы человеческого духа. Религия социализма принимает соблазн превращения камней в хлеб, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира. Религия социализма не есть религия свободных сынов Божьих, она отрекается от первородства человека, она есть религия рабов необходимости, детей праха. Религия социализма говорит словами Великого Инквизитора: «Все будут счастливы, все миллионы людей». «Мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим их жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. Мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны». «Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими они и созданы». Религия социализма говорит религии Христа: «Ты гордишься твоими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех... У нас все будут счастливы... Мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей». Религия социализма, подобно Великому Инквизитору, упрекает религию Христа в недостаточной любви к людям. Во имя любви к людям и сострадания к людям, во имя счастья и блаженства людей на земле эта религия отвергает свободную, богоподобную природу человека. Религия хлеба небесного — аристократическая религия, это — религия избранных, религия «десятка тысяч великих и сильных». Религия же «остальных миллионов, многочисленных, как песок морской, слабых» — есть религия хлеба земного. Эта религия написала на знамени своем: «накорми, тогда и спрашивай с них добродетели». Достоевский гениально прозревал духовные основы социалистического муравейника. Он религиозно познал, что социалистический коллективизм есть лже-соборность, лже-церковь, которая несет с собой смерть человеческой личности, образу и подобию Божьему в человеке, конец свободе человеческого духа. Самые сильные и огненные слова были сказаны против религии социализма Достоевским. И он же почувствовал, что для русских социализм есть религия, а не политика, не социальное реформирование и строительство. Что диалектика Великого Инквизитора может быть

применена к религии социализма и применялась самим Достоевским, видно из того, что многие революционеры у него повторяют ход мыслей Великого Инквизитора. То же самое говорит и Петр Верховенский и на том же базисе построена шигалевщина. Эти мысли были еще у героя «Записок из подполья», когда он говорил «о джентльмене с насмешливой и ретроградной физиономией», который ниспровергнет всё грядущее социальное благополучие, весь благоустроенный муравейник будущего. И герой «Записок из подполья» противополагает этому социалистическому муравейнику свободу человеческого духа. Достоевский — религиозный враг социализма, он изобличитель религиозной лжи и религиозной опасности социализма. Он один из первых почувствовал в социализме дух антихриста. Он понял, что в социализме антихристов дух прельщает человека обличьем добра и человеколюбия. И он же понял, что русский человек легче, чем человек западный, идет за этим соблазном, прельщается двоящимся образом антихриста по апокалиптичности своей природы. Вражда Достоевского к социализму менее всего означает, что он был сторонником и защитником какого-либо «буржуазного» строя. Он даже исповедывал своеобразный православный социализм. Но дух этого православного социализма ничего общего не имеет с духом революционного социализма, он во всем ему противоположен. Как почвенник и своеобразный славянофил, Достоевский видел в русском народе противоядие против соблазнов революционного, атеистического социализма. Он исповедывал религиозное народничество. Я думаю, что вся эта религиозно-народническая, почвенно-славянофильская идеология Достоевского была его слабой, а не сильной стороной и находилась в противоречии с его гениальными прозрениями, как художника и метафизика. Сейчас можно даже прямо сказать, что Достоевский ошибся; в русском народе не оказалось противоядия против антихристовых соблазнов той религии социализма, которую понесла ему интеллигенция. Русская революция окончательно сокрушила все иллюзии религиозного народничества, как и всякого народничества. Но иллюзии самого Достоевского не помешали ему раскрыть духовную природу русской религии социализма и предсказать последствия, к которым она приведет. В «Братьях Карамазовых» дана внутренняя диалектика, мета-

физика русской революции. В «Бесах» дан образ осуществления этой диалектики.

Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почуял, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют не человеческие духи. Когда в дни осуществляющейся революции перечитываешь «Бесы», то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было всё так предвидеть и предсказать. В маленьком городе, во внешне маленьких масштабах давно уже разыгралась русская революция и вскрылись ее духовные первоосновы, даны были ее духовные первообразы. Поводом к фабуле «Бесов» послужило нечаевское дело. Левые круги наши увидели тогда в «Бесах» карикатуру, почти пасквиль на революционное движение и революционных деятелей. «Бесы» были внесены в индекс книг, осужденных «прогрессивным» сознанием. Понять всю глубину и правду «Бесов» можно лишь в свете иного сознания, сознания религиозного; эта глубина и эта правда ускользает от сознания позитивистического. Если рассматривать этот роман, как реалистический, то многое в нем неправдоподобно и не соответствует действительности того времени. Но все романы Достоевского неправдоподобны, все они написаны о глубине, которую нелья увидать на поверхности действительности, все они были пророчеством. Пророчество приняли за пасквиль. Сейчас, после опыта русской революции, даже враги Достоевского должны признать, что «Бесы» — книга пророческая. Достоевский видел духовным зрением, что русская революция будет именно такой и иной быть не может. Он предвидел неизбежность беснования в революции. Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть бесновaнием, исступленным и вихревым кружением. Это исступленное вихревое кружение и описано в «Бесах». Там происходит оно в небольшом городке. Ныне происходит оно по всей необъятной земле русской. И начало это исступленное вихревое кружение от того же духа, от тех же начал, от которых пошло оно и в том же маленьком городке. Ныне водители русской революции поведали миру русский революционный мессианизм, они несут народам Запада, пребывающим в «буржуазной» тьме, свет с Востока. Этот русский революционный мессианизм был раскрыт Достоевским и понят

им, как негатив какого-то позитива, как извращенный апокалипсис, как вывернутый наизнанку положительный русский мессианизм, не революционный, а религиозный. Все герои «Бесов» в той или иной форме проповедуют русский революционный мессианизм, все они одержимы этой идеей. У колеблющегося и раздвоенного Шатова перемешано сознание славянофильское с сознанием революционным. Такими Шатовыми полна русская революция. Все они, как и Шатов Достоевского, готовы в исступлении выкрикивать, что русский революционный народ — народ-**богоносец,** но в Бога они не верят. Некоторые из них хотели бы верить в Бога — и не могут; большинство же довольствуется тем, что верит в богоносный революционный народ. В типичном народнике Шатове перемешаны элементы революционные с элементами реакционными, «черносотенными». И это характерно. Шатов может быть и крайним левым и крайним правым, но и в том, и в другом случае он остается народолюбцем, демократом, верующим прежде всего в народ. Такими Шатовыми полна русская революция; у всех у них не разберешь, где кончается их крайняя левость и революционность и начинается крайняя правость и реакционность. Они всегда враги культуры, враги права, всегда истребляют свободу лица. Это они утверждают, что Россия выше цивилизации и что никакой закон для нее не писан. Эти люди готовы истребить Россию во имя русского мессианизма. У Достоевского была слабость к Шатову, он в себе самом чувствовал шатовские соблазны. Но силой своего художественного прозрения он сделал образ Шатова отталкивающим и отрицательным.

В центре революционного беснования стоит образ Петра Верховенского. Это и есть главный бес русской революции. В образе Петра Верховенского Достоевский обнажил более глубокий слой революционного беснования, в действительности прикрытый и невидимый. Петр Верховенский может иметь и более благообразный вид. Но Достоевский сорвал с него покровы и обнажил его душу. Тогда образ революционного беснования предстал во всем своем безобразии. Он весь трясется от бесовской одержимости, вовлекая всех в исступленное вихревое кружение. Всюду он в центре, он за всеми и за всех. Он — бес, вселяющийся во всех и овладевающий всеми. Но и сам он бесноватый. Петр Верховенский прежде всего человек со-

вершенно опустошенный, в нем нет никакого содержания. Бесы окончательно овладели им и сделали его своим послушным орудием. Он перестал быть образом и подобием Божиим, в нем потерян уже лик человеческий. Одержимость ложной идеей сделала Петра Верховенского нравственным идиотом. Он одержим был идеей всемирного переустройства, всемирной революции, он поддался соблазнительной лжи, допустил бесов овладеть своей душой и потерял элементарное различие между добром и злом, потерял духовный центр. В образе Петра Верховенского мы встречаемся с уже распавшейся личностью, в которой нельзя уже нащупать ничего онтологического. Он весь есть ложь и обман и он всех вводит в обман, повергает в царство лжи. Зло есть изолгание бытия, лже-бытие, небытие. Достоевский показал, как ложная идея, охватившая целиком человека и доведшая его до беснования, ведет к небытию, к распадению личности. Достоевский был большой мастер в обнаружении онтологических последствий лживых идей, когда они целиком овладевают человеком. Какая же идея овладела целиком Петром Верховенским и довела личность его до распадения, превратила его в лжеца и сеятеля лжи? Это всё та же основная идея русского нигилизма, русского социализма, русского максимализма, всё та же инфернальная страсть к всемирному уравнению, всё тот же бунт против Бога во имя всемирного счастья людей, всё та же подмена царства Христова царством антихриста. Таких бесноватых Верховенских много в русской революции, они повсюду стараются вовлечь в бесовское вихревое движение, они пропитывают русский народ ложью и влекут его к небытию. Не всегда узнают этих Верховенских, не все умеют проникнуть вглубь, за внешние покровы. Хлестаковых революции легче различить, чем Верховенских, но и их не все различают и толпа возносит их и венчает славой.

Достоевский предвидел, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Он знал, что немалую роль в ней будет играть Федька-каторжник и что победит в ней **шигалевщина.** Петр Верховенский давно уже открыл ценность Федьки-каторжника для дела русской революции. И вся торжествующая идеология русской революции есть идеология шигалевщины. Жутко в наши дни читать слова Верховенского: «В сущности наше уче-

ние есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно». И ответ Ставрогина: «Право на бесчестье — да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!» И русская революция провозгласила «право на бесчестье» и все побежали за ней. А вот не менее важные слова: «Социализм у нас распространяется преимущественно из сантиментальности». Бесчестье и сантиментальность — основные начала русского социализма. Эти начала, увиденные Достоевским, и торжествуют в революции. Петр Верховенский видел, какую роль в революции будут играть «чистые мошенники». «Ну, это, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется». И дальше размышляет П. Верховенский о факторах русской революции: «Самая главная сила — цемент всё связующий, это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот «миленький» трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают». Это было очень глубокое проникновение в революционную Россию. В русской революционной мысли всегда был «стыд собственного мнения». Этот стыд почитался у нас за коллективное сознание, сознание более высокое, чем личное. В русской революции окончательно угасло всякое индивидуальное мышление, мышление сделалось совершенно безличным, массовым. Почитайте революционные газеты, прислушайтесь к революционным речам, и вы получите подтверждение слов Петра Верховенского. Кто-то потрудился-таки над тем, чтобы «ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове». Русский революционный мессианизм предоставляет собственные идеи и мнения буржуазному Западу. В России всё должно быть коллективом, массовым, безличным. Русский революционный мессианизм есть шигалевщина. Шигалевщина движет и правит русской революцией.

«Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира и не то, чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого». Все русские революционеры-максималисты смотрят так, как смотрел Шигалев, все ждут разрушения старого мира послезавтра утром. И тот новый мир, который возникнет на развали-

нах старого мира, есть мир шигалевщины. «Выходя из безграничной свободы, — говорит Шигалев, — я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако-ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого». Все революционные Шигалевы так говорят и так поступают. Петр Верховенский так формулирует сущность шигалевщины Ставрогину: «Горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию... Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание; мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство... Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое». В этих изумительных по своей пророческой силе словах Достоевский устами П. Верховенского приводит всё к ходу мыслей Великого Инквизитора. Это доказывает, что в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевский в значительной степени имел в виду социализм. Достоевский обнаруживает всю призрачность демократии в революции. Никакой демократии не существует, правит тираническое меньшинство. Но тирания эта, неслыханная в истории мира, будет основана на всеобщем принудительном уравнении. Шигалевщина и есть исступленная страсть к равенству, доведенному до конца, до предела, до небытия. Безбрежная социальная мечтательность ведет к истреблению бытия со всеми его богатствами, она у фанатиков перерождается в зло. Социальная мечтательность совсем не невинная вещь. Это понимал Достоевский. Русская революционно-социалистическая мечтательность и есть шигалевщина. Во имя равенства мечтательность эта хотела бы истребить Бога и Божий мир. В той тирании и том абсолютном уравнении, которыми увенчалось «развитие и углубление» русской революции, осуществляются золотые сны и

мечты русской революционной интеллигенции. Это были сны и мечты о царстве шигалевщины. Многим оно представлялось более прекрасным, чем оказалось в действительности. Многих наивных и простодушных русских социалистов, мечтавших о социальной революции, смущают торжествующие крики: «Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны... Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!» Достоевский был более проницателен, чем признанные учителя русской интеллигенции, он знал, что русский революционизм, русский социализм в час своего торжества должен кончиться этими шигалевскими выкриками.

Достоевский предвидел торжество не только шигалевщины, но и смердяковщины. Он знал, что подымается в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: «я всю Россию ненавижу», «я не только не желаю быть военным гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». На вопрос: «а когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?» бунтующий лакей ответил: «в двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Пораженчество во время войны и было таким явлением смердяковщины. Смердяковщина и привела к тому, что «умная нация» немецкая покоряет теперь «глупую» нацию русскую. Лакей Смердяков был у нас одним из первых интернационалистов, и весь наш интернационализм получал смердяковскую прививку. Смердяков предъявил право на бесчестье, и за ним многие побежали. Как это глубоко у Достоевского, что Смердяков есть другая половина Ивана Карамазова, обратное его подобие. Иван Карамазов и Смердяков — два явления русского нигилизма, две стороны одной и той же сущности. Иван Карамазов — высокое, философское явление нигилизма; Смердяков — низкое, лакейское его явление. Иван Карамазов на вершине умственной жизни должен породить Смердякова в низинах жизни. Смердяков и осуществляет всю атеистическую диалектику Ивана Карамазова. Смердяков — внутренняя кора Ивана. Во всякой

массе человеческой, массе народной больше Смердяковых, чем Иванов. И в революции, как движении масс, количеств, больше Смердяковых, чем Иванов. В революции торжествует атеистическая диалектика Ивана Карамазова, но осуществляет ее Смердяков. Это он сделал на практике вывод, что «всё дозволено». Иван совершает грех в мысли, в духе, Смердяков совершает его на деле, воплощает идею Ивана. Иван совершает отцеубийство в мысли. Смердяков совершает отцеубийство физически, на самом деле. Атеистическая революция всегда совершает отцеубийство, всегда отрицает отчество, всегда порывает связь сына с отцом. И оправдывает она это преступление тем, что отец был очень дурен и грешен. Такое убийственное отношение к отцу всегда есть смердяковщина. Смердяковщина и есть последнее проявление хамства. Совершив на деле то, что Иван совершил в мысли, Смердяков спрашивает Ивана: «Вы вот сами тогда всё говорили, что всё позволено, а теперь-то почему так встревожены сами-то-с?» Этот вопрос Смердякова Ивану повторяется и в русской революции. Смердяковы революции, осуществив на деле принцип Ивана «всё дозволено», имеют основание спросить Иванов революции: «теперь-то почему так встревожены сами-то-с?» Достоевский предвидел, что Смердяков возненавидит Ивана, обучившего его атеизму и нигилизму. И это разыгрывается в наши дни между «народом» и «интеллигенцией». Вся трагедия между Иваном и Смердяковым была своеобразным символом раскрывающейся трагедии русской революции. Проблема о том, всё ли дозволено для торжества блага человечества, стояла уже перед Раскольниковым. Старец Зосима говорит: «Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас! Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибает мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле». Эти слова — пророческие.

«Люди совокупятся, чтоб взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог... Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего

роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную». Это говорит чорт Ивану, и в словах этих раскрывается мучившая Достоевского мысль, что любовь к людям может быть безбожной и антихристовой. Эта любовь лежит в основе революционного социализма. Образ этого безбожного социализма, основанного на антихристовой любви, предносится Версилову: «Я представляю себе, что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались **одни**, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство... Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют всё друг для друга! Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее... Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою проходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью... Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — всё, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем свое состояние и тем одним был бы счастлив». В этой фантазии раскрывается метафизика и психология безбожного социализма. Достоевский живописует явление антихристовой любви. Он понял, как никто, что духовная основа социализма — отрицание бессмертия, что пафос социализма — желание устроить царство Божье на земле без Бога, осуществить любовь между людьми без Христа, — источника любви. Так раскрывает он религиозную ложь гуманизма в его предельных проявлениях. Гуманистический социализм ведет к истреблению человека, как образа и подобия Божья, он направлен против свободы человеческого духа, не выдерживает испытания свободы. Достоевский с не бывшей еще остротой поставил религиозный вопрос о челове-

ке и сопоставил его с вопросом о социализме, о земном соединении и устроении людей. Это раскрылось ему, как встреча и смешение Христа и антихриста в душе русского человека, русского народа. Апокалиптичность русского народа и делает эту встречу и это смешение особенно острым и трагическим. Достоевский предчувствовал, что если будет в России революция, то она будет осуществлением антихристовой диалектики. Русский социализм будет апокалиптикой, противоположной христианству. Достоевский видел дальше и глубже всех. Но сам он не был свободен от русских народнических иллюзий. В его русском христианстве были стороны, которые давали основание К. Леонтьеву назвать его христианство розовым. Это розовое христианство и розовое народничество более всего сказались в образах Зосимы и Алеши, которые нельзя назвать вполне удачными. Великие положительные откровения Достоевского даются отрицательным путем, путем отрицательной художественной диалектики. Правда, сказанная им о России, не есть слащавая и розовая правда народолюбия и народопоклонства, это — правда трагическая, правда об антихристовых соблазнах народа апокалиптического по своему духу. Сам Достоевский соблазнялся церковным национализмом, который мешал русскому народу выйти во вселенскую ширь. Народопоклонство Достоевского потерпело крах в русской революции. Его положительные пророчества не сбылись. Но торжествуют его пророческие прозрения русских соблазнов.

III. Л. Толстой в русской революции

В Толстом нет ничего пророческого, он ничего не предчувствовал и не предсказывал. Как художник, он обращен к кристаллизованному прошлому. В нем не было той чуткости к динамизму человеческой природы, которая в высшей степени была у Достоевского. Но в русской революции торжествуют не художественные прозрения Толстого, а моральные его оценки. Л. Толстой, как искатель правды жизни, как моралист и религиозный учитель, очень характерен для России и русских. Толстовцев в узком смысле слова, разделяющих доктрину Толстого, мало, и они представляют незначительное явление. Но толстовство в широком, не доктринальном смысле

слова очень характерно для русского человека, оно определяет русские моральные оценки. Толстой не был прямым учителем русской левой интеллигенции, ей было чуждо толстовское религиозное учение. Но Толстой уловил и выразил особенности морального склада большей части русской интеллигенции, быть может, даже русского человека вообще. И русская революция являет собой своеобразное торжество толстовства. На ней отпечатлелся и русский толстовский моралнзм и русская аморальность. Этот русский моралнзм и эта русская аморальность связаны между собой и являются двумя сторонами одной и той же болезни нравственного сознания. Болезнь русского нравственного сознания я вижу прежде всего в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств. Русский человек не чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым, и он мало почитает качества в личности. Это связано с тем, что личность чувствует себя погруженной в коллектив, личность недостаточно еще раскрыта и сознана. Такое состояние нравственного сознания порождает целый ряд претензий, обращенных к судьбе, к истории, к власти, к культурным ценностям, для данной личности недоступным. Моральная настроенность русского человека характеризуется не здоровым вменением, а болезненной претензией. Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями, у него затемнено и сознание прав и сознание обязанностей, он утопает в безответственном коллективизме, в претензии за всех. Русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам — кузнец своей судьбы. Он не любит качеств, повышающих жизнь личности, и не любит силы. Всякая сила, повышающая жизнь, представляется русскому человеку нравственно подозрительной, скорее злой, чем доброй. С этими особенностями морального сознания связано и то, что русский человек берет под нравственное подозрение ценности культуры. Ко всей высшей культуре он предъявляет целый ряд нравственных претензий и не чувствует нравственной обязанности творить культуру. Все эти особенности и болезни русского нравственного сознания представляют благоприятную почву для возникновения учения Толстого.

Толстой — индивидуалист и очень крайний индивидуалист. Он совершенно антиобществен, для него не существует проблемы общественности. Индивидуалистична и толстовская мораль. Но ошибочно было бы сделать отсюда заключение, что толстовская мораль покоится на ясном и твердом сознании личности. Толстовский индивидуализм решительно враждебен личности, как это и всегда бывает с индивидуализмом. Толстой не видит лица человеческого, не знает лица, он весь погружен в природный коллективизм, который представляется ему жизнью божественной. Жизнь личности не представляется ему истинной, божественной жизнью, это — ложная жизнь этого мира. Истинная, божественная жизнь есть жизнь безличная, общая жизнь, в которой исчезли все качественные различения, все иерархические расстояния. Нравственное сознание Толстого требует, чтобы не было больше человека, как самобытного, качественного бытия, а была только всеобщая, бескачественная божественность, уравнение всех и всего в безличной божественности. Только полное уничтожение всякого личного и разнокачественного бытия в безликой и бескачественной всеобщности представляется Толстому выполнением закона Хозяина жизни. Личность, качественность есть уже грех и зло. И Толстой хотел бы последовательно истребить всё, что связано с личностью и качественностью. Это в нем восточная, буддийская настроенность, враждебная христианскому Западу. Толстой делается нигилистом из моралистического рвения. Поистине демоничен его морализм и истребляет все богатства бытия. Эгалитарная и нигилистическая страсть Толстого влечет его к истреблению всех духовных реальностей, всего подлинно онтологического. Незнающая границ моралистическая претензия Толстого всё делает призрачным, она отдает под подозрение и низвергает реальность истории, реальность церкви, реальность государства, реальность национальности, реальность личности и реальность всех сверхличных ценностей, реальность всей духовной жизни. Всё представляется Толстому нравственно предосудительным и недопустимым, основанным на жертвах и страданиях, к которым он испытывает чисто животный страх. Я не знаю во всемирной истории другого гения, которому была бы так чужда всякая духовная жизнь. Он весь погружен в жизнь телесно-душевную, животную. И вся религия Толстого

есть требование такой всеобщей кроткой животности, освобожденной от страдания и удовлетворенной. Я не знаю в христианском мире никого, кому была бы так чужда и противна самая идея искупленья, так непонятна тайна Голгофы, как Толстому. Во имя счастливой животной жизни всех отверг он личность и отверг всякую сверхличную ценность. Поистине личность и сверхличная ценность неразрывно связаны. Личность потому только и существует, что в ней есть сверхличное, ценное содержание, что она принадлежит к иерархическому миру, в котором существуют качественные различения и расстояния. Природа личности не выносит смешения и бескачественного уравнения. И любовь людей во Христе менее всего есть такое смешение и бескачественное уравнение, но есть бесконечно в глубь идущее утверждение всякого лика человеческого в Боге. Толстой не знал этого, и мораль его была низменной моралью, притязательной моралью нигилиста. Мораль Ницше бесконечно выше, духовнее морали Толстого. Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал нарождению и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств, и потому он был злым гением России, соблазнителем ее. В нем совершилась роковая встреча русского морализма с русским нигилизмом и дано было религиозно-нравственное оправдание русского нигилизма, которое соблазнило многих. В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание. Почти вся русская интеллигенция признала толстовские моральные оценки самыми высшими, до каких только может подняться человек. Эти моральные оценки считали даже слишком высокими и потому себя считали недостойными их и неспособными подняться на их высоту. Но мало кто сомневается в высоте толстовского морального сознания. В то время как принятие этого толстовского морального сознания влечет за собой погром и истребление величайших святынь и ценностей, величайших духовных реальностей, смерть личности и смерть Бога, ввергнутых в безличную божественность среднего рода. У нас не относятся еще достаточно серьезно и углубленно к соблазнительной лжи толстовской морали. Противоядием против нее должны были бы быть пророческие прозрения Достоевского.

Толстовская мораль восторжествовала в русской революции, но не теми идиллическими и любвеобильными путями, которые предносились самому Толстому. Толстой сам, вероятно, ужаснулся бы этому воплощению своих моральных оценок. Но он многого, слишком многого из того, что сейчас происходит, хотел. Он вызывал тех духов, которые владеют революцией, и сам был ими одержим.

Толстой был максималистом. Он отверг всякую историческую преемственность, он не хотел допустить никаких ступеней в историческом развитии. Этот толстовский максимализм осуществляется в русской революции — она движется истребляющей моралью максимализма, она дышит ненавистью ко всему историческому. И в духе толстовского максимализма русская революция хотела бы вырвать каждого человека из мирового и исторического целого, к которому он органически принадлежит, превратить его в атом для того, чтобы повергнуть его немедленно в безличный коллектив. Толстой отрицал историю и исторические задачи, он отрекался от великого исторического прошлого и не хотел великого исторического будущего. В этом русская революция верна ему, она совершает отречение от исторических заветов прошлого и исторических задач будущего, она хотела бы, чтобы русский народ не жил исторической жизнью. И подобно тому как у Толстого, в русской революции это максималистическое отрицание исторического мира рождается из исступленной эгалитарной страсти. Пусть будет абсолютное уравнение, хотя бы то было уравнение в небытии! Исторический мир — иерархичен, он весь состоит из ступеней, он сложен и многообразен, в нем — различия и дистанции, в нем — разнокачественность и дифференцированность. Всё это так же ненавистно русской революции, как и Толстому. Она хотела бы сделать исторический мир серым, однородным, упрощенным, лишенным всех качеств и всех красок. И этому учил Толстой, как высшей правде. Исторический мир разлагается на атомы, и атомы принудительно соединяются в безличном коллективе. «Без аннексий и контрибуций» и есть отвлеченное отрицание всех положительных исторических задач. Ибо поистине все исторические задачи предполагают «аннексии и контрибуции», предполагают борьбу конкретных исторических ин-

дивидуальностей, предполагают сложение и разложение исторических целостей, цветение и отцветание исторических тел.

Толстой сумел привить русской интеллигенции ненависть ко всему исторически-индивидуальному и исторически-разностному. Он был выразителем той стороны русской природы, которая питала отвращение к исторической силе и исторической славе. Это он приучал элементарно и упрощенно морализировать над историей и переносить на историческую жизнь моральные категории жизни индивидуальной. Этим он морально подрывал возможность для русского народа жить исторической жизнью, исполнять свою историческую судьбу и историческую миссию. Он морально уготовлял историческое самоубийство русского народа. Он подрезывал крылья русскому народу, как народу историческому, морально отравил источники всякого порыва к историческому творчеству. Мировая война проиграна Россией потому, что в ней возобладала толстовская моральная оценка войны. Русский народ в грозный час мировой борьбы обессилили, кроме предательств и животного эгоизма, толстовские моральные оценки. Толстовская мораль обезоружила Россию и отдала ее в руки врага. И это толстовское непротивленство, эта толстовская пассивность очаровывает и увлекает тех, которые поют гимны совершонному революцией историческому самоубийству русского народа. Толстой и был выразителем непротивленческой и пассивной стороны русского народного характера. Толстовская мораль расслабила русский народ, лишила его мужества в суровой исторической борьбе, но оставила непреображенной животную природу человека с ее самыми элементарными инстинктами. Она убила в русской породе инстинкт силы и славы, но оставила инстинкт эгоизма, зависти и злобы. Эта мораль бессильна преобразить человеческую природу, но может ослабить человеческую природу, обесцветить ее, подорвать творческие инстинкты.

Толстой был крайним анархистом, врагом всякой государственности по морально-идеалистическим основаниям. Он отверг государство, как основанное на жертвах и страданиях, и видел в нем источник зла, которое для него сводилось к насилию. Толстовский анархизм, толстовская вражда к государству также одержали победу в русском народе. Толстой оказался выразителем антигосударственных, анархических ин-

стинктов русского народа. Он дал этим инстинктам морально-религиозную санкцию. И он один из виновников разрушения русского государства. Также враждебен Толстой всякой культуре. Культура для него основана на неправде и насилии, в ней источник всех зол нашей жизни. Человек по природе своей естественно добр и благостен и склонен жить по закону Хозяина жизни. Возникновение культуры, как и государства, было падением, отпадением от естественного божественного порядка, началом зла, насилием. Толстому было совершенно чуждо чувство первородного греха, радикального зла человеческой природы, и потому он не нуждался в религии искупления и не понимал ее. Он был лишен чувства зла, потому что лишен был чувства свободы и самобытности человеческой природы, не ощущал личности. Он был погружен в безличную, нечеловеческую природу и в ней искал источников божественной правды. И в этом Толстой оказался источником всей философии русской революции. Русская революция враждебна культуре, она хочет вернуть к естественному состоянию народной жизни, в котором видит непосредственную правду и благостность. Русская революция хотела бы истребить весь культурный слой наш, утопить его в естественной народной тьме. И Толстой является одним из виновников разгрома русской культуры. Он нравственно подрывал возможность культурного творчества, отравлял истоки творчества. Он отравил русского человека моральной рефлексией, которая сделала его бессильным и неспособным к историческому и культурному действию. Толстой — настоящий отравитель колодцев жизни. Толстовская моральная рефлексия есть настоящая отрава, яд, разлагающий всякую творческую энергию, подкапывающий жизнь. Эта моральная рефлексия ничего общего не имеет с христианским чувством греха и христианской потребностью в покаянии. Для Толстого нет ни греха, ни покаяния, возрождающего человеческую природу. Для него есть лишь обессиливающая, безблагодатная рефлексия, которая есть обратная сторона бунта против божественного миропорядка. Толстой идеализировал простой народ, в нем видел источник правды и обоготворял физический труд, в котором искал спасения от бессмыслицы жизни. Но у него было пренебрежительное и презрительное отношение ко всякому духовному труду и творчеству. Всё острие толстов-

ской критики всегда было направлено против культурного строя. Эти толстовские оценки также победили в русской революции, которая возносит на высоту представителей физического труда и низвергает представителей труда духовного. Толстовское народничество, толстовское отрицание разделения труда положены в основу моральных суждений революции, если только можно говорить о ее моральных суждениях. Поистине Толстой имеет не меньшее значение для русской революции, чем Руссо имел для революции французской. Правда, насилия и кровопролития ужаснули бы Толстого, он представлял себе осуществление своих идей иными путями. Но ведь и Руссо ужаснули бы деяния Робеспьера и революционный террор. Но Руссо так же несет ответственность за революцию французскую, как Толстой за революцию русскую. Я даже думаю, что учение Толстого было более разрушительным, чем учение Руссо. Это Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России. Он много сделал для разрушения России. Но в этом самоубийственном деле он был русским, в нем сказались роковые и несчастные русские черты. Толстой был одним из русских соблазнов.

Толстовство в широком смысле этого слова — русская внутренняя опасность, принявшая обличье высочайшего добра. Сокрушить внутренно русскую силу только и могло это соблазнительное и ложное добро, лже-добро, эта идея безблагодатной святости, лже-святости. В толстовском учении соблазняет радикальный призыв к совершенству, к совершенному исполнению закона добра. Но это толстовское совершенство потому так истребительно, так нигилистично, так враждебно всем ценностям, так несовместимо с каким бы то ни было творчеством, что это совершенство — безблагодатное. В святости, к которой стремился Толстой, была страшная безблагодатность, богопокинутость, и потому это — ложная, злая святость. Благодатная святость не может совершать таких истреблений, не может быть нигилистической. У настоящих святых было благословение жизни, была милость. Это благословение и эта милость были прежде всего у Христа. В духе же Толстого ничего не было от духа Христова. Толстой требует немедленного и полного осуществления абсолютного добра в этой земной жизни, подчиненной

законам грешной природы, и не допускает относительного, истребляет всё относительное. Так хотел он вырвать всякое существо человеческое из мирового целого и повергнуть в пустоту, в небытие отрицательного абсолютного. И абсолютная жизнь оказывается лишь элементарной животной жизнью, протекающей в физическом труде и удовлетворении самых простых потребностей. В такое отрицательное абсолютное, пустое и нигилистическое, и хочет повергнуть русская революция всю Россию и всех русских людей. Идеал безблагодатного совершенства ведет к нигилизму. Отрицание прав относительного, т. е. всего многообразия жизни, всех ступеней истории, в конце концов отделяет от источников жизни абсолютной, от абсолютного духа. Религиозный гений, апостол Павел некогда понял всю опасность превращения христианства в еврейскую апокалиптическую секту и ввел христианство в поток всемирной истории, признав и освятив право относительных ступеней. Толстой прежде всего восстал против дела апостола Павла. Вся ложь и призрачность толстовства с неотвратимой диалектикой развернулась в русской революции. В революции народ изживает свои соблазны, свои ошибки, свои ложные оценки. Это многому научает, но научение покупается слишком дорогой ценой. Необходимо освободиться от Толстого, как от нравственного учителя. Преодоление толстовства есть духовное оздоровление России, ее возвращение от смерти к жизни, к возможности творчества, возможности исполнения своей миссии в мире.

IV. Заключение

Русский человек склонен всё переживать трансцендентно, а не имманентно. И это легко может быть рабским состоянием духа. Во всяком случае это — показатель недостаточной духовной возмужалости. Русская интеллигенция в огромной массе своей никогда не сознавала себе имманентным государство, церковь, отечество, высшую духовную жизнь. Все эти ценности представлялись ей трансцендентно-далекими и вызывали в ней враждебное чувство, как что-то чуждое и насилующее. Никогда русская интеллигенция не переживала истории и исторической судьбы как имманентной себе, как своего собственного дела, и потому вела процесс против истории, как против совер-

шающегося над ней насилия. Трансцендентные переживания в массе народной сопровождались чувством религиозного благоговения и покорности. Тогда возможно было существование Великой России. Но это трансцендентное переживание не перешло в имманентное переживание святыни и ценности. Всё осталось трансцендентным, но вызывает уже к себе не благоговейное и покорное отношение, а отношение нигилистическое и бунтующее. Революция и есть болезненно-катастрофический переход от благоговейного почитания трансцендентного к нигилистическому бунту против трансцендентного. Имманентная духовная зрелость и освобождение в революции не достигаются. Слишком многие увидали в имманентной морали и имманентной религии Л. Толстого наступление духовной зрелости. Но это было страшным заблуждением. В действительности имманентное сознание Толстого было нигилистическим отрицанием всех тех святынь и ценностей, которые раньше почитались, как трансцендентное. Но это есть лишь возвращение к изначальному рабству. Такой бунт всегда есть рабий бунт, в нем нет свободы и богосыновства. Русский нигилизм и есть неспособность имманентно и свободно пережить все богатства и ценности Божьего мира, бессилие ощутить себя сынами Божьими и собственниками всего наследия истории всемирной и истории родной. Русская же апокалиптичность нередко бывает разгоряченным ожиданием чуда, которое должно прекратить жизнь в этом отчуждении от всех богатств и преодолеть болезненный трансцендентный разрыв. Потому так затруднено для русских имманентное творческое развитие, так слабо у них чувство исторической преемственности. Есть какая-то внутренняя болезнь русского духа. Болезнь эта имеет тяжелые отрицательные последствия, но в ней раскрывается и что-то положительное, недоступное западным людям более имманентного склада. Великим русским писателям раскрывались такие бездны и пределы, которые закрыты для западных людей, более ограниченных и закованных своей имманентной душевной дисциплиной. Русская душа более чутка к мистическим веяниям, она встречается с ду́хами, которые закрыты для забронированной западной души. И русская душа легко поддается соблазнам, легко впадает в смешение и подмену. Неслучайно предчувствие антихриста — русское предчувствие по преимуществу. Чувство

антихриста и ужас антихриста были в русском народе, в низах и у русских писателей, на самых вершинах духовной жизни. И антихристов дух соблазнял русских так, как никогда не соблазнял он людей западных. В католичестве всегда было сильное чувство зла, дьявола, но почти не было чувства антихриста. Католическая душа представляла крепость, защищенную от антихристовых веяний и соблазнов. Православие не превратило душу в такого рода крепость, оно оставило ее более раскрытой. Но апокалипсис переживается русской душой пассивно, а не активно. Активных орудий борьбы с антихристовыми дýхами нет, эти орудия не были приготовлены. Не было лат, не было щита и меча, не было рыцарского закала души. Русская борьба с антихристом есть всегда уход, переживание ужаса. И слишком многие, не уходившие от соблазнов, поддавались этим соблазнам, смешивали, пленялись подменой. Русский человек находится во власти ложной морали, ложного идеала праведной, совершенной, святой жизни, которые ослабляли его в борьбе с соблазнами. Эту ложную мораль и ложную святость Достоевский раскрыл и предсказал их последствия, Толстой же проповедывал их.

Русская революционная мораль представляет совершенно своеобразное явление. Она образовалась и кристаллизовалась в левой русской интеллигенции в течение ряда десятилетий и сумела приобрести престиж и обаяние в широких кругах русского общества. Средний интеллигентный русский человек привык преклоняться перед нравственным образом революционеров и перед их революционной моралью. Он готов был признать себя недостойным этой моральной высоты революционного типа. В России образовался особенный культ революционной святости. Культ этот имеет своих святых, свое священное предание, свои догматы. И долгое время всякое сомнение в этом священном предании, всякая критика этих догматов, всякое непочтительное отношение к этим святым вело к отлучению не только со стороны революционного общественного мнения, но и со стороны радикального и либерального общественного мнения. Достоевский пал жертвой этого отлучения, ибо он первый вскрыл ложь и подмену в революционной святости. Он понял, что революционный моралúзм имеет обратной своей стороной революционный аморализм и что сходство революционной свя-

тости с христианской есть обманчивое сходство антихриста с Христом. Нравственное вырождение, которым кончилась революция 1905 г., нанесло некоторый удар престижу революционной морали, и ореол революционной святости потускнел. Но действительного излечения, на которое некоторые надеялись, не призошло. Болезнь русского нравственного сознания была слишком длительной и серьезной. Излечение может наступить лишь после страшного кризиса, когда весь организм русского народа будет близок к смерти. Мы живем в дни этого почти смертельного кризиса. Теперь даже для людей полуслепых многое виднее, чем после 1905 года. Теперь «Вехи» не были бы встречены так враждебно в широких кругах русской интеллигенции, как в то время, когда они появились. Теперь правду «Вех» начинают признавать даже те, которые их поносили. После бесовства революции святость русской революционной интеллигенции не представляется уже столь канонически бесспорной. Духовного оздоровления России нужно искать во внутреннем изобличении этой революционной лже-святости и в освобождении от ее обаяния. Революционная святость не есть настоящая святость, это — ложная святость, обманчивая видимость святости, подмена. Внешние гонения, воздвигнутые старой властью против революционеров, внешние страдания, которые им пришлось претерпеть, очень способствовали этой обманчивой видимости святости. Но никогда в революционной святости не происходило истинного преображения человеческой природы, второго духовного рождения, победы над внутренним злом и грехом; никогда в ней не ставилось и задачи преображения человеческой природы. Человеческая природа оставалась ветхой, она пребывала в рабстве у греха, и дурных страстей, и хотела достигнуть новой, высшей жизни чисто внешними, материальными средствами. Но человек, фанатизированный ложной идеей, способен выносить внешние лишения, нужду и страдания, он может быть аскетом не потому, что силой своего духа преодолевает свою грешную и рабскую природу, а потому, что одержимость одной идеей и одной целью вытесняет для него всё богатство и многообразие бытия и делает его естественно бедным. Это — безблагодатный аскетизм и безблагодатная бедность, нигилистический аскетизм и нигилистическая бедность. Традиционная революционная святость — безбожная

святость. Это есть безбожная претензия достигнуть святости одним человеческим и во имя одного человеческого. На пути этом калечится и падает образ человека, ибо образ человека — образ и подобие Божье. Революционная мораль, революционная святость — глубоко противоположны христианству. Эта мораль и эта святость претендуют подменить и заменить христианство с его верой в богосыновство человека и в благодатные дары, стяжаемые человеком через Христа-Искупителя. Революционная мораль так же враждебна христианству, как и мораль толстовская, — одна и та же ложь и подмена их отравляет и обессиливает. Обманчивая внешность революционной святости послана была русскому народу, как соблазн и испытание его духовных сил. И вот испытания этого русские люди не выдержали. Искренно увлеченные революционным духом не видят реальностей, не распознают дýхов. Обманчивые, лживые и двоящиеся образы пленяют и соблазняют. Антихристовы соблазны, антихристова мораль, антихристова святость пленяют и влекут русского человека. Русским людям, плененным духовно революционным максимализмом, свойственны переживания, очень родственные иудейской апокалиптике, той апокалиптике, которая была преодолена и побеждена апостолом Павлом и Христианской Церковью. Победа над этой иудейской апокалиптикой и сделала христианство всемирно-исторической силой. Русская апокалиптика заключает в себе величайшие опасности и соблазны, она может направить всю энергию русского народа по ложному пути, она может помешать русскому народу выполнить его призвание в мире, она может сделать русский народ народом неисторическим. Революционная апокалиптика отвращает русских людей от реальностей и повергает их в царство призраков. Освобождение от этой ложной и нездоровой апокалиптики не означает истребления всякого апокалиптического сознания. В русской апокалиптичности скрыты и положительные возможности. В русской революции изживаются русские грехи и русские соблазны, то, что открывалось великим русским писателям. Но великие грехи и великие соблазны могут быть лишь у великого по своим возможностям народа. Негатив есть карикатура на позитив. Русский народ низко пал, но в нем скрыты великие возможности и ему могут раскрыться великие дали. Идея народа, замысел Божий о нем остается и после того,

как народ пал, изменил своей цели и подверг свое национальное и государственное достоинство величайшим унижениям. Меньшинство может остаться верно положительной и творческой идее народа, и из него может начаться возрождение. Но путь к возрождению лежит через покаяние, через сознание своих грехов, через очищение духа народного от духов бесовских. И прежде всего необходимо начать различать дýхов. Старая Россия, в которой было много зла и уродства, но также и много добра и красоты, умирает. Новая Россия, рождающаяся в смертных муках, еще загадочна. Она не будет такой, какой представляют ее себе деятели и идеологи революции. Она не будет цельной по своему духовному облику. В ней более резко будут разделены и противоположены христианские и антихристианские начала. Антихристианские дýхи революции родят свое темное царство. Но и христианский дух России должен явить свою силу. Сила этого духа может действовать в меньшинстве, если большинство отпадет от него.

Николай Бердяев

МЕСТО Н. О. ЛОССКОГО В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ*

Вопрос о месте Лосского в русской философской мысли еще не вполне выяснен, поскольку история русской философии еще не дописана. Говоря приблизительно, Лосский находится где-то посредине между продолжателями традиций Вл. Соловьева (Идея Всеединства, несомненно повлиявшая на «Мир как органическое целое») — и русским лейбницианством, как оно было представлено у А. Козлова.

Разумеется, Лосского нельзя причислить просто к продолжателям соловьевской традиции или к разновидности русского лейбницианства. Лосский был мыслителем синтетического склада, и в созданном им синтезе органически совмещается ряд разнородных философских элементов. Сам он называл свою систему «органическим идеал-реализмом» или «иерархическим персонализмом».

Помимо того, в намеченной нами исторической схеме, пока не принята во внимание гносеология Лосского, составляющая главную его силу как мыслителя. Его интуитивизм, хотя и имеет свои корни в русском складе мышления, всё же настолько смел и своеобразен, что разрывает рамки исторических аналогий в русской мысли. Взятая в своем гносеологическом аспекте, система Лосского связана скорее с западной, чем с русской мыслью. Сам замысел интуитивизма Лосского — найти творческий синтез между эмпиризмом и априоризмом — является традиционной проблемой гносеологии со времен Канта и даже раньше, и тесно связан с исканиями западной гносеологиче-

---

* 24 января этого года на 95-м году под Парижем, в Сэнт Женевьев де Буа, скончался известный философ Николай Онуфриевич Лосский, сотрудник «Нового Журнала». Мы обратились к его ученику и другу С. А. Левицкому с просьбой написать для «Н. Ж.» статью о покойном Н. О. и с удовольствием эту статью печатаем. РЕД.

ской мысли конца 19 и начала 20 веков. Выход из заколдованного круга гносеологического субъективизма, и прорыв к реализму — один из главных философских подвигов Лосского, обеспечивающий ему почетное место в мировой, а не только в русской мысли.

Преодоление позитивизма в гносеологии было одной из целей гносеологических исканий и Вл. Соловьева, и Лопатина, и епископа Никанора. Но только Лосскому удалось творчески преодолеть позитивизм, поставив свою гносеологическую проблематику гораздо шире. Интуитивизм Лосского является скорее ответом Канту, чем позитивистам. Впоследствии Лосский осознал близость своих гносеологических идей к идеям англо-американских нео-реалистов (Перри, Холт, Монтэгю), и отчасти — к нео-католической мысли. Но нужно сразу сказать, что англо-американские реалисты поверхностнее Лосского: они обходят проблематику Канта, в то время как Лосский дает свой ответ на кантовский вопрос: как возможно познание. Для того, чтобы определить место Лосского в гносеологии конца прошлого и начала этого века, необходимо произвести краткий экскурс в эту область.

★

Примерно, с восьмидесятых годов прошлого века в западной, главным образом в немецкой, мысли шел процесс преодоления психологизма в гносеологии. Немецкие нео-кантианцы учили различать между психическим процессом познания и его логическим значением. Как марбургская (Коган, Наторп), так и баденская школа (Виндельбанд, Риккерт) настаивали на фундаментальном значении этого различия.

Затем, в девяностых годах появилась «имманентная школа» (Шуппе), утверждавшая неразрывную соотносительность субъекта и объекта познания (в силу чего объект — имманентен субъекту) и произведшая, в связи с этим, преобразование самого понятия сознания. Сознание при этом понималось как гносеологический субъект, идентичный во всех познающих индивидах. Имманентная школа пыталась «снять» вопрос о субъективности или объективности познания указанием на его субъектно-объектную структуру.

Б. Яковенко в своих крайне субъективно написанных

«Очерках по истории русской философии» (Берлин, 1922) указывает, что построения Лосского близки по духу и отчасти по форме гносеологическим теориям Липпса и Фолькельта. Отсюда он делает вывод, что теория Лосского создавалась под непосредственным влиянием этих мыслителей, стремившихся также преодолеть субъективизм и имманентизм.

Но вывод этот глубоко несправедлив. Кроме перечисленных нами немецких гносеологов конца 19-го века можно было бы привести еще немало философов, у которых есть идеи, сходные в частностях с интуитивизмом Лосского. Но именно Лосскому удался гносеологический синтез, в силу чего его теория явилась новым словом в гносеологии, несмотря на частичные сходства и влияния.

В то же время, во Франции, Анри Бергсон развил свое учение об интуиции, как основном методе познания. Познание рассудочное, по Бергсону, так сказать, вторично и дает лишь схемы реальности, в то время как иррациональная интуиция схватывает сущность вещей. Значение теории интуитивизма Лосского может быть должным образом понято лишь в контексте этих западных гносеологических исканий. Добавим, что на русской почве нео-кантианство и бергсонизм в то время (начало 20-го века) не получили до Лосского достаточного влияния. Русские кантианцы (Введенский, Лапшин) были скорее сторонниками прежнего психологистического истолкования Канта.

Новая гносеологическая теория Лосского, дававшая обоснование интуиции (понятой, правда, иначе, чем у Бергсона), возникла поэтому на русской почве как бы спонтанно. Этим объясняется та оживленная полемика, которую она возбудила. Теория Лосского, будь она высказана западным мыслителем, привлекла бы к себе, конечно, внимание, но не явилась бы такой неожиданностью. Это не значит, что интуитивизм Лосского не имел корней в русской мысли. Его теория созвучна многим идеям Киреевского и Вл. Соловьева. Но это скорее — родство душ, отражающее характерные особенности русской мысли, чем влияние в прямом смысле этого слова. Новизна гносеологической теории Лосского заключалась не столько в отдельных мыслях, нередко высказанных до него, сколько в ее синтетическом характере. В интуитивизме Лосского содержится свое-

образное примирение идей имманентной школы Шуппе, теории чистого опыта Авенариуса и интуитивной философии Бергсона.

Никто до Лосского не утверждал и не доказывал с такой прямотой наличия самого транссубъективного бытия в познавательном акте. Напомним, что под интуицией Лосский понимает непосредственное созерцание предметов в подлиннике. Предмет познания, по Лосскому, — не психическая копия его, не субъективное отражение или конструкция, — а само бытие, как оно существует независимо от познавательного акта. Этими предметами может быть как материальное, так и не-материальное бытие.

Немецкие гносеологи не шли далее доказательства сверхпсихического над-индивидуального значения логических суждений. Бергсон доказывал непосредственное причастие бытию в акте иррациональной интуиции. Но рассудочное познание он считал субъективной конструкцией. Лишь в теории Лосского содержалось прямое и недвусмысленное утверждение наличия транссубъективного бытия в познавательном акте. При этом различия в способах познания он последовательно сводил к различиям в типах бытия, становящегося объектом интуиции. Так, по Лосскому, материальные качества познаются чувственной интуицией, мир идей — интуицией интеллектуальной, а Абсолютное — интуицией мистической.

Имея в виду это учение Лосского о непосредственном восприятии идей, Б. Яковенко замечает, что Лосский возрождает средневековый реализм, утверждавший реальность общих понятий. Это верно с той оговоркой, что в современной философии есть ряд течений, по новому возродивших учение о сверхиндивидуальном значении идей, например, феноменология Гуссерля. По Гуссерлю, чувственный опыт всегда содержит в себе не-чувственные элементы, которые познаются нами посредством «идеирующей абстракции». Сущность вещей (их «что») остается по Гуссерлю трансцендентной сознанию, в то время как их идея (их «как») непосредственно схватывается сознанием. Идя по этому пути, последователь Гуссерля, Макс Шелер, развил своеобразное учение о «созерцании сущностей», близкое «интеллектуальной интуиции» Лосского. Нам представляется, что учение Лосского об интеллектуальной интуиции не только последовательно с точки зрения его основного гносеологического

замысла, но и возрождает в не-наивной форме зерно истины, содержавшееся в средневековом реализме, — подобно тому, как оно возрождает в не-наивной форме зерно истины, содержащееся в наивном реализме в отношении восприятия внешнего мира. Тот же факт, что гносеологическая теория Лосского давала свои ответы на выдвинутые незадолго до него проблемы, — свидетельствует опять-таки в пользу его учения. Это показывает, что гносеологические искания Лосского шли в русле диалектики мировой гносеологической мысли.

Но, повторяем, Лосский имел смелость договорить и домыслить то, что у его предшественников было лишь намечено. Он утверждал, что мы в состоянии познавать «вещи в себе», запрещенные Кантом. Причем в рамках системы Лосского, это не было противоречием, поскольку он учил об открытой, а не закрытой структуре сознания. Сознание понималось Лосским не как некое замкнутое психическое вместилище, в которое предмет должен проникнуть, субъективно преломившись в нем, а скорее как луч света, освещающий своим познавательным вниманием предметы, не подвергая их субъективным изменениям. Это преобразование понятия сознания было намечено Шуппе, но развито в стройную концепцию «гносеологической координации» именно Лосским.

Некоторые критики, например, Зеньковский считают, что «гносеологическая координация» играет у Лосского роль некоего «деус экс махина», при помощи которого он разрубает Гордиев узел проблемы познания, вместо того, чтобы действительно разрешить эту проблему. Но это утверждение не выдерживает критики: Лосский начинает именно с беспредпосылочного анализа или, лучше сказать, с описания непосредственных данных сознания, открывая в нем «данные мне» и собственно «мои» элементы. (См. его работу «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма»). «Данными мне» являются те элементы познания, которые мы обычно относим к внешнему миру. Но в число «данных мне» элементов Лосский включает и мое тело и вообще все возможные объекты сознания, вплоть до не-чувственных элементов. Под «моими» же элементами он понимает акты внимания, различения и, вообще, познавательную направленность сознания.

Задавая себе кантовский вопрос об условиях возможности

познания, он отвечает на него своей теорией гносеологической координации, — непосредственной сочетанности субъекта и предмета в познавательном акте, при направленности субъекта на предмет. Эта теория дает выход из гносеологического тупика, в который заводили все теории, основанные на предпосылке о причинном воздействии предмета на сознание, ибо тогда сознание неизбежно замыкалось в себе самом. По Лосскому, сущность сознания заключается в чистой направленности на мир объектов, осуществляемой в «интенциональных актах». Отношение субъекта сознания к предметам носит, по духу этой теории, не-причинный характер. Воздействие предметов внешнего мира на мою нервную систему играет роль лишь повода, сигнала, побуждающего мое «я» обратить внимание на задевший мое тело предмет. Отношение субъекта сознания к предметам носит, следовательно, чисто духовный характер «имения в сознании». Эта теория, будучи продумана, обязывает к довольно смелым выводам, и Лосский не останавливается перед тем, чтобы их сделать. Он учит о «до-сознательной сочетанности» субъекта и предмета. Эта до-сознательная координация коренится в самой структуре бытия, в имманентности всего всему в мире.

Лосский сам рассказывает, как «осенила» его эта основная интуиция: когда он шел по улицам Петербурга, в тысячный раз задумавшись над гносеологической загадкой, и кинул взгляд на сливавшиеся в петербургском полу-тумане здания, ему вдруг в голову пришла мысль: «все имманентно всему». Эта идея легла как в основу гносеологии, так и метафизики Лосского.

В его книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» мы читаем: «Независящая от времени и пространства координация есть ничто иное как связь сверхвременных и сверхпространственных деятелей, друг с другом, благодаря которой всё, что переживает один деятель, как свое прояснение, существует не только для него, но и для других деятелей всего мира». Таким образом, гносеологическая координация оказывается частным, гносеологическим аспектом этой метафизической имманентности друг другу всех индивидуальных субстанций.

В. Зеньковский, критикуя Лосского, говорит, что интуитивизм хорошо объясняет достижение истины о предмете, но неспособен объяснить происхождение ошибок. Ибо, если все пред-

меты постигаются интуитивно, даже в том расширенном смысле, в каком Лосский употребляет слово «интуиция», то где же место иллюзиям, ошибочным умозаключениям, заблуждениям и т. п.? Нужно сказать, что первоначальная редакция интуитивизма, действительно, не давала ответа на этот вопрос. Однако, в своих позднейших трудах Лосский дал убедительный ответ: наше сознание всегда направлено на бытие, и абсолютные ошибки невозможны, как недостижима полнота истины. Но наше сознание может производить субъективный синтез из объективных данных. Иллюзии, например, обычно суть смеси действительного восприятия с воспоминаниями, фантазией и т. п. В ошибках, говорит далее Лосский, обычно содержится какая-то доля истины, преувеличенная и искаженная. Думается, что эти соображения решают в принципе вопрос о происхождении ошибок.

★

Учение Лосского и особенно его интуитивизм оказали влияние на нескольких русских мыслителей, и прежде всего на такого крупного философа, как С. Франк (что признавалось последним). Конечно, С. Франк был слишком самостоятельным мыслителем, чтобы можно было сводить его учение к разновидности лосскианства. Его метафизика и даже его гносеология существенно отличны от учения Лосского, имея, однако, общую с ним платформу.

В своей докторской диссертации «Предмет знания», признавая и принимая основной замысел интуитивизма Лосского, Франк указывает на то, что эта интуитивистическая гносеология остается без метафизического базиса. Имманентность предмета — субъекту, продемонстрированная Лосским, говорит он, должна найти свое высшее обоснование в самой структуре бытия. В своей книге Франк находит это высшее основание интуиции в «металогическом единстве» бытия, возвышающегося над противостоянием субъекта и объекта. Только на основе усмотрения того, что предмет и субъект включены во всеединое бытие — говорит далее Франк — можно дать не только гносеологическое, но и метафизическое обоснование интуиции.

«Предметное знание», направленное на мир объектов, говорит далее Франк, не постигает сущности вещей и всегда носит

опосредствованный характер. Подлинно-интуитивный характер носит лишь «живое знание», в котором наше сознание не только отражает бытие, но становится причастным бытию. Такое, «живое» знание не носит предметного характера, а характеризуется «слитием с бытием». Таким образом, Франк суживает понятие интуиции по сравнению с Лосским, ограничивая его областью «живого знания».

Мнение Франка о недостаточности одного гносеологического обоснования интуитивизма разделялось самим Лосским, который дал метафизическое обоснование интуиции в своей книге «Мир как органическое целое», появившейся тремя годами позднее «Предмета знания» Франка. Но это метафизическое обоснование интуитивизма у самого Лосского отличается от метафизики Франка. Лосский считает, что сфера сверхлогического (по терминологии Франка — «металогического»), возвышающаяся над логическими законами и над раздвоением на субъект и предмет, — относима лишь к Абсолютному, не вмещающемуся в плоскость мира. Франк же, по мнению Лосского, преждевременно переходит в металогическую сферу, поскольку он считает, что бытие в его целом — металогично. В духе же учения Лосского, противостояние субъекта — объекту, остается в силе в рамках мира, и отменяется лишь в Абсолютном.

Интуитивизм Лосского и, отчасти, учение Франка о Всеедином бытии, получили интересное развитие у преждевременно скончавшегося Д. Болдырева. В своей книге «Знание и бытие» (опубликованной посмертно) Д. Болдырев говорит, что понятие предмета — устарело, являясь пережитком прежнего, субстанциально-вещного понимания мира. Понятие предмета он заменяет понятием «вещи-образа», считая, что вещи существуют в своих многообразных перспективах («образах»). В отличие от предметов, «вещи-образы» — взаимопроницаемы. Факт распространения радиоволн по Вселенной Д. Болдырев истолковывает как физическое обнаружение того принципа «имманентности всего — всему», который положили в основу своих систем Лосский и, в иной формулировке, С. Франк. К сожалению, Д. Болдырев не успел развить свое интересное учение о «вездеприсутствии вещи-образа».

Автор этой статьи в своей докторской диссертации «Свобода, как условие возможности интуиции» пытался развить

учение Лосского в ином направлении: учением о том, что противостояние субъекта — предмету неотменимо, так как оно коренится в свободе, искони присущей субъекту. Наше «я» непоглотимо бытием именно в силу нашей свободы. Имманентность предмета — субъекту, осуществляющаяся в интуиции, не исключает, а требует наличия познавательной дистанции между субъектом и предметом. Слитие с предметом, которое имеет в виду Франк, означало бы утерю субъектом свободы. Это слитие осуществимо лишь в причастии Абсолютному, как источнику всякого бытия. Но всякое мировое бытие всегда дано в форме объекта. Бытие имманентно нашему сознанию, но трансцендентно нашему «я». В своей диссертации я проводил также мысль, что если бы высказываемые нами логические суждения были включены в цепь психической причинности, то мы не могли бы отличать правду от заблуждений — истинные и ложные суждения возникали бы в таком случае в нашем уме с одинаковой (причинной) необходимостью. Таким образом, познание истины осуществимо лишь на основе свободы духа.

Во всяком случае, хотя Лосский начал с гносеологии, — его основная интуиция (имманентность всего — всему) была чревата метафизическими предпосылками и выводами, и в своих последующих трудах он дал стройную систему метафизики.

★

В области метафизики Лосский в своей системе стремился достигнуть синтеза между монизмом и плюрализмом. Убеждение в единстве мира было основной его метафизической интуицией. Отсюда — склонность Лосского к Шеллингу и Гегелю. Шеллинг же оказал существенное влияние на Вл. Соловьева, влияние которого на себя признавал сам Лосский. С другой стороны, Лосский остро чувствовал индивидуальность субстанций, и обращение к Лейбницу было в этом отношении естественным. Но, поскольку Лейбниц был ассимилирован (через посредство Лотце) на русской почве А. Козловым, и поскольку Лосский хорошо знал Козлова в последние годы его жизни, — предположение об известном влиянии Козлова можно считать более, чем вероятным. Тем более, что Лосский принимает ту ревизию лейбницианства, которую произвел Козлов — утверждение взаимодействия субстанций, оставшихся герметически закупоренными у Лейбница.

Важно вдуматься в термин «субстанциальный деятель», которым Лосский характеризует «монады». Он избегает слова «субстанция», как наводящего мысль на ее неизменность и статичность. Современная наука утверждает, что мы имеем дело с процессами, а не с неизменными сущностями, которые лишь меняли бы свои состояния. Некоторые философы-позитивисты, например, Рассель, склонны поэтому вообще отрицать необходимость в понятии субстанции, считая это понятие пережитком догматического образа мышления. Чтобы сохранить, однако, ценное ядро понятия субстанции и подчеркнуть, в то же время, ее активность, Лосский и ввел термин «субстанциальный деятель».

Субстанциальные деятели, по Лосскому, сверхвременны и сверхпространственны, являясь, однако, источником своих действий, осуществляемых в пространстве и во времени. Субстанциальные деятели — не первичные реальности. Они были сотворены Богом. Но, в пределах мирового бытия, они являются глубинным слоем реальности, из которой черпает свое бытие всякая иная реальность. Субстанциальные деятели, хотя и сотворенные равными, в ходе своего развития достигли высшей или низшей степени самоосуществления. В бытии существует иерархия субстанциальных деятелей — от низших, проявлением которых является материя — до высших, достигших степени человечности или еще более высоких ступеней развития. Поэтому Лосский называет свою систему также «иерархическим персонализмом».

Мир, несмотря на наличие в нем противоборств и несовершенств, коренящихся в разъединительной силе эгоизма, присущей деятелям, образует всё же единое органическое целое. Всякое изменение в одной части мира неизбежно отражается в какой-то степени на всем мировом целом. В своей книге «Мир, как органическое целое» Лосский хорошо описывает и иллюстрирует примерами эту взаимосвязанность всех элементов в мире. Однако, эта взаимосвязанность не доходит до степени взаимослитности. Лосский отнюдь не пантеист. Он учит, что выше мира стоит сотворившее его начало — Абсолютное. В Абсолютном царит полная и совершенная гармония, оно, говоря религиозным языком, есть Бог и Его Царство. Наш мир отпал от Абсолютного (в силу эгоизма деятелей) и он является «пси-

хоматериальным царством вражды». (Сама материальность, по Лосскому, есть физическое следствие взаимоотталкивания субстанциальных деятелей). Тем не менее, без хотя бы минимальной степени единства, мир распался бы в хаос. Поскольку же даже и наш несовершенный мир является всё же Космосом, — в нем осуществлена довольно значительная степень органической целостности. В связи с этим, Лосский различает «отвлеченное единосущие» — формальное единство мира, от «конкретного единосущия» — совершенной взаимослитности всех элементов бытия, объединенных любовью. Это конкретное единосущие осуществлено полностью лишь в Царстве Божьем, но минимальная степень его существует и в нашем мире.

Субстанциальные деятели не обладают, по Лосскому, «готовыми» качествами — они сами творят свою природу. Говоря словами философа: — «Бог, творя их, наделяет их необходимыми для осмысленной жизнедеятельности свойствами, но он не придает им никакого эмпирического характера... из рук Божиих выходит лишь потенция личности, но еще не действительная личность». Из этих слов Лосского не вполне ясно, обладает ли сотворенный Им деятель особыми индивидуальными свойствами. Во всяком случае, по его учению, в ходе своего развития деятели вырабатывают определенные индивидуальные качества, отличающие их от других. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» замечает по этому поводу, что «перед нами фантастическая картина самотворения субстанциальных деятелей».

Однако, Лосский в этом вполне последователен, поскольку он отрицает внешнюю и даже внутреннюю детерминированность деятелей, его теория «почти-самотворения» является здесь логическим выводом. Нужно добавить, однако, что, по Лосскому, Бог вложил в душу каждого деятеля его «нормативную индивидуальную идею», следуя которой он может подниматься по лестнице развития и достигать совершенства. Эта «нормативная идея» не есть природа деятеля, которая его внутренне детерминировала бы, — но есть путеводная звезда, которой он волен следовать или не следовать.

Сам путь развития субстанциального деятеля — его восхождение от низших ступеней до высших, описывается Лосским так: — «Каждый субстанциальный деятель может разви-

ваться и подниматься на всё более высокие ступени бытия, отчасти творчески вырабатывая, отчасти подражательно усваивая всё более сложные типы жизни. Так, человеческое «я» есть деятель, который, может быть, биллионы лет назад вел жизнь протона, потом, объединив вокруг себя еще несколько электронов, усвоил тип жизни кислорода, затем, усложнивши еще более свое тело, поднялся до типа жизни, например, кристалла воды, далее перешел к жизни одноклеточного животного и — после ряда перевоплощений или, лучше выражаясь термином Лейбница, после ряда метаморфоз — стал человеческим «я».

Эта космическая эволюция невозможна без одушевляющего ее высшего начала. Владимир Соловьев, следуя этой линии мысли, развил учение о Мировой Душе, как посреднице между Богом и тварью. В своем идеальном аспекте, Мировая Душа, по Соловьеву, — является святой Софией, Премудростью Божией, — началом, соединяющим мир с Творцом. Лосский также следует этой линии мысли, внося в нее, однако, существенные поправки. Он полагает, что сам термин «Мировая Душа» может наводить на недоразумения, поскольку душа соотносительна с телом. Но дело тут не только в терминологии. Для того, чтобы объединять мир в единое целое, высшее движущее начало мира должно быть в каком-то смысле над миром, в то же время пребывая в нем. Лосский называет это высшее начало «царством Духа» (с этими оговорками принимая учение Вл. Соловьева о св. Софии).

Высшие субстанциальные деятели, освободившиеся от эгоизма, или, по крайней мере, добившиеся того, что объединяющие силы любви преобладают в них над разъединяющей силой эгоизма — образуют царство Духа. Хотя царство Духа не есть еще Абсолютное, члены этого царства причастны царству Божьему. В отличие от членов царства Духа, большинство субстанциальных деятелей предпочло путь эгоистического самоутверждения и вражды. Из соотношения царства Духа и «павших» субстанциальных деятелей слагается жизнь на земле. Говоря словами философа: — «Из сочетания деятельности самоутверждающихся особей и деятельности Духа получается система душевно-материального царства, поражающая своей двойственностью. Каждая особь этого царства стремится к единству ради эгоистической личной полноты жизни, а Мировая

Субстанция поддерживает единство мира и возрождение этих особей, возврат их к жизни Духа».

От мира с его двумя главными слоями — царства Духа и психоматериального царства вражды, нужно отличать Абсолютное, безусловно возвышающееся над миром и несоизмеримое с ним. Абсолютное есть начало не только сверхпространственное и сверхвременное, но и сверхсистемное, «металогическое», к которому неприменимы категории нашего мира, в том числе законы логики. Абсолютное может стать предметом мистической интуиции, которая есть познавательный аспект веры. Но интуиция эта невыразима в словах и понятиях, и может быть передана другим лишь в символах. Между Творцом и сотворенным миром (читай — субстанциальными деятелями), по Лосскому, разверзается онтологическая пропасть. В связи с этим важно привести истолкование Лосским догмата о творении мира Богом из ничего. В противоположность большинству религиозных философов, утверждавших, что Бог сотворил мир из самого себя (из своей «природы» — по Шеллингу и Булгакову), Лосский утверждает, что Богу не нужно было никакого материала ни вне, ни внутри Его для того, чтобы создать мир. В выражении «сотворил мир из ничего», это Ничто нельзя понимать как материал, говорит Лосский. Сотворение мира было сотворением абсолютно нового, никогда не бывшего, и в этом заключается мистерия абсолютного творчества. Конечно, под сотворением мира он имеет в виду создание субстанциальных деятелей, в их до-природном состоянии «на пороге бытия», — перед тем, как они вступили на путь космической эволюции.

Таким образом, между учением Лосского и учениями продолжателей соловьевской традиции существует большое различие в самом невралгическом пункте их систем — в вопросе об отношении между Богом и миром. В этом пункте учение Лосского стоит ближе к христианству, чем несколько пантеистические учения Флоренского и Булгакова.

Подводя итоги в аспекте нашей темы, можно сказать, что религиозная философия Лосского, в которой его учение находит свое завершение, занимает в русской философии некое среднее место между «софианцами» (Флоренским и Булгаковым), с одной сторона, — и учением Бердяева, с другой.

Бердяев явно абсолютизирует свободу, считая ее «несо-

творенной Богом». Учение Франка страдает недооценкой свободы и сил зла. Лосский, нам представляется, нашел золотой путь между этими крайностями. По его учению, Бог наделил субстанциальных деятелей «сверхкачественной творческой силой», — способность творить свою собственную природу. Это — близко учению Бердяева, хотя Бердяев более Лосского подчеркивал трагичность такой свободы. С другой стороны, Бердяев утверждает, что в бытии есть «прерывистости» и «разорванности», что само бытие есть следствие «объективации». В противоположность этому, Лосский, приняв струю соловьевского учения о Всеединстве, утверждает, что мир есть органическое целое даже несмотря на наличие в нем трагических противоборств. Нам представляется, что позиция Лосского в кардинальных вопросах религиозной метафизики более приемлема, чем учение Бердяева.

Во всей религиозной философии Лосского явственно слышится мотив отмежевания от пантеизма. Именно поэтому Лосский отверг позднейшую редакцию учения Соловьева, особенно в той ее форме, в которой она получила дальнейшее развитие у Флоренского и Булгакова: как учение о предвечном Божьем замысле о мире, содержащемся в самом Боге. Лосский считает, что подобная концепция ведет к релятивизации Абсолютного (пусть в утонченной форме). По его же учению, творение мира было абсолютно свободным актом, не вызванным никакой необходимостью, кроме воли Божией.

Мы более подробно остановились на религиозной философии Лосского, ибо в ней содержится конечный смысл его метафизического учения.

★

Ни в одной философской дисциплине влияние Соловьева на Лосского не сказалось столь ярко, как в этике. Книга Лосского «Условия абсолютного Добра» (написанная уже на склоне лет) несколько похожа по структуре на соловьевское «Оправдание Добра». Первая половина книги Лосского также посвящена критическому разбору релятивистических теорий этики, считающих добро и зло — относительными понятиями. Во второй же части Лосский намечает основы своей «тео-номной» (то-есть, основанной на религии) этики.

Это, разумеется, менее всего означает, что Лосский просто развивает или видоизменяет идеи Соловьева. Как и везде, в своей «этике» Лосский обнаруживает достаточно оригинальности. Говоря о влиянии Соловьева, мы имели в виду лишь известные — и довольно широкие — рамки общей соловьевской традиции, которую продолжает этическая система Лосского. Как и Соловьев, Лосский — против автономной этики, как, например, она была развита Кантом, хотя он отдает всё должное этическому пафосу Канта. Но есть важные пункты, в которых этика Лосского значительно отклоняется от этики Соловьева: прежде всего в трактовке мирового зла. По Соловьеву, зло есть скорее недостаток добра, чем положительная самостоятельная сила. Правда, под конец жизни, в «Трех разговорах», Соловьев наметил иную, более пессимистическую и трагическую концепцию зла, но он не успел выразить свое новое этическое мировоззрение в философских категориях. В противоположность этому, Лосский отнюдь не недооценивает трагической силы зла. По его учению, зло коренится не столько в слабости человеческой природы, сколько в злой воле, — направленной на разрушение и могущей доходить до степени сатанинскости. (Об этом у Лосского есть превосходный этюд — «О природе сатанинской»). Злая воля, по Лосскому, коренится в крайнем самоутверждении, которое может принимать саморазрушительные формы, если деятель отчаится в перспективах своего самоутверждения. Лосский считает, что пошедшие по пути зла, подпавшие под соблазн гордыни деятели вступают на путь «сатанинской эволюции», которая, однако, имеет свои имманентные пределы: разрушение предполагает предмет разрушения и так как крайнее самоутверждение обрекает, в конце концов, деятеля на одиночество и внутренний разлад, обнаруживая свою бесперспективность, то есть надежда, что пошедший по пути зла деятель, в конце концов, раскаится и обратится к Богу. В этом смысле Лосский с сочувствием приводит мысль Оригена о том, что и сам дьявол, в конце концов, оставит свою гордую мечту и возвратится к Богу.

В этике Лосского особенно интересны главы, где он говорит об абсолютности нравственной ответственности человека — не только за свои деяния и помыслы, но и за их объективные последствия. Этот моральный ригоризм умеряется, однако, при-

знанием главенства религиозного Добра (благодати) над этикой закона. Этика Лосского — достойное завершение его философской системы.

★

Автору этой статьи думается, что среди русских философов двадцатого века Лосскому принадлежит первое место. Говоря так, мы отнюдь не закрываем глаза ни на трудности и, отчасти, неуместности сравнений, ни на то, что некоторые историки философии отдают предпочтение Франку (Зеньковский) или О. Павлу Флоренскому (Яковенко). Нет сомнения в том, что Франк — единственный русский философ, которому, кроме Лосского, удалось создать глубокую, метафизически и логически выдержанную систему. Но если Франк превосходит Лосского иногда глубиной мысли, своей погруженностью в предмет его философского внимания, то в смысле продуманности и «слаженности» системы, у Лосского в русской мысли нет соперников. О. Павел Флоренский написал гениальную местами книгу «Столп и утверждение Истины», и наметил в высшей степени глубокую и оригинальную систему «антиномического моно-дуализма» (учение об истине, как антиномии). Но, пусть в силу внешних обстоятельств — он не развил с достаточной полнотой и ясностью свою систему. О. Сергий Булгаков — также мыслитель необычайной силы и глубины, движется преимущественно в стихии религиозной метафизики. Бердяев, нашедший столь большой отклик и признание на Западе, и возвышающийся иногда до гениальности, не был слишком озабочен проблемами гносеологии. Сила Бердяева — в огненности его мысли и в его этическом пафосе. Но он сознательно не строил метафизической системы. По всем этим соображениям, признание Лосского первым русским мыслителем, думается мне, более, чем заслужено.

Нужно заметить, что историки русской философии были не слишком благосклонны к Лосскому. Б. Яковенко, хотя и отдает в своей чешской «Истории русской философии» (1938) Лосскому больше должного, чем в своих «Очерках», всё же считает его эклектиком. В. Зеньковский признает Лосского «ведущим», мыслителем, «остроумным и находчивым» в своих гипотезах, но отдает пальму первенства Франку и, отчасти,

С. Булгакову. Он даже поместил Лосского, правда, с оговорками, в главу «русские лейбницианцы».

Конечно, из столкновения мнений рождается истина. Но мне кажется, что к Лосскому более, чем к кому-либо другому из русских мыслителей, применим эпитет «классический».

Сергей Левицкий

СЛУЧЕВСКИЙ

Кн. Д. С. Святополк-Мирский в своей английской «Истории русской литературы» замечает, что приблизительно с 1830 г. по 1850 г. в России не рождались выдающиеся поэты, и с этим нельзя не согласиться. Всё это двадцатилетие было для русской поэзии эпохой неурожайной. Лирики Апухтин (1840), Голенищев-Кутузов (1848) или Садовников, автор «Стеньки Разина» (1843), а также и сатирики Курочкин (1831), Минаев (1835) были поэты незначительные. Слабой «урожайностью» отмечены и 50-ые гг. Правда, в 1853 г. родился Владимир Соловьев, а в 1856 г. Иннокентий Анненский.

Константин Николаевич Случевский родился в 1837 г. — он самый талантливый поэт этого обреченного на неудачу поколения, но и ему не удалось в поэзии развернуться, как и Апухтину, поэту в свое время более известному, но менее одаренному. Поэзия Случевского — «вещая горбунья» (Г. Мейер). А для Мирского он поэт-заика с гениальными способностями...

Характерно, что в 50-х гг. Тургенев перестает писать стихи и обращается к прозе: практическое чутье подсказало ему, что теперь со стихами далеко не уедешь. От этого русская проза выиграла, а поэзия не так уж много потеряла! «Дух времени» тогда от поэтов отвернулся! В 60-х гг. публика почти перестала читать стихи даже Тютчева или Фета. Читатели забыли и своих недавних любимцев — Бенедиктова и Клюшникова. Правда, допускалась гражданская поэзия, молодежь обожала Некрасова: он был, несомненно, поэтом выдающимся, но ценили его в то время не как поэта-мастера, а как поэта-гражданина; и он сам провозгласил: «Поэтом можешь ты не быть,/Но гражданином быть обязан».

Вообще, от 50-х гг. вплоть до 90-х, не было для русской поэзии той атмосферы наибольшего благоприятствования, ко-

торая создалась в 18-м веке и начала испаряться еще при жизни Пушкина.

Молодость Случевского — это конец 50-х и начало 60-х гг. Именно тогда появились нигилисты: и некоторые из них иногда отрицали даже Некрасова. В то время наука, социология, политика вытесняли не только поэзию, но и всё вообще искусство. Влиятельные вожди нигилистов — Чернышевский, Добролюбов, Писарев были критиками контрабандистами: в своих критических статьях они под видом обсуждения романов, занимались революционной пропагандой, и, таким образом, им удавалось обманывать наивную цензуру царского правительства. Все же первые стихотворные опыты Случевского были замечены: не читателями, а писателями. Аполлон Григорьев, а также и Тургенев, сравнивали его с Лермонтовым, и несколько его стихотворений были помещены в некрасовском «Современнике».

А. Григорьев был в восторге от этой строфы молодого поэта:

Ходит ветер избочась
По Неве широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой...

Этот ветер — будто сказочный добр-молодец: руки в боки, ферт! Образ — смелый, задорный, веселый, и есть энергия в этих ладных хореях и ярких прозаизмах (избочась, кривобокая баба). Ничего лермонтовского здесь нет. Так еще никто не писал. Может быть А. Григорьеву почудилось в этой строфе проповедываемая им **почвенность** — «органическая» стихийная сила этого ветра-парня! Но едва ли он усмотрел в этом стихотворении одну только «идеологию». Поэзию А. Григорьев чувствовал нутром и сам написал несколько прекрасных стихотворений на цыганские мотивы. Но после этой ложки григорьевского меду, на молодого Случевского выливался только деготь. Так, его выругал в «Искре» сатирик Курочкин: «ветер, стелющий калачи кривобокой бабы покажется им (читателям) простой бессмыслицей...». А Добролюбов написал пародию на его стихотворение «Мои желания».

Список желаний в этом стихотворении очень длинный: это

— женщина с косой до колен, это — путешествия по Азии и Европе, это — слияние с народом; и, наконец, юный Случевский хочет

> Всем насладиться душою, и злом и добром человека,
> Светлым твореньем искусства, и даже самим
> преступленьем.

Но отклика не было. Критики начали его замалчивать или же вяло поругивали. Надсон написал о сборнике его стихотворений: Случевский «и в отношении формы, и в отношении содержания регрессировал с каждой написанной им строфой» (1883 г.). Только к концу жизни его оценили, но и тогда настоящего признания не было.

Вл. Соловьев посвятил Случевскому несколько стихотворений, а в критической статье он отмечает оригинальность его поэзии: для лирики Случевского характерен «импрессионизм мысли», «автор рефлектирует в самом своем творчестве, но не проверяет его результатов дальнейшею критической рефлексией». Далее Соловьев ловит Случевского на противоречиях. Но у поэтов бывает другая, не философская, логика, которой может быть «грешил» иногда и сам Соловьев, но не в прозе, а в поэзии. Случевский о последовательности изложения не заботился, а стремился передать в мыслях и чувствах «неуловимое» (это заглавие одного из самых импрессионистических его стихотворений). Всё же Соловьев был к Случевскому милостив: это поэт настоящий, пишет он, «один из немногих еще остающихся достойных представителей 'серебряного века' русской лирики» (1897 г.). Повидимому, «серебряным веком» он называет всю после-пушкинскую поэзию второй половины 19-го века, эпоху позднего Тютчева, а также Фета, Полонского, Майкова. Как известно, теперь это наименование присвоено предреволюционной эпохе — от начала 90-х гг. до 1917 г. Многие поэты этой эпохи испытали влияние и Тютчева, и Фета, а может быть и Случевского. Одно несомненно, некоторые символисты им заинтересовались, например, Бальмонт и, в особенности, Брюсов, посвятивший ему замечательную статью-некролог «Поэт противоречий» (1904 г.). В противоположность Соловьеву он не только осуждает, но даже хвалит Случевского за

непоследовательность изложения. Противоречия были тогда в моде, и их называли антиномиями: это Христос и Антихрист у Мережковского, Дионис и Христос у В. Иванова, Бог и дьявол у Сологуба. Брюсов укоряет Случевского за другое: он всю жизнь защищал мечту, чистое искусство, но сознания своей правоты у него не было: он «прежде всего не мог убедить самого себя», пишет Брюсов. Замечание это очень верное. Подобно герою своей поэмы «Бывшему князю», Случевский в юности начитался Прудона, Либиха, Жирардена, Геккеля, а также Дарвина: он не только жертва нигилистов 60-х гг.; он, вероятно, и сам был отчасти нигилистом. Потом он не раз сжигал то, чему поклонялся, писал статьи против нигилистического отношения к искусству, но, может быть, в душе его еще продолжали жить «идолы» его молодости. Отсюда — противоречия, которые отразились в его писаниях, но он явно не умел их заострять — драматизировать.

В поэме Случевского «Элоа» Сатана издевается над Богом: зачем вообще родились младенцы, которых не могли выкормить истощенные матери; они все рано умерли, а теперь будто бы поют хвалу Богу! Это тема Ивана Карамазова, который почтительнейше возвратил свой билет жестокому Творцу, допустившему страдания и смерть безвинно умученных детей. Но там — где у Достоевского — смелый вызов, у Случевского — многословная рифмованная проза. Противоречия не преступление, но их нужно четко выражать. Это и делали Достоевский в прозе, Тютчев и Боратынский в поэзии. А у Случевского в его философических писаниях нет четкости, нет и страсти, которая одушевляла каждого героя — идею Достоевского и поэзию мысли Боратынского и Тютчева.

В предисловии к советскому изданию Случевского литературовед Федоров говорит о его богоборчестве, но С. К. Маковский находит у него «религиозное приятие мира», а Г. Мейер светлые догадки о всесовершенной цельности. Они по-своему правы: есть у Случевского мефистофелевское, карамазовское отрицание, есть бунт, но есть и примиренность с Богом и миром. Существеннее другое: нет стиля в таких его философских поэмах, как «Элоа» — они напоминают дурной перевод второй части «Фауста» или скучные «Два мира» Майкова; это всё слабые поздне-романтические рассуждения викторианской эпохи.

К тому же, Случевский, доктор философии гейдельбергского университета, оригинальным философом не был. Интереснее его философическая повесть «Профессор бессмертия». Главный герой — Абатулов стремится доказать логически необходимость человеческого бессмертия. Основываясь на Дарвине и на законе уравновешения температуры (энтропии), он говорит о бессмертных душах... Но веру, молитву, церковь Абатулов отвергает. Мысли «профессора бессмертия» чем-то напоминают учение Федорова, который тоже стремился доказать возможность бессмертия логически и научно, но, в противоположность Абатулову, также и этически. Он утверждал, что это наш долг воскресить всех умерших. Известно, что Федорова очень ценили Толстой, Достоевский и Вл. Соловьев, но нет данных о влиянии его на Случевского.

Но вернемся к Абатулову. После несчастья — гибели жены, он отказывается от своего учения и кланяется священнику в ноги. Этот мотив самоосуждения гордого и самонадеянного разума звучит и в поэме «Бывший князь»: и здесь Случевский близок не к Федорову, а к Достоевскому с его призывом «смирись, гордый человек». «Бывший князь» — революционер; ему удалось скрыться заграницу с подложным паспортом. Странствуя по Германии, он заходит в старый замок: там говорят на каком-то непонятном языке. В ближайшей от замка таверне он встречает странного старика, который говорит ему, что революционеры скоро начнут рубить головы, как это и прежде делалось, при старом режиме. Он советует своему русскому собеседнику сесть на землю в России: «Ходить за плугом, на косьбе, / В деревне! Там вы царь себе...». Оказалось, старик этот свергнутый португальский король Дон-Мигель (1802-1866), давно уже поселившийся в Германии. Бывший князь следует совету мудрого старика, покупает хутор на Донце и живет счастливо. Это очень характерный для Случевского прыжок фантазии: проповедь народничества из уст Мигеля Браганцского! Как и в «Профессоре бессмертия» здесь доказывается, что разум до добра не доводит. Можно было бы подробнее анализировать все причудливые сочетания в идеях Случевского: всю эту философскую смесь из Фауста, Карамазовых, дарвинизма, энтропии, народничества или мистического символизма («неуловимых» связей между предметами и событиями).

Но Случевский полностью проявил себя не в философских стихах, а в лирических и декадентских.

Люблю я кладбища... говорит герой его повести «Мой дядя». Этой странной любовью Случевский был одержим всю свою жизнь. В одном из его ранних стихотворений поэт лежит на гробовой плите и вдруг слышит подземную возню и призыв мертвеца, которому захотелось погулять — подышать весенним воздухом. Покойник умоляет поэта: Ты не ляжешь ли, голубчик за меня? Вот какие мысли приходили тогда двадцатилетнему офицеру Семеновского гвардейского полка Случевскому.

Выписываю стихотворение «Невеста», написанное в начале 70-х гг.:

В пышном гробе меня разукрасили, —
А уж я ли красой не цвела?
Восковыми свечами обставили —
Я и так бесконечно светла!
Медью темной глаза придавили мне, —
Чтобы глянуть они не могли;
Чтобы сердце мое не забилося,
Образочком его нагнели!
Чтоб случайно чего не сказала я,
Краткий срок положили три дня!
И цветами могилу засыпали,
И цветы придушили меня...

Лет через 30-35 это стихотворение могло бы появиться в журналах «Весы» или «Золотое Руно», за подписью Брюсова или Сологуба. Но в 70-х гг. это был только странный курьез, вызывающий досаду. Здесь слышится жалость, но есть и другое — завороженность мертвой красотой.

Есть декадентская двусмысленность и в другом стихотворении:

В костюме светлом Коломбины
Лежала мертвая она,
Прикрыта вскользь до половины
Тяжелой завесью окна...

Разные крайности декаданса привлекали Случевского, например, садизм и мазохизм. Садист — это «Мемфиский жрец»:

он не дождался жрицы, которой приказал явиться к нему ночью. Она не пришла, и он отомстил ей пыткой и сожжением на костре. Это стихотворение имело большой успех в кругах символистов.

Но я признал, блестя в короне,
С жезлом в руке,
Свой приговор в ее поклоне,
В моей тоске.

Есть четкость в этих стихах, запертых мужскими (лермонтовскими) рифмами, и есть задыхание в коротких двухстопных ямбах, сменяющих четырехстопные. В моей тоске... Я изнывал... Ты не была... Ее обрек... Ее костер...

Другие мотивы, мазохизма, звучат в потрясающем стихотворении «После казни в Женеве». Советский редактор Случевского, Федоров, сравнивает эти стихи с описанием казни Ришара (тоже в Женеве), в рассказе Ивана Карамазова. Но существеннее не сходство, а различие. У Достоевского страстная защита человека от лже-религии, от ханжества палачей. А Случевский, отождествляя себя с казнимым, упивается сладострастием страдания. Выписываю последние три строфы:

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все...
И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!
Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дергала меня,
«Коль славен наш Господь» тоскливо напевала,
И я вторил ей, жалобно звеня.

Гимн «Коль славен» звучит здесь, как кощунственная похвала Богу. А в ранней редакции старуха напевала пушкинские стихи «В крови горит огонь желанья» (она воспылала страстью к своей жертве...). И в обоих вариантах тоже упоение нечелове-

ческими муками. Во всей европейской поэзии декаданса едва ли можно было бы найти такой странный и страшный образ!

Да, есть садизм в «Мемфиском жреце» и мазохизм в женевской казни. Но всё же диагноз этот очень уж поверхностный. **Ситуацию поэтическую нельзя подменять ситуацией психологической.** Я хотел бы дать другое объяснение — экзистенциальное. Случевскому-поэту нечего было делать, нечем было дышать в современном ему мире нигилистов, революционеров или же в бюрократической среде, к которой он принадлежал. Он мог увлекаться Дарвиным или народничеством, проповедуемым португальским королем... Его волновали неразрешимые проблемы доктора Фауста или Ивана Карамазова. Но, как мог бы сказать Блок, — в философии, как и в быту, он не слышал музыки, — здесь его мало что вдохновляло; и вот он уходит на тихое таинственное кладбище или же фантазирует, даже бредит; кого-то пытает или сам подвергается пытке. В смерти, в разных ужасах для него было больше жизни, чем в интеллигентских кружках или в великосветских гостиных. А на языке экзистенциальной философии можно было бы сказать: в садизме, мазохизме он находил больше настоящего **бытия,** чем в инерции **бывания,** в монтонии быта. Это роднит его с Бодлером, который скучал в «порядочном обществе» и оживал в парижских трущобах. Кстати — Случевский хотя и был очень начитан, но, повидимому, не знал Бодлера, Верлена, и об этом можно пожалеть. Знакомство с ними могло бы его ободрить и вдохновить.

В описаниях смерти у Случевского есть декадентский гротеск: «Вон дроги несутся дорогой большой. / На гробе сидит обезьяна...» — «Спят надушенные маркизы, / Порой хихикая сквозь сон». Или: «По лику мертвого царя / Гуляют кистью богомазы, / И сурик на щеках горит, / Румянит крупные алмазы». Но есть в его «кладбищенской поэзии» и другое — особенная, мрачная праздничность, которой он всегда отдает предпочтение перед серыми буднями. Вот длинная поэма о петербургском чиновнике Петре Павлыче Зубкове («Ларчик»). Бытовые сцены и трехстопные дактили напоминают «реалистические» поэмы Некрасова. Но мотивы, тенденции — не некрасовские. Зубков долгие годы «сиднем-сидел» в канцелярии министра Канкрина. Наконец, выслужил пенсию, обзавелся доми-

ком на петербургской стороне, где и поселился с любимой женой. Но жена умерла и вот, роясь в ее бумагах, Зубков узнает, что она ему изменяла: у ней был сын от другого, и она отдала его в Воспитательный Дом. Петр Павлыч подавлен, но вдруг его осеняет счастливая мысль: «Сына сыскать!» Пусть ребенок — чужой, но он его найдет и воспитает, как родного. Жизнь опять осмыслится. Из этого материала Некрасов сделал бы сатиру с элементами мелодрамы. Но у Случевского другой замысел. Он придумывает ларчик, который жена приказала положить в ногах гроба. Там, вероятно, хранится квитанция Воспитательного Дома. В полубреду он слышит тиканье часов: и это ему подсказывает новую мысль — пусть архиерей и не разрешил раскопать могилу, но ведь это можно сделать самому! С этого момента ничем непримечательный чиновник становится героем Случевского. Ночью, на кладбище —

Гробокопатель с лопатою слился,
Точно все нервы в лопату прошли,
Цепкою мыслью в железо внедрился.
Видел железом в потемках земли!

Это экзистенциальная великая ночь Петра Павлыча; и такие кладбищенские сцены Случевский умел описывать. Будничное бывание сменяется бытием: Зубков видит уже не входящие-исходящие бумаги, даже не те роковые письма жены, он видит «железом в потемках земли». Теперь — он героичен, гениален... Однако, Петр Павлыч ничего в раскопанной могиле не находит: ни гроба, ни ларчика... и утром пробирается он на свою дачу. Там его ждет верная кухарка Пелагея:

И с кулебякою, и с самоваром...
Да, было дело, но ночь унесла.

Уже ничего замечательного в его жизни не произойдет — он совершил одно только «дело», вдохновившее Случевского!

Другой источник вдохновения Случевского — сны, бреды, причудливые фантазии. В «Грамматической сказке» 11-летнему гимназисту снятся части речи: мальчики и девочки в голубых камзольчиках — это местоимения, в красных — наречия. Появляются и яркожелтые междометия.

Мурманскому рыбаку почудилось странное существо: «Имя ему Безы́мень...», и описанию оно не поддается. В другом рассказе барин курит сигару, и из сигарного дыма появляется Дымный человек, проповедующий «не лги» и «всегда лги»! В утопическом царстве веселых улыбок живет «Господин Может Быть»; он проповедует: всё возможно и, поэтому, всё заслуживает прощения! Кажется, другого такого выдумщика в русской литературе не было! Он превзошел Гоголя с его «Носом», и Белого, Ремизова... Все эти бредни, безы́мени, как и покойники, кладбища, уводят Случевского из мертвого быта, из той жизни, в которой он ничего живого не находил. Это романтическое бегство из будничного мира, но без романтических чаяний, обещаний.

Самое потрясающее из всех бредовых видений Случевского описано в поэме «В снегах». Главная героиня — Прасковья согрешила с родным братом. Вообще разные отклонения от нормы Случевского интересовали. Так, в романе «Застрельщики» описана «уральская лесбиянка». Между тем, вся русская литература прошлого века таких тем избегала. Но в «серебряном веке» странности любви вошли в моду.

Жизнь Прасковьи — пестрая: была она белошвейкой в Москве и там баловалась с барчуками. Позднее странствовала по монастырям, отмаливала грех кровосмешения. Будто бы побывала она и на Афоне, куда, как известно, женщины не допускаются, но таких погрешностей у Случевского немало. Еще Вл. Соловьев укорял его за упоминание о костелах в Александрии 5-го века. Случевский был писатель очень образованный, но рассеянный: он, конечно, знал, что на Афоне женщин нет, и что полонизм «костел» неуместен при описании средневековой Александрии. Но его стихия — иррациональная, фантастическая. Это не только извиняет, но и оправдывает его погрешности. Наконец, старая Прасковья, полумертвая от усталости, добирается до хижины мордвина-отшельника...

Постники-схимники в черных скуфьях,
Ножки танцовщицы в алых туфлях,
Говор в кулисах, пиры до утра,
Память деревни, разливов Хопра,
Грубые шутки галунных лакеев,

Благословения архиереев,
Ладан, пачули, Афон и кулисы,
Вкус просфоры и румяна актрисы —
Всё это как-то, во что-то слагалось,
Стало старухой, и то, что осталось,
Силой незримой в тайгу притащилось
И, обгорев на морозе, свалилось
В ноги к мордвину, вперед головой,
Старою льдиной на снег молодой!

Это молниеносная «экзистенциальная» биография, весь пестрый «букет» жизни Прасковьи: в этих резко-контрастных «стальных» стихах она на самом деле живет, а не только влачит существование, и Случевский с явным одушевлением описывает яркое бытие этой видавшей виды старухи.

О стиле, о стихотворной технике Случевский не очень заботился. Но в свои лучшие «экзистенциальные» минуты он достигал необыкновенной выразительности, становился мастером. Так, в этом отрывке, посвященном старухе-страннице, длинный «каталог воспоминаний» оживлен резкими контрастами (в черных туфлях — в красных туфлях), и монотония дактиля умело нарушена пропуском двух ударений (Благословения архиереев).

Критик 90-х гг. К. Медведский упрекал Случевского за пользование оборотами прозаическими. А советский ученый Федоров, наоборот, одобряет его прозаизмы, которые вводятся им не для снижения, а для опрощения высокой тематики: «этим самым подчеркивается, что Случевский рассуждает не как философ, не как певец, а как обыкновенный человек» (Да, бесконечности одной **не по нутру...**). Но это не всегда ему удавалось, и не в такой степени, как Анненскому, который усиливал и обострял трагическую ситуацию не только прозаизмами, но и выражениями вульгарными (курнуть), даже жаргонными (тубо́).

Уже не раз отмечалось, что у Случевского встречаются неправильные ударения. Он также злоупотреблял глагольными рифмами. «На волжской ватаге» всего 70 стихов: из них 36 имеют глагольные рифмы. Но встречаются у него и рифмы смелые, неожиданные, напр., букою-баюкаю, а сочетание «пург-

Гугенбург» предвосхищают рифму Зинаиды Гиппиус «пург-Петербург» (в известном ее стихотворении, посвященном Петербургу).

У Случевского немало стихов неудачных. В строке: Я яд дурмана напущу... три погрешности: столкновение двух «я» (я яд), и двух «д» (яд дурмана), и это затрудняет чтение: наконец, дурман всегда ядовитый, и незачем было об этом упоминать. Но не всегда ведь Случевский, по выражению Брюсова, писал «как-то по-детски, каракулями». К тому же, поэтов нужно судить по лучшему, что они создали. Я бы включил 10-12 его стихотворений в идеальную и увесистую антологию русской поэзии!

Не прозаизмы, а особенная сгущенность и эллиптичность некоторых стихов Случевского напоминает технику Анненского:

Я доигрался! Я — дома!
Скромен, спокоен и прав, —
Нож и пилу анатома
С ветвью оливы связав!

Это значит: всё проиграно! «Я — ошибка жизни», признается он в другом стихотворении. Но он и **прав,** — выйдя в отставку, и поселившись в прелестном принаровском имении «Уголок» (это стихотворение входит в цикл «Песен из Уголка»). Наконец, его критика общества, его анализ души были режущими, анатомически-беспощадными... Однако, обличая пороки, скуку, он никого не осуждал (это его «ветвь оливы»). Но и без всякой расшифровки эта прерывистая строфа задевает, колется, как все лучшие стихи Анненского.

Многие образы Случевского — очень неожиданные, но и убедительные, напр., этот давящий зимний пейзаж:

Полдень декабрьский! Природа застыла;
Грузного неба тяжелую высь
Будто надолго свинец и чернила
Всюду окрасить любовно взялись.

Зимнее **грузное** небо и тяжелая высь напоминают Анненского:

Эта резанность линий,
Этот грузный полет...

А ласково-изводящая «Богиня Тоски» Случевского, несомненно, сродни «Моей тоске» Анненского.

Вот темы и Случевского, и Анненского: безверие, одиночество, отчаяние, жалость и особенная красота — мучительная, страшная, иногда даже (вопреки логике) безобразная, как искривленные кактусы (по выражению Брюсова). Но Анненскому было легче жить и творить, чем Случевскому, предтече всех «модернистов»: он был на 19 лет моложе своего старшего «собрата», он вдохновлялся родственными мотивами русского и французского декаданса, его мастерство крепче и тоньше. Между тем, Случевский лучшие свои годы прожил в пустыне нигилизма и реакции и, как было уже сказано, повидимому, ничего не знал о близких ему по духу «проклятых поэтах» во Франции, а признание его русскими «модернистами» было неполное и очень уж запоздалое. Но таланта было у него не меньше, чем у Анненского. Всё еще звучат его «стальные» стихи о ветре, который ходит избочась по Неве широкой, всё еще раздается душераздирающее пиликанье стихов о женевской казни, да и многое другое.

Случевский — несомненно, пессимист. Но в поэзии, в искусстве всё иначе, чем в жизни. Сколько силы, страсти и сколько призывного звона в его лучших «пессимистических» стихах! Смысл, слова́ — безнадежные, но сочетания слов, подбор звуков пробуждают от будничной, мертвой спячки, в которую, как ему казалось, были погружены ненавистные ему радикалы, реакционеры и обыватели разного звания! Есть «оптимизм» в его творческом усилии, в том, что ему хотелось петь, хотелось ворожить в искусстве, и это ему иногда удавалось, как и другим поэтам «пессимистического» направления, напр., Анненскому.

Есть проблески надежды у Случевского, и не только в его философических и не всегда удачных стихах, но и в его лирической поэзии, более выразительной и убедительной. Его герой — не верит, но верить хочет, он прислушивается к верующим и к тому, что сказано в Св. Писании:

Выложен гроб лоскутками
Тряпочек, пестрых платков;
В церковь он на пол поставлен, —
В крае обычай таков.
В гробе ютится старушка,
Голову чуть наклоня,
Лик восковой освещают
Поздние проблески дня.
Колокол тихо ударил,
Гроб провожает село..
Пенье... знать, кокон дубовый
На зиму сносят в дупло.
Всякий идущий за гробом
Молча лелеет мечту —
Сказано: встанет старушка
Вся и в огнях, и в свету!

Всё же тоска и отчаяние его более одушевляли и вдохновляли, чем все надежды.

Проза Случевского незаслуженно забыта, хотя здесь у него куда меньше удач, чем в поэзии. Уральский роман «Застрельщики» написан лучше, чем романы Мамина-Сибиряка на ту же тему. Но роман из жизни великосветских негодяев хуже соответствующих романов Писемского и Маркевича. В рассказе «Тишина», пришибленный, но и бунтующий учитель напоминает героя Достоевского. Может быть, лучший его роман «Мой дядя»: эта повесть написана в тургеневских тонах, но все кладбищенские сцены и мотивы — оригинальные, «случевские». Рассказы на евангельские темы, по-моему, неудачны. Хорошо сделаны исторические миниатюры, напр., «Исчезнувший сверток» (о Разумовском), «Боров» (казнь свиньи-убийцы при Филиппе Красивом), «Художественные убийства», совершенные в Неаполе живописцем Рибейра. Позднее этот жанр культивировали Кузмин и Ауслендер. Но оригинальнее всего фантастические рассказы, о которых я уже говорил. Интересен очерк «Слова на улице», состоящий из обрывков разговоров: французские фразы дам и франтов сменяются отборной руганью «простого народа». Нищий просит: Барин, дай на хлеб... и тут же кто-то волнуется. Купоны не были отрезаны... и все эти

голоса сливаются в одну петербургско-вавилонскую какофонию!

В последние годы как будто пробудился интерес к Случевскому: очень обстоятельно написано длинное введение А. Федорова к советскому изданию Случевского (1962). Чрезвычайно интересны комментарии Д. И. Чижевского к этой книге («Новый Журнал», 74, 1963). Покойный С. К. Маковский дал интересную статью «К. Случевский — предтеча символизма» («Нов. Журн.», 59, 1960) и набросал яркий портрет Случевского («На Парнасе серебряного века», 1962). Оригинальную интерпретацию философии Случевского находим в очерке Г. Мейера («Возрождение», 1955). Но лучшее, что о нем до сих пор написано, это короткий некролог Брюсова (1904), кое в чем спорный, но в целом очень проницательный.

Случевский — поэт кладбищ и похорон, кошмаров и фантасмагорий; и, вместе с тем, поэт очень страстный, «темпераментный». Не его вина, что родившись в неблагоприятное для поэзии время, он не смог полностью проявить свое замечательное дарование и, отталкиваясь от современного ему мира, находил жизнь не в жизни, а в смерти: да, смерть его постоянно вдохновляла и странным образом оживляла.

Можно сомневаться в «эпохальности» Случевского в наше время: мы еще слишком хорошо помним недавние апокалиптические ужасы, и живем в ожидании новой, невообразимой катастрофы; именно поэтому мы, может быть, отвернемся от той пляски смерти, которая взвинчивала многих поэтов, писавших в сравнительно мирные десятилетия прошлого века. Всё же несомненно, что Случевский обогатил русскую поэзию теми лучшими из своих стихов, которые Аполлон Григорьев называл «стальными»: в них часто прославляется смерть, но выковывал их страстный жизнелюб.

Юрий Иваск

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО М. ГОРЬКОГО

М. Горький
Berlin, Kurfuerstendam, 203.
10.VI.22.

Сударыня!

Мне сообщили, что в Америке существует мнение, будто голод в России уже утратил свой грозный характер и что работа организации мистера Гувера вполне достаточна для спасения миллионов русских крестьян, осужденных голодом на смерть.

Разрешите мне сказать несколько слов по этому поводу.

Я думаю, что работа организации Гувера по широте ее — явление небывалое в истории. Никогда еще и ни одна страна в мире не приходила на помощь другой стране так великодушно, с таким обилием сил и средств. Люди Гувера — действительно мужественные люди; я не преувеличу, назвав их героями. Америка вправе гордиться детями своими, которые так прекрасно и бесстрашно работают на огромном поле смерти, в атмосфере эпидемии, одичания и людоедства.

Эта работа, кроме своей прямой задачи — спасения миллионов людей от голодной смерти, — имеет еще другое, на мой взгляд — более важное значение: она возрождает в русском народе убитое войною чувство человечности, воскрешает уничтоженную мечту о возможности братства народов, реализует идею совместного, дружеского труда нации.

Европейская война — а за нею интервенция и война

Оригинал этого неопубликованного письма Максима Горького любезно предоставил нам известный американский журналист И. Д. Левин из своего архива. Об этом письме он упоминает в своей недавно вышедшей книге «I Rediscover Russia». РЕД.

гражданская с ее ужасами, — ожесточила сердце русского народа. Особенно глубоко-вредное влияние имела интервенция: — несмотря на свою умственную темноту мужик понял, что иностранцы не хотят видеть его свободным, желают восстановить в России старый режим. Мужика убеждали в этом и факты, и речи, и озера крови и разрушение его жилищ. Вполне понятно, что у него явилось отрицательное отношение к иностранцу, — кто бы он не был — он хочет сделать русский народ рабочим скотом помещиков, чиновников и купцов.

И вот, — в страшные дни гибели от голода, в дни полной беспомощности, эти враги иностранцы являются спасителями жизни миллионов детей, бескорыстно и бесстрашно работают и работою своей разрушают в русском народе накипевшее чувство вражды и ненависти.

Вы, конечно, понимаете как это важно, какие прекрасные результаты может дать работа организации Гувера. Со временем мы всё-таки будем жить и работать все как друзья и братья, — слава тем, кто приближает этот необходимый для нашего счастья момент!

Возвращаюсь к основной теме моего письма.

Голод — не уменьшается. Организация Гувера, самоотверженно работая на Волге, не может, конечно, обнять размеры несчастия в других областях огромной России. На берегах Черного моря — в Одессе, в Крыму — беспомощно погибают тоже миллионы людей. Вымирают немцы, колонисты юга, люди культурные, прекрасные работники. Вымирают евреи, — дрожжи, необходимые для тяжелой России. Погибают трудолюбивые, честные татары и, разумеется, больше всего русские, — особенно — дети.

Голод значительнее и грознее всего что говорят и пишут о нем. Сотни тысяч десятин посева уничтожаются саранчей. Саранчу — едят и — болеют от этого. Едят корни, траву, листья, это возбуждает эпидемические заболевания, грозит холерой. Я не могу дать цифру смертности, потому что сомневаюсь в точности подсчета умерших. Письма, которые я получаю отовсюду, рисуют положение ужасным. Везде истощенные зимним голодом люди с жадностью набросились на растительность весны и — Вам ясно, что следует за этим.

Позвольте также обратить Ваше внимание и в сторону

русской интеллигенции, главным образом — русских ученых. Всё это — люди зрелого возраста или старцы, истощенные годами недоедания, героической работой своей в условиях холода и голода. Это — лучший мозг страны, творцы русской науки и культуры, люди необходимые России более, чем всякой другой стране. Без них — нельзя жить, как нельзя жить без души. Эти люди — мировая, общечеловеческая ценность.

Их во всей России только 9000, — ничтожная цифра для такой огромной страны и для культурной работы, необходимой русским. Эти 9000 ценнейших людей постепенно вымирают, не успевая создать заместителей себе.

Думаю, — сказанного достаточно для того, чтоб возбудить энергию друзей русского народа, людей желающих помочь России пережить проклятый год.

10.VII.22. Свидетельствую Вам мое уважение, М. Горький
Berlin.

БИБЛИОГРАФИЯ

FEDOR STEPUN. *Mystische Weltschau, Fuenf Gestalten des russischen Symbolismus: Solowjew, Berdjajew, Iwanow, Belyj, Blok.* Carl Hanser Verlag, Muenchen, 1964, S. 442.

В Советском Союзе на всю предреволюционную культуру наложена печать молчания. Теперь печать эта как будто уже надломлена, но всё еще не снята. Так, был издан Анненский, вышла антология поэтов-символистов, кое-кто робко цитирует В. Соловьева, Мережковского, В. Иванова. За пределами России эту эпоху знали сравнительно мало, но теперь к ней пробуждается интерес, вышел английский перевод «Петербурга» Белого, Розанову посвящены две книги — немецкая (Г. Штаммлера) и английская (Р. Поджоли), пробуждается интерес к живописи «Мира искусства»; в Америке, Франции, Германии пишутся диссертации о русских символистах. Примеры эти случайные и их можно было бы умножить. При этом, на Западе интересуются преимущественно формальной новизной, смелыми литературными приемами поэтов Серебряного века. Кое-кого увлекает композиция кошмаров Белого, стилизации Кузмина или заумь Хлебникова. Философией того времени мало занимаются. Исключение делается только для Бердяева и отчасти для Лосского и Шестова. Между тем, искусство той эпохи нельзя понять без учета философии. Блок и Белый, конечно, не только ученики Вл. Соловьева, у них были свои «видения» и «грезы», но в какой-то степени «соловьевство» было ими усвоено. Древние гностики, средневековые мистики, Ницше, неокантианство, наконец, идеи, а не только образы Достоевского и Ибсена — мучили и вдохновляли людей 900-х г.г. Тогда философия затопляла поэзию и иногда топила поэтов. Этого нельзя забывать и нельзя не пожалеть о том, что теперь почти не осталось писателей, умеющих говорить на философском языке того времени.

Последняя книга Федора Августовича Степуна этот пробел восполняет. Он стал писать вскоре после Пятого года. А в эмиграции он деятельно участвовал во всех философских и богословских дискуссиях, продолжавших прежние московские и петербургские споры. В 30-х г.г. Ф. А. вместе с И. И. Бунаковым, Г. П. Федотовым и матерью

Марией был одним из основателей «Нового Града». Журнал этой группы, как и бердяевский «Путь», как-то завершили философию Серебряного века. Ф. А. Степун не только выдающийся мыслитель, но и замечательный художник-стилист, автор воспоминаний «Бывшее и несбывшееся» и другой книги о той же эпохе — «Встречи». По натуре своей он сродни философам-артистам начала века. Вместе с тем, он ни на кого не походит. В нем нет того декадентского лукавства, которым грешили самые выдающиеся символисты и, в противоположность многим из них, он никогда не впадал в схематизм, доктринерство, не верил в спасительность теорий.

Немецкая книга Ф. А. Степуна посвящена Вл. Соловьеву, Бердяеву, В. Иванову, Белому, Блоку. По собственному его признанию, методология его с современной точки зрения — «незаконная». Для него писатели эти — прежде всего личности, но набросанные им портреты не психологические, и они — не иллюстрации к их философии или поэзии. Для Ф. А. Степуна ключ к пониманию мыслителя или поэта — не в сбивчивых загадках индивида, а в тайне творческой личности. Основные творческие стимулы постигаются им интуитивно или лучше сказать — путем особого творческого же сочувствия, и именно здесь полнее всего обнаруживается дарование Ф. А.: он умеет сочувствовать, умеет «осмыслить» и поэтому ему удается охватить целое, а не части (форму, стиль, настроения). Ф. А. Степун может быть последний русский гуманист начала 900-х г.г.

Первый очерк посвящен Вл. Соловьеву. Характеристика его — блестящая, убедительная. Он христианский мистик, но мистику свою рационализировал, а в своей софиологии не преодолел магизма и эротизма. Это выводы Ф. А. Степуна.

Но может быть, лучший очерк посвящен Бердяеву. В собственной философии Ф. А. Степуна ничего бердяевского нет. Мне лично всегда казалось, что идеи Бердяева ему глубоко чужды и даже враждебны. Тем удивительнее, что ему удалось так проникновенно понять и мысли, и личность Бердяева. Степун воссоздает рыцарский, латинско-средневековый образ этого воина Духа. У Бердяева было какое-то врожденное отвращение к этому миру. Но он не пассивный созерцатель, а деятельный философ, страстный полемист, поборник свободы в мире, лежащем во зле. Ф. А. Степун драматически повествует о том, как Бердяев отстаивал свободу от всякого закона, имперского или революционного, от царей и диктаторов, даже от Бога, у которого он «отнял» аттрибут всемогущества. Если Бог всемогущ, то он тоже тиран, и тогда человек не свободен. Нельзя принять рай, как награду за добрые дела, нельзя в него войти, если грешники всё еще мучаются в аду. Все эти бердяевские парадоксы, антиномии подаются Степуном на острие ножа. Учитывая все возражения Бер-

дяеву, Ф. А. Степун от спора воздерживается. Он прежде всего хочет понять, а не спорить. Бердяев в его очерке встает во весь рост — это богоборец, а не богоотступник. (Я сказал бы — богоборчество Бердяева во славу Божию, и это его последняя антиномия).

Следующий очерк посвящен В. Иванову. Читая его, поневоле сравниваешь В. Иванова с Бердяевым, и это сравнение, мне кажется, Степуном подсказано. Оба они, конечно, очень разные. В Иванове ничего не было от интеллигента-общественника, т. е. у него нет тех русских свойств, которые в Бердяеве совмещались с его латинско-средневековым рыцарством. В. Иванов тоже латинец, но не рыцарь, а ренессансный книжник, ученый поэт. Он человек менее цельный, чем Бердяев, он в большей степени индивидуалист, а не личность. Ф. А. Степун подчеркивает его веру в хоровое начало какой-то новой органической эпохи. Свое «я» Иванов хотел вместить в «мы» и, может быть, именно поэтому стал католиком, чтобы как-то сжать, укротить себя в римской экклезии. Всё это хорошо показано и вскрыто Ф. А. Степуном, и творческая личность Иванова тоже встает во весь рост. Некоторые критики обвиняли Иванова в «смешении» Диониса с Христом. Это неверно. Пусть в облике его было нечто двойственное, но в такой путанице он неповинен, и Ф. А. Степун это хорошо разъясняет: для Иванова Дионис — бог страдающий, но жалости не знающий, и его собственная смерть, как и его воскресение, предопределены космической необходимостью. Он страдает, умирает не добровольно, не ради спасения человека.

Литературоведы с интересом ознакомятся с блестящим анализом Степуна симфоний и романов Белого, — его ритмической прозы, его магической звукописи и других приемов. Вместе с тем (как и в своей русской книге «Встречи») Ф. А. Степун воссоздает творческую сущность Белого: у него было гениальное дарование, много воображения, но мало личности, и под конец он совсем запутался в своей мистике и метафизике. В его последних книгах трагическое смешано с фривольным. В нем были черты клоуна. Во время своих выступлений он походил на гримасничающего Пьеро — то он растерянно поводил глазами, то вдруг как-то по-волчьи прищуривался. Он всегда увлекал, но доверяться ему было нельзя.

Последний очерк Ф. А. Степуна посвящен Блоку. Его характеристика тоже блестящая, убедительная, но менее яркая, чем Андрея Белого, которого Ф. А. знал лично.

Ф. А. Степун дает понять в своей книге, что темная мистика Блока и Белого была неким прологом к октябрьской революции. В поэтическом полубреду они поверили в ложных богов. Но их изумительное искусство остается, как свидетельство той эпохи и, по мнению Ф. А. Степуна, их оправдывает боль, страдание, — долгая агония Блока и

мучительное одиночество Белого, предугадавшего свою смерть. Здесь Ф. А. Степун цитирует его стихи: Золотому блеску верил, — А умер от солнечных стрел. Там, где есть боль, заключает Степун, там есть и Бог: это его оправдательный вердикт, подсказанный сочувствием-сомыслием к каждой творческой личности. Надеемся, что книга Ф. А. Степуна будет переведена на другие языки, в том числе и на русский.

Эта рецензия была написана до смерти Федора Августовича. Летом и осенью 1964 г. я переписывался с ним об этой его немецкой книге. Для всех, знавших его лично, а также и для читателей, его кончина — большая утрата. Кроме всех заслуг в русской литературе и философии, Федор Августович обладал еще совсем особенным живым даром дружелюбного понимания. Его «теория познания» была основана на творческой любви к людям «разного духа». Я люблю всё, что «бытийственно-насыщенно», говорил Федор Августович, — идеи можно отвергать, но бытие другого, его особый опыт, всегда питательны. Федор Августович высказал эту мысль лучше, выразительнее, но всё же это верная передача общего смысла его любимого изречения.

Юрий Иваск

«ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ». *Альманах 4*, Нью Йорк, 1965.

«В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей». С наибольшим основанием эти слова Ходасевича можно поставить эпиграфом к истории советского периода русской литературы. Редактор-издатель «Воздушных путей» Р. Гринберг собирает и публикует из номера в номер свидетельства об этом всё продолжающемся уничтожении. Это большая заслуга. В последнем, четвертом номере альманаха, таких трагических свидетельств несколько: «Листки из дневника» Ахматовой, записки Елены Тагер, отчет о суде над поэтом Бродским. Редакция отмечает, что листки из дневника Ахматовой печатаются без ведома автора. Из воспоминаний Ахматовой особенно волнует рассказ об аресте Мандельштама:

«Его увели в 7 утра. Было совсем светло... Приговор — три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли, и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом звонил Пастернаку. Всё связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы, и Надя и Зина, и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка

даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку».

Всё в этой записи чрезвычайно важно, вплоть до презрительных слов «какая-то Триолешка». (Это — о «прославленной» французской писательнице-коммунистке Эльзе Триоле, жене Луи Арагона).

В феврале 1936 года Ахматова ездила к Мандельштаму в Воронеж. Вернувшись, она пишет стихотворение, конец которого приводит в своем дневнике.

«А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета».

О судьбе Мандельштама рассказывает и Е. М. Тагер, скончавшаяся летом 1964 года в поселке Комарово, под Ленинградом. Елена Тагер сама прошла через концлагеря, тюрьмы и ссылку. В своих записках она приводит слова из письма человека, встретившего очевидцев смерти Мандельштама: «Я говорил с товарищами, бывшими при нем до конца, говорил с врачами, закрывшими ему глаза. Он умер от нервного истощения, на транзитном лагпункте под Владивостоком. Рассудок его был помрачен. Ему казалось, что его отравляют, и он боялся брать пайку казенного хлеба. Случалось, что он съедал чужую пайку (чужой хлеб — не отравлен), и вы сами понимаете, как на это реагировали блатари. До последней минуты он слагал стихи: и в бараке, и в поле, и у костра, он повторял свои гневные ямбы. Они остались незаписанными, — он умер».

В четвертом номере «Воздушных путей» напечатан еще один страшный документ. Это стенографический отчет суда над поэтом Иосифом Бродским. Отчет этот был уже напечатан по-английски и по-французски, но в русском подлиннике он появляется впервые. Это один из самых потрясающих вариантов вечной темы поэт и чернь. Читая отчет, испытываешь гнетущее впечатление, будто ты перенесся в залу ленинградского суда. С первых же слов женщины-судьи ясно, что приговор предрешен и что это вовсе не суд, а только загримированная под суд административная расправа. Ничего не изменилось, это прежняя сталинская Совдепия. Но при ответах подсудимого и показаниях свидетелей со стороны защиты впечатление меняется. При Сталине никто так не говорил. И самому Бродскому и выступившим на его защиту Грудниной, Эткинду и Адмони хочется с благодарностью пожать руки. В советской ночи, «которая не ведает рассвета»,

они сумели сохранить человеческое достоинство и нашли в себе мужество защищать поэта, говоря правду.

Очень интересны и многое приоткрывают о сегодняшней советской жизни записи разговоров в зале суда:

«— Писатели! Вывести бы их всех!

— Интеллигенты! Навязались на нашу шею!

— А интеллигенция что? Не работает? Она тоже работает.

— А ты — что? Не видел, как она работает? Чужим трудом пользуется!

— Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить!

— А вы знаете, что такое подстрочник? Вы знаете, как поэт работает с подстрочником?

— Подумаешь — делов».

Эти разговоры неожиданно возвращают нас к 17 году, хотя прошло уже почти полвека.

В альманахе напечатан не только отчет о суде над Бродским, но и несколько его стихотворений. Необыкновенные и трагические стихи, которые свидетельствуют, что Бродского не обманывала вера в свое призвание поэта, когда он заявил на суде: — «Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям».

В этом номере «Воздушных путей» много стихов: наброски к «Поэме о ближнем» Пастернака, стихи Мандельштама, Елены Тагер, Михаила Русалкина (псевдоним молодого советского поэта). Из эмигрантских поэтов: Иван Елагин, Игорь Чиннов и несколько стихотворений из черновиков Ходасевича. Елагин и Чиннов — представители двух противоположных течений в зарубежной русской поэзии. У каждого из них свои усердные сторонники. Но читатель с одинаковой радостью прочтет стихи обоих этих поэтов, продолжающих расти и совершенствовать стихотворное выражение своего чувства жизни и мира.

В отделе воспоминаний — продолжение дневника Галины Кузнецовой. Это не только документально-важный, но и художественный, с живыми зарисовками людей и природы, рассказ о поездке с Буниными в Стокгольм. Интересны и воспоминания Самуила Вермеля о Мейерхольде. Затем — отдел «На философские темы». Неизданный отрывок Льва Шестова «Итоги и комментарии» начинается словами: «перевалило за 70 лет». Какие же итоги? Всё то же утверждение, к которому Шестов неизменно возвращается в конце всех своих вдохновенных и трагических размышлений: «в плодах дерева познания смерть и яд». Для Шестова рациональное познание — грехопадение. Юлий Марголин в статье «К диалектике мифологического

мышления», наоборот, все надежды возлагает на разум. Лично я думаю, что и Шестов, с его отрицанием плодов от древа познания, и Марголин, с его позитивизмом, одинаково неправы. Мысль, которая рождается в наше время стремится к синтезу всех измерений, всех форм человеческого опыта, к тому «мирному сосуществованию» научного знания и паралогических элементов, определяющих самые важные жизненные решения, о котором говорит Гейзенберг.

За статьей Марголина следует чрезвычайно интересная статья Артура Лурье «Феномен и ноумен в музыке». Лурье говорит о поэзии и музыке. Но многие его мысли приложимы и к другим искусствам, ко всякому творческому действию. На близкую тему — большая статья Владимира Вейдле «О любви к стихам». Вейдле не только размышляет о стихах, поэзии и ритме, но и рассказывает о своих собственных попытках писать стихи. С предисловием — «считайте, что это не стихи. Это любовь к стихам» — он даже прилагает к статье три недавно им написанных стихотворения. Мне особенно понравилось второе, «Открытка с Аппиевой дороги», проникнутое грустным и вместе с тем примиренным чувством движения «реки времен».

К статье Вейдле примыкает короткая, но интересная заметка Юрия Иваска «Парадоксы звукозаписи». Иваск говорит о самом, может быть, таинственном явлении в поэзии: «...благодаря звучанию всё приобретает какой-то новый, дополнительный-магический смысл, не уничтожающий, однако, буквального или первоначального смысла поэтической речи».

Статья Николая Ульянова «Шестая печать», написанная с обычным для него блеском метафор, вызвала во мне очень разные чувства. По содержанию, она разделилась для меня на три части. Начну с той, с которой до конца согласен: это редкая в эмигрантской литературе вдохновенная апология современной научно-технической революции. «Изобретательство свято, — пишет Ульянов, — как свята наука. Оно ничего не создает, но открывает то, что было в предвечном замысле вселенной — давящую силу пара, существовавшую до Уатта, электричество, бывшее до Гальвани и Вольты. Разве это не один из путей познания Бога? «Расколите кусок дерева, Я там; подымите камень и вы найдете Меня там». «Хула на технику — хула на Бога».

Эту часть статьи Ульянова я полностью принимаю. Но эта апология науки и машины соединяется у Ульянова с пророчеством неизбежной гибели человечества. Уже у поэтов, философов и художников Возрождения энтузиазм при мысли о победах изобретательского человеческого гения часто сменялся апокалиптическими видениями всемирного истребления и разрушения. Но если людям Возрождения

мерещились стихийные бедствия: потоп, трус, мор, то Ульянов предрекает, что человечество погубит себя само, воспользовавшись небывалым могуществом, данным ему наукой и техникой, не для того, чтобы превратить землю в «цветущий сад», а для того, чтобы себя уничтожить. Напоминая о самоубийствах древних цивилизаций, Ульянов пишет: «Земля, как неспособный студент, много раз проваливалась на экзаменах. Теперешний ее экзамен — последний. Он означает: быть или не быть. Он еще не кончен, но исход виден ясно. Будет ли он означать гибель культуры или физическую гибель — не всё ли равно? Культура 20 века не может погибнуть без невиданного уничтожения людей».

С этим пессимизмом не хочется соглашаться. История жизни на земле не дает основания для такой уверенности в неизбежности плохого конца. Человечество прошло уже через многие трудные испытания и смертельные опасности. Современный кризис, если только он будет правильно понят, приведет, быть может, вовсе не к гибели, а, наоборот, к новому этапу восходящей эволюции человечества, к предсказанному Тейаром де Шарден росту «сферы духа», к полному изменению того психологического климата, в котором до сих пор совершалась история. Но если человечество хочет продолжать жить и идти вперед, то необходимые для этого духовные силы оно сможет найти, конечно, не в тех расистских страхах, о которых Ульянов говорит в начале своей статьи. Перечисляя признаки грядущей гибели мира, он пишет, например: «Не далек день, когда наших женщин начнут линчевать за отказ выходить замуж за негров», и приводит слова Сергея Соловьева: «или негры нас обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту».

В этом упрощенном подходе к трагическому и грозному вопросу расовых отношений главный порок статьи Ульянова. Он праведно скорбит, что «величие материальной силы не противопоставлено такому же величию духа и интеллекта», но в то же время повторяет слова, похожие на цитаты из брошюр ку-клукс-клана или недоброй памяти нацистского учения об унтерменшах. Ульянов как будто не замечает, что расизм несовместим с тем основным утверждением «нет ни эллина, ни иудея», из которого выросла вся европейская цивилизация, которую он хочет отстоять.

В четвертом номере «Воздушных путей» есть еще несколько литературоведческих статей. Из них две, о Клюеве Бориса Филиппова и о Блоке покойного Федора Степуна, затрагивают широкие историософские темы, и каждая из них потребовала бы отдельного обсуждения, особенно статья Степуна. При всей своей любви к Блоку

Степун сумел избежать обычного для поклонников Блока апологетического ослепления. Это придает его работе большую историческую ценность.

В. Варшавский

ЕЛЕНА СКРЯБИНА. *«В блокаде». (Дневник матери)*. Мюнхен. 1964.

Об осаде (блокаде) Ленинграда писано уже немало: отчеты-фельетоны В. Инбер, книги Крона, Дарова, Криптона, повесть Богдановича и др. Но небольшая книжечка — «Венок на могилу сына» Е. Скрябиной отличается от всех и по форме и по содержанию. Это бесхитростный искренний дневник молодой матери в осажденном городе. Автор издал его сам и как воспоминания, и как знак скорбной памяти о любимом сыне, который погиб случайно, проездом, в Югославии, в Скопле во время землетрясения. Дневниковые записи хранились Еленой Скрябиной более двадцати лет, но не утратили свежести и своего значения и в наше время. Правда, весь рассказ идет об одной семье: болезни, голод, сама война видны из окошка пригородной дачки да окон ленинградской квартиры, забитых почти наглухо фанерой — стекла вылетели от бомбежек. Однако, благодаря записям по горячему следу бомб, под звуки воющих сирен, описание жизни и всех мук, забот, страстей города-мученика, людей в смертном кольце, — очень ярко. Это не художественное произведение, не воспоминания о прошлом и пережитом, а отпечатки горячего сердца матери, борющейся со всем напряжением сил за жизнь детей и близких. В то время в кольце осады было свыше пяти миллионов человек, а если считать и все три пояса советских войск, то, может быть, было и до семи миллионов людей. Гражданское население и страдало и голодало больше всех. Умирало ежедневно по три-четыре тысячи от голода. Беспорядок, хищничество, «блат», озверение кругом. И рядом проявление, у лучших из граждан, истинно христианской любви, заботы, милосердия. Книжка Елены Скрябиной описывает и ужасы и неразбериху, советскую бестолочь и эвакуацию в феврале 1942 года.

То поколение, что описывает автор дневника, кажется вполне примирившимся с порядками и неравенством среди властвующих и подвластных в СССР. Больше жалующихся и безропотных, чем негодующих и непокоренных. Те у кого всё есть, те что смеют и могут, отделены крепкой оградой от тех, которые страдают, терпят и всё выносят вплоть до смерти. Книжка правдивая и печальная.

Р. Плетнев

ИОСИФ БРОДСКИЙ. *Стихотворения и поэмы.* Предисловие Георгия Стукова. Inter-Language Literary Associates, Нью Йорк, 1965, стр. 239.

Поэзия Иосифа Бродского чрезвычайно оригинальна, хотя, при желании, в ней и можно найти известные уже литературные тенденции и мотивы. Кое-кто отметит его сюрреализм — фантастику, вырастающую на фоне знакомого быта, бытовых деталей. Отдельные стихи напоминают Заболоцкого. Меньше всего в его стихах акмеизма, хотя он и другие молодые поэты-ленинградцы очень ценят Мандельштама и Ахматову. Впрочем, акмеизм, как и все другие «измы» — понятие весьма растяжимое. Поздний Мандельштам разрывает гармонию «Камня» и «Тристии», он совершенству предпочитает выразительность и не заботится об отделке деталей. У Бродского тоже выразительности больше, чем совершенства. Изменилась и Ахматова, и поэма Бродского «Шествие» как-то перекликается с ее «Поэмой без героя». Всё же Г. Стуков прав — Бродский «ничей ученик».

Можно говорить о каком-то возрождении символизма в поэзии многих молодых ленинградцев. Их поэзия — метафизическая, трансцендентная. У некоторых из них, в том числе и у Бродского, главная тема — сокровенные тайны мира, Бог. Но символика их не блоковская, не беловская, а своя собственная, очень неожиданная и, поэтому, «странная». У Бродского «жизнь словно дочь и отец», память — девочка, но напр., символ холма (высота жизни) — традиционный, хотя и по новому разработанный.

Многие стихи Бродского — петербургские, и он иногда называет знакомые всем улицы. Но его Петербург — новый, еще никем не описанный Петербург, и это также не Ленинград, не советский город. Везде поэт смотрит «в корень вещей», везде и в городе, и в деревне, он стремится расширить или преодолеть эмпирическое познание мира.

Россия граничит с Богом, сказал Рильке на рубеже двух столетий... В поэзии Бродского Россия или какая-то другая, им открытая страна, тоже граничит с божественными тайнами... Бог не всегда называется, а иногда даже высмеивается (Он под старость глупеет...). Но, тем не менее, в мире Бродского всё метафизично, везде приоткрывается непознаваемое («несказа́нное» — на жаргоне старых символистов).

Может быть, лучшее стихотворение в сборнике — «Пилигримы». Очень значительна и его «Большая элегия», посвященная английскому метафизическому поэту Джону Донну (1573-1631). Его даже англичане плохо знали и почти забыли, а в нашем веке его прославил нео-метафизик Т. С. Элиот. Донн, несомненно, поэт гениальный. Есть грубость в этой мистике, какая-то «мужиковатость», но и маннеризм...

О солнце он сказал — «старый дурак», а храм любви для него — блоха, напитавшаяся кровью любовников. Вообще, барочные поэты в выражениях не стеснялись. Так, испанец Гонгора сравнивал свою душу с содержимым ночного горшка. То же самое можно сказать и о Бродском, и у него есть барочная грубость, но есть и другое — высокие прозрения. Однако, он, конечно, не достиг зрелости и мастерства неистового Донна, трепетного Краше, нежного Херберта или великолепного Гонгоры.

Бродский, повидимому, читал «Экстаз» Донна — там духовное единение душ описывается на языке любовника, одержимого страстью и эротика «разогревает» мистику. Бродский наверное знает и то, что для своего последнего портрета Донн позировал в саване — он говорит о его белом покрывале. Всё же в «Большой элегии» вымысла больше, чем литературных реминисценций. В первой части этого стихотворения господствуют глаголы «спать», «*уснуть*»:

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг,
Уснули стены, пол, постель, картины...

Далее следует длинный каталог уснувших вещей и здесь, описывая Англию 17-го века, Бродский, неожиданно, более конкретен, чем в своих русских стихах. Душа Донна в сонном видении обозрела ад и рай. В экстазе он «Бога облетел», но его тянет обратно земной груз. Везде подчеркивается знакомая нам реальность нашего мира — его вещность, его тяжесть. На этой тяжести противополагается легкая — духовная реальность иного мира. Во второй части доминируют глаголы «плакать, рыдать». Так, тема возвращения в наш мир, щемящая разлука с другим миром и другие мучительные мотивы одушевляют этот внутренний монолог Иосифа Бродского с Джоном Донном.

Бродский — новый «Рыцарь Бедный», имевший «непостижное виденье», и в любом материале, будь то быт, книги или же сюрреалистический ландшафт, он стремится увидеть знаки, вехи метафизического бытия. В стихах Бродского нет той выверенной литературности, которая так характерна для больших зарубежных поэтов, напр., для Георгия Иванова — у него каждый слог, каждый звук насыщен поэтическим смыслом, всё предельно функционально, нет ничего лишнего. То же самое можно сказать о таких разных поэтах, как Адамович, Одоевцева или Чиннов. Но не по стилю, а по климату своей поэзии Бродский сродни нашим поэтам-«еретикам», Поплавскому, Присмановой, Гингеру, Одарченко, Божневу. Наконец, его поэмы чем-то напоминают поэму без названия Маркова («Опыты», IV). Он также «созвучен» английским нео-метафизикам Т. С. Элиоту, В. Х. Одэну, Д. Томасу.

Стихи Бродского — очень неровные, иногда водянистые, многие слова случайные, сомнительные (напр., нежданность, испуганность, во крови). Поэмы «Холмы» и «Исаак и Авраам» — бескостные, рыхловатые. А в его поэме «Шествие» исполнение не всегда на уровне замысла. Там вереницей проходят символические фигуры Дон Кихота, Гамлета, Арлекина, Коломбины, князя Мышкина, Торговца, Вора, Лжеца, Скрипача, Поэта и неожиданного в этом ряду «просторечивого» Честняги. Это «Шествие» выиграло бы при сокращении, почти везде недостает правки черновиков. Но есть и удачи, напр., фрагмент «Плач». Первые четыре строфы «Романса Поэта» не имеют силы последних трех строф, которые легко заучиваются наизусть (но выписываю только одну):

Всё мальчиком по жизни, всё юнцом
с разбитым жизнерадостным лицом
ты кружишься сквозь лучшие года,
в руке платочек, надпись «никуда».

Зачин (всё мальчиком...) неожиданно напоминает эти стихи из «Горе от ума»: А тетушка? Всё девушкой, Минервой? / Всё фрейлиной Екатерины первой?.. А также и Пастернака: Мне в сумерках ты всё пансионеркою, / Всё школьницей... Но функция этих прелестных разговорных зачинов — разная: у Грибоедова — ирония, у Пастернака — нежность, у Бродского — легкая жалость, горечь...

Вообще же — Бродский знает, что ему в поэзии делать. Верный своему «непостижному виденью», он прежде всего стремится понять свои высокие замыслы, иногда наспех записывает чему он «свидетель был» и, поэтому, не очень заботится об отделке деталей. У него огромная тема: это неисследованные джунгли и пампасы открытого им материала, это — пустыня одиночества, полного высоких предчувствий, это — мистические прозрения Джона Донна, это — растущая и разрастающаяся реалия Неведомого — присутствующего или отсутствующего Бога. И эта новая тема, с переменным успехом, развертывается им в угловатых стихах, напоминающих мне скалы Монтаны, Аризоны или могучие глыбы, торчащие вокруг Афона, в Эгейском море... И всё вместе так неожиданно, так чудесно и кое-откуда (в его стихах) далеко видно во все концы земли и неба. А географическое «место развития» его метафизической поэзии — Петербург-Петроград-Ленинград 60-х г.г. двадцатого столетия. Есть чему подивиться!

Юрий Иваск

МИРРА ГИНЗБУРГ. «АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ САТИРЫ»

В известном издательстве МакМиллан вышла «Антология советской сатиры».* В Советском Союзе выходит много сборников сатиры и юмора, но обычно все эти сборники тенденциозны: антологии, которая бы давала объективное и более менее полное представление о разных периодах сатиры в СССР еще нет. Сравнивая эту, выпущенную на английском языке антологию, составленную под редакцией, с предисловием и в переводе Мирры Гинзбург, с советскими сборниками сатиры и юмора, сразу же видишь несравненное преимущество первой: Мирра Гинзбург включила в свою антологию сатирические произведения тех писателей, которые в Советском Союзе всё еще остаются в опале или под запретом.

Так, в антологию включен прекрасный сатирический рассказ Евгения Замятина «Слово предоставляется товарищу Чурыгину». Рассказ этот, как и другие произведения Замятина, нельзя найти в советских сатирических сборниках последних десятилетий. А ведь без сатирических произведений Евгения Замятина, трудно составить себе представление о русской сатире периода военного коммунизма и НЭП'а.

Но, на мой взгляд, составительница антологии напрасно не включила в нее пореволюционные рассказы Аркадия Аверченко, тоже, как и Замятин, покинувшего Советскую Россию и умершего в эмиграции. Без Аверченко ранний пореволюционный период сатирического жанра в русской литературе несколько обеднен.

Особое внимание в этой антологии уделено Михаилу Булгакову, Михаилу Зощенко, Валентину Катаеву и Ильфу и Петрову. И это хорошо. Эти авторы действительно наиболее значительные сатирики в пореволюционной литературе. О жизни и творчестве каждого из сатириков, чьи произведения она переводит, Мирра Гинзбург дает небольшой очерк. Булгакова она признает блестящим сатириком, отмечая его высокое мастерство и богатое воображение. Центральное место в ее антологии занимает сатирико-фантастическая повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца», с которой в Советском Союзе всё еще не снята опала. В пятидесятых годах эта повесть была включена в сборник сатирических произведений Михаила Булгакова, выпущенный издательством имени Чехова в Нью-Йорке, и теперь ее на русском языке гораздо легче найти заграницей, чем в Советском Союзе, где она давно стала библиографической редкостью.

---

* The Fatal Eggs and Other Soviet Satire. Edited and translated by Mirra Ginsburg. The Macmillan Company. New York, 1965.

Наряду с Булгаковым Мирра Гинзбург справедливо считает Михаила Зощенко крупнейшим пореволюционным сатириком. В многочисленных рассказах Зощенко, по ее мнению, запечатлены миллионы нелепостей жизни советского общества, страдающего от полицейского произвола и низкого стандарта жизни. Из других сатириков составительница антологии выделяет Валентина Катаева, представленного рядом юморесок, и Ильфа и Петрова, остроумный фельетон которых «Как создавался Робинзон» ею прекрасно переведен. Мирра Гинзбург не без основания полагает, что и Пантелеймон Романов и Вячеслав Шишков в Советском Союзе недооценены по мотивам нелитературного характера. В свою антологию она включила ряд сатирических зарисовок Романова и остроумнейшую юмореску Шишкова «Развод». Далее в антологии представлены сатирические опыты Леонида Леонова, Бориса Лавренева и Михаила Кольцова, чем завершается ранний период советской сатиры.

Но насколько полно представлена в этой антологии сатира периода военного коммунизма, НЭП'а и начала тридцатых годов? Жаль, что в нее не вошли произведения Зорича (Локотя) и одного из прекрасных юмористов Владимира Ветова (Трубецкого), а также, конечно, Андрея Платонова. Ведь Платонов с его «Городом Градовым» и «Повестью о честном Макаре» в большей мере, чем кто-либо другой из сатириков учился у Салтыкова-Щедрина.

Вторая часть этой антологии, пожалуй, менее интересна, чем первая. Но это не вина составительницы, а объясняется это общим упадком жанра сатиры и юмора в современной русской литературе. От Мирры Гинзбург не ускользнуло, что современная советская сатира как-то посерела и измельчала, что у Булгакова и Зощенко пока что нет достойных преемников. Как тут не вспомнить об известной эпиграмме:

Нам потише Щедрины
Да поласковей нужны,
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Характерно, что до начала тридцатых годов в Советском Союзе (кроме «Крокодила») издавались «Бегемот», «Пушка», «Ревизор, «Чудак», «Бузотер», «Смехач». Позднее — смех приглушили.

В целом, антология советской сатиры, составленная М. Гинзбург, — ценное издание, и ценность его, конечно, прежде всего, в том, что оно свободно от всяких цензорских ограничений, в то время как в Советском Союзе подобного рода сборники обесценены бесцеремонным вмешательством цензуры.

Вяч. Завалишин

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

ИРИНА БУШМАН — Поэтическое искусство Мандельштама. Ин-т по изучению СССР. Мюнхен. 1964.

Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Чему нет имени. Пьеса в 3-х действиях и 8 картинах с эпилогом. Париж. 1965.

КЛАВДИЯ ПЕСТРОВО — Цветы на подоконнике. Стихи. Австралия. 1964.

АРХИЕПИСКОП ИОАНН САН-ФРАНЦИССКИЙ — Книга свидетельств. Нью Йорк. 1965.

С. Л. ФРАНК — С нами Бог. Три размышления. ИМКА-Пресс. Париж. 1964.

С. Л. ФРАНК — Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. Издание второе. ИМКА-Пресс. Париж. 1964.

Н. УЛЬЯНОВ — Северный Тальма. К 150-летию взятия русскими Парижа в 1814 г. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1964.

ЕЛЕНА СКРЯБИНА — В блокаде. Дневник матери. Мюнхен. 1964.

ИОСИФ БРОДСКИЙ — Стихотворения и поэмы. Inter-Language Literary Associates. Вашингтон. 1965.

ЛЕВ ШЕСТОВ — Умозрение и откровение. Религиозная философия Вл. Соловьева и другие статьи. ИМКА-Пресс. Париж. 1965.

DMITRIJ TSCHIZEWSKIJ — Russische Literatur Geschichte des 19 Jahrhunderts. I. Die Romantik. Eidos Verlag, Muenchen. 1964.

PAUL EVDOKIMOV — Les âges de la vie spirituelle. Des Pères du désert à nos jours. Ed. Desclée De Brouwer. Bruges. 1964.

M. M. PHILIPON — L'Eglise de Dieu parmi les hommes. Le sens spirituel de Vatican. II. Ed. Desclée De Brouwer. Bruges. 1964.

REUWEN MICHAEL — Graetz and Hess. Offpirnt from Year Book IX of the Leo Baeck Institute. London. 1964.

WOLFGANG BUSCH — Horaz in Russland. Forum Slavicum. Herausgegeben von D. Tschizewskij. Band 2. Eidos Verlag. Muenchen. 1964.

A LERMONTOV READER — Edited and translated by Guy Daniels. The Macmillan Company. N. Y. 1965.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА. *Прозрачный след,* 3-ья кн. стихов. Нью-Йорк, 1964.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ. *Иван Васильевич. Мертвые души.* Изд. Товарищества зарубежных писателей. Мюнхен, 1964.

ВСЕВОЛОД ХОМИЦКИЙ. *15 избранных одноактных пьес.* Изд. Передвижного Русского Театра. Нью-Йорк, 1964.

НАТАЛЬЯ КОДРЯНСКАЯ. *Золотой дар.* Рисунки Юрия Анненкова. Париж, 1964.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ. *Свидание Джима.* Повесть. Париж, 1964.

Я. Н. ГОРБОВ. *Все отношения.* Роман. Париж, 1964.

АНАТОЛИЙ ДАРОВ. *Блокада.* Роман. Изд. И. Г. Раузен, Нью-Йорк, 1964.

УЛАДЗІМЕР ГЛЫБІННЫ. *На берагох пад сонцам.* Апавяданьні і аповесьці. Изд. Беларусско-Американского Литературно-Научного Центра. Нью-Йорк-Трой, 1964.

ГЕН. ШТАБА ПОЛКОВНИК П. Н. БОГДАНОВИЧ. *Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года.* Буэнос-Айрес, 1964.

ВЛАДИМИР САМАРИН. *Песчаная отмель.* Рассказы. Изд. «Русская Книга». Вашингтон, 1964.

СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КРУЖКА В САН ПАУЛО. 1951-1961. Бразилия, 1962.

АСЯ ГУМЕЦКАЯ. *Маяковский и его неологизмы.* Изд. И. Г. Раузен. Нью-Йорк, 1964.

JOCQUELINE DE PROYART. *Pasternak.* Editions Gallimard. Paris, 1964.

M. Y. LERMONTOV. *A Hero of Our Time.* Translated by Ph. Longworth. With an Afterword by W. E. Harkins. Published by the New American Library, New York, 1964.

SCALING THE WALL. *Talking to Eastern Europe. The Best of Radio Free Europe.* Edited and with an Introduction by G. R. Urban. Wayne State Univeristy Press. Detroit, 1964.

HALF-WAY TO THE MOON. *New Writings from Russia.* A. Voznesensky, E .Vinokuorv, B. Akhmadulina, A. Solzhenitsyn, Y. Kazakov, V. Aksyonov, V. Sosnora, B. Slutsky, B. Okudzhava, G. Nagibin, E. Evtushenko, V. Nekrasov. Edited by Patricia Blake and Max Hayward. Holt, Rinehart and Winston, N. Y., 1964.

Dr. DIETER GIESEN. *Die Künstliche Insemination als ethisches und rechtliches Problem.* Verlag E. und W. Gieseking. Bielefeld, 1964.

JURIJ SEMJONOW. *"Das Häuschen in Kolomna" in der Poetischen*

Erbschaft A. S. Puskins. Text, Interpretation und Literatur-Historischer Kommentar. Almqvist und Wiksells. Uppsala. 1965.

POEMS *by A. Blok, N. Gumilev, I. Erenburg and N. Berberova.* Translated from Russian by Yakov Hornstein. Dorking. 1964.

NICHOLAS MAXIMOFF. *Afanassiev is Dead.* Exposition Press. New York, 1964.

MICHAEL SCHATOFF. *Bibliographical Index of Russian Publications Outside of the USSR.* 1961. New York, 1964.

EMMA S. VOYTINSKY. *Two Lives in One.* Frederick Praeger Publisher. N. Y., 1965.

THE FATAL EGGS AND OTHER SOVIET SATIRE. Edited and translated by Mirra Ginsburg. The Macmillan Company. New York, 1965.

VALENTIN KIPARSKY. *English and American Characters in Russian Fiction.* Osteuropa Institut, Berlin, 1964.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ и Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1965 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)
Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.
Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.